

**Как нам живётся,
свободным?
Размышления и
выводы**

Анц ИМ

Как нам живётся, свободным?

Размышления и выводы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70547536

SelfPub; 2024

Аннотация

В книге представлены размышления и выводы автора на тему свободы во всевозможных проявлениях. Речь идёт о свободе в широком понимании, естественном праве, свободе слова, чести, любви.

Анц ИМ

Как нам живётся, свободным?

Размышления и выводы

СВОБОДА, КОТОРУЮ МЫ ПОЖИНАЕМ

Достоинейшие граждане современного мира!

Первые и последующие читатели этого моего блога!

Нам всем передаются тревога и боль, исходящие из наблюдений за состоянием нашей каждодневной жизни и из информации о ней, которую мы получаем в изобилии и непрерывно.

Тревога и боль о нашем житье-бытье и нашей участи.

Установленные нормы общественной жизни и государственного правления уже в значительной мере многим из нас кажутся несовершенными, лишёнными перспективы и не заслуживающими нашего доверия.

На каком этапе современной цивилизации мы находимся, как с нею быть и куда надо идти дальше? Что нас ждёт впе-

реди? Эти вопросы всё плотнее входят в наше сознание, требуя чётких и скорых ответов, равно как и соответствующих действий.

Поиском в этом направлении заняты во всём мире. Уже обсуждено достаточно проектов и сценариев, призванных решить насущные проблемы как в отдельных странах и регионах, так и глобальные, касающиеся целых материков, всей земли и даже космического пространства.

Речь идёт о проблемах прежде всего интеллектуального, духовностного развития, увязанных с судьбами как человека и человечества, так и государств.

Однако – странное дело: наработки по части определения смысла нашего теперешнего бытия и будущего пока что мало подкрепляются устойчивыми, основательными доказательствами.

Хватает страстей, задора, желаний отстаивать свои доводы, надежд на то, что именно они, эти доводы, могут быть учтены и приняты как единственно верные; само собой, не счесть и желаний показывать в непривлекательном виде суждения не свои, сторонние, своих оппонентов.

В результате дискуссии имеют неровный характер, часто в виде вздорного препирательства.

За их пределами остаются почти не затронутыми обсуждением ценности первойшей значимости, принятые для поддержания нашего существования и для выживания. Бесспорно, среди этих ценностей верховенство принадлежит свобо-

де. С нею теснейшим образом связано всё вокруг и внутри нас. Как мы с нею обходимся?

По теме о свободе, важной и чрезвычайно актуальной для настоящего момента, я хотел бы поговорить здесь без обвиняков, иначе по сравнению с тем, как она представлена в официальных и в бытовых истолкованиях, а также – доблестной наукой, прежде всего философией.

Почему берусь за это?

В шестидесятые годы XX века в СССР в среде молодежи имело место увлечение анкетами, составлявшимися в нейтральных небольших группах для своих членов с целью посредством их узнать о личном понимании каждым самих себя в условиях тоталитарного коммунистического строя.

В тот период на пике своей активности находились люди смелых, порой дерзких воззрений, помышлявшие об устранении уже хорошо заметных в те годы «помех» со стороны государства и – о необходимых существенных переменах в советском обществе. Теперь их называют шестидесятниками. Я ровесник им.

В большинстве вопросники составлялись как бы в забаву, озорные, притворные, с оглядкой на то, что о них мог прозвать всесильный КГБ (комитет государственной безопасности СССР), пресекавший любые попытки не только физического, но и духовного оппонирования режиму. Впрочем, хватало и удалства, отточенности и ясного откровенного изложения, когда вопреки всему грозная опасность не бралась

в расчёт или игнорировалась.

Вот некоторые пункты из анкеты, какую заполнил своими ответами ваш покорный слуга. Не претендую на особую их яркость и замечательность, но теперь, осознавая наше бедовое прошлое, я сам поражаюсь, как уже в первой строке вопросника мне удалось выразить тогдашнее состояние себя как личности, готовой войти в будущее со своей неравнодушной гражданской позицией:

1. Цель твоей жизни. – *Постичь свободу.*

...

5. Твоё мнение о себе. – *Я не совершу ничего необычного.*

...

38. Твоё отношение к действительности. – *Я не питаю к ней никаких иллюзий.*

Свобода здесь имелась в виду, конечно же, в первую очередь социальная, свобода в обществе, с правом на неё, и её следовало понять не только в термине, в семантике, а – чтобы узнать, как пользоваться ею.

Анкета хранилась в моём личном архиве, но я забыл о ней и не заглядывал в неё, даже не вспоминал о ней (три залежалых листа, теперь уже в сильных затенениях-разводах, с напечатанными на пишущей машинке вопросами и записанными от руки моими ответами на них); а внимательно я читал её уже десятилетия спустя после её заполнения. Оказалось, что и по прошествии столь длительного срока выставленная мною формулировка поиска не устарела. Даже боль-

ше: надобность в постижении свободы возросла и возрастает едва ли не с каждым днём. Причём уже для очень многих людей, если не сказать – для всех. Повсюду в мире.

Мне, человеку, вынужденному оставаться в бесправном государстве и даже служить ему, здесь нечего стыдиться: постоянно наблюдая за жизнью вокруг себя в её конкретных проявлениях и поворотах, я по какому-то чутью или «зову», по какой-то надежде всё же много размышлял о свободе и прежней (она, даже в той, опозоренной, ушедшей в историю стране, как бы кто ни утверждал, что её там не было, всё же имелась в некотором «наличии»), и – уже полученной, овеянной свежим поветрием известных политических и социальных перемен.

Таким образом в одной, общей связке умещались и новые мои восприятия весьма интересовавшего меня предмета, и давние намерения разобраться с ним, мне самому казавшиеся ещё неотчётливыми, носившими узор некоего запальчивого эпатажа.

Наверное, резонно спросить меня: что же – я один, что ли, шёл таким путём? Нет, разумеется. Но то, что наработано в поиске другими и даже закреплено в правовых документах, обозначенное как система уже действующих норм общественного бытия, я не спешу признавать целиком верным или безупречным.

Берусь утверждать: в указанных наработках видятся не только огромные блага, но и опасности. В такой их противо-

речивости не сглаживаются, а, наоборот, обостряются те самые тревога и боль, о которых сказано выше.

Если выразаться проще и ещё откровеннее, – в них укрыто губительное, почти роковое, способное, вероятно, в не очень долгий предстоящий срок заставить новые поколения отказаться от большинства лозунгов и концепций славной теперешней капиталистической цивилизации.

Исходя из этого, я и перехожу непосредственно к теме о постижении свободы, о том, как нам живётся с нею. Здесь, полагаю, будет уместным сразу обозначить амплитуду её восприятия или «использования» людьми, когда с нею обращаются не только как с целым, но и в частях. Также необходимо условиться о терминологии.

В ряде случаев я наряду со словом *свобода* предпочёл употребить близкие к нему: *свободное, освобождение, свободность* и др. Это для того, чтобы по возможности понятнее изложить существо предмета при его детальном рассмотрении.

Главной и вполне очевидной приметой в слове и в понятии *свобода* при оперировании ими в их полноте оказывается то, что их широчайшая смысловая содержательность как бы постоянно выскальзывает из «оболочек», в которых они находятся, и витает – уже за пределами реальной действительности.

Сознание не способно в достаточной мере проникнуть в их глубины и не находит там опоры, чтобы вести себя уве-

ренно и верно, ввиду чего лишь с очень большим трудом и только в некоторой, незначительной доле удаётся рассмотреть и «принять» их к использованию да и то не всегда.

Здесь, безусловно, даёт о себе знать «упакованная» в слове *свобода* запредельная обобщённость его понятийного смысла, когда он воспринимается неконкретно, лишь приблизительно, условно, «открываясь» нам в нечётких, плавающих, неопределённых значениях и разновидностях. Которые легко совмещаются одно с другим, смешиваются в разных комбинациях или все вместе, постоянно провоцируя ошибочное в их постижении и в формулировках.

В общих рассуждениях о свободе есть поэтому необходимость иметь её в виду не только как понятие, как единицу языкового пласта. Понятийное в любом слове не появилось бы, не будь оно востребовано в ходе человеческого общения – как опыт, приобретаемый в историческом процессе. Ясно, здесь речь может идти только о сравнительно небольшом отрезке мирового времени.

Но – свобода предрасположена *быть* всегда, конечно, не сама собой, как не относимая ни к чему и не связанная ни с чем, а непременно в виде свойства чего-то существующего.

Она «должна» возникать одновременно с возникновением чего-либо материального или духовного и так же одновременно исчезать с их устранением или превращением во что-либо другое. Следовательно, очень важны нюансы её проявляемости в тех «природных», универсальных особенностях,

которые не зависят от её восприятия людьми и от их внимания к ней.

В данном случае надо говорить о свободе прежде всего – в её состоянии. Это очень важная ипостась её бытования. Ей она присуща и является обязательной. В преломлении через интересы к свободе отдельных людей и всего человеческого рода, то есть при таком положении, когда оно, состояние, как и сама свобода, «обнаруживается» исключительно под воздействием работы мысли, это значит, что ею, этой «вещью» обусловлены формы всего, что может возникать из наших представлений и закрепляться в сознании, – материального, духовного и чувственного.

Обладая знанием о колоссальной мыслительной мощи нашего мозга (в обычных условиях он нас, как правило, не подводит), можно смело утверждать, что ни один предмет, явление, аффект, процесс и проч. не может иметь какой-либо действительности или хотя бы предполагаемой определённости вне состояний свободы; в каждом конкретном случае это выражается знаковой индивидуализацией – своей мерой или степенью свободности; и только через такие «меты» возможно уяснение нами представляемого на формальной, а не отвлечённой основе.

Если же свободу, как термин, выражающий абстрактное, а также – как состояние, в котором она пребывает, от нашего сознания отстранить, то выйдет лишь то, что они там-то и там-то есть, возникают или сходят на нет, но – как нами

не обнаруженные и как бы только ждущие, кто воспринял бы их, будучи способен мыслить и справляться с такого рода абстракциями. Логика нам подсказывает, что из-за этого «остаются ни с чем» предметы неодушевлённые и живые, но не обладающие функцией мышления, как человек, то есть – абсолютно всё, кроме человека.

Огромная, запредельная степень обобщённости, какую мы находим в слове и в понятии *свобода*, стало быть, по-своему характеризует её – как явление, неотделимое от окружающего вселенского мира и согласуемое с ним. Постичь её в таком качестве задача не из лёгких, и здесь, чтобы не потерять её из виду, оперируют ею как *субстанцией* – «величиною», где содержание предметности выражено без каких-либо границ по смыслу.

Практика вынуждена считаться со столь зыбким и неотчётливым «объектом» по той причине, что структура обобщения в нём, выражающая колоссальные возможности нашего ума, приобретает новое, дополнительное очертание, получая прибавку в виде «венца» или верхнего «слоя», а «ниже» размещается её же «слой», где кое в чём свобода всё же доступна для нашего понимания.

Как «выглядит» обобщение, скажем, в понятии *стол*? В нём предметность обозначена указанием на его конкретные размеры, цвет, название материала, из которого он изготовлен, и т. д. Без их упоминания стол хотя и существует в уме, но всего лишь как обособленный знакомый символ.

Ощутить его вещественность через наше восприятие невозможно. Также нельзя обобщению, которое есть в понятии «стол», придать более широкий смысл. Никакого «восхождения» «наверх» здесь не следует. Нас такой оборот удовлетворяет вполне, и мы тут ни на что не претендуем, в то время как в отношении понятия «свобода», с его субстанциальностью, имеет место наш прямой интерес к ней, можно даже сказать: спрос.

Тут и пристрастные или нейтральные суждения о смысле, который умещается в слове «свобода», и споры, мнения о том, как стать свободными, и многое-многое другое. Ввиду чего каждый отдельно или с кем-то прилаживает свои заключения к своему или к уже устоявшемуся общему для населения земли пониманию жизни, происходящих вокруг событий, самих себя.

В лавинах таких осмыслений, часто противоречивых, как раз и возникают проблемы, вынуждающие всех нас постоянно искать пути более-менее достаточного постижения свободы в её нескончаемых значениях.

Осмысления с целью приблизиться к истине, как видим, крайне для нас важны и необходимы, хотя нельзя сказать, что мы горим неким особым желанием знать, как «устроена» свобода в её субстанциальности. Этого, конечно, нет. Нас по преимуществу влечёт к ней то, чем она является в своём нижнем «слое», когда с нею увязываются наши обычные (самые простые, на бытовом уровне) или политические и соци-

альные (более широкие) представления о независимости.

Оказавшись в этом «месте», мы часто вроде бы находим искомое, но оно опять не способно полностью удовлетворить нашу взыскующую любознательность. Независимость от чего? От кого? С кем и для чего? И т. д. Вопросы озадачивают и вызывают подобие растерянности, если не сказать шока.

О том же, что тут мы должны иметь дело с устойчивым представлением о мере зависимостей, в виду которой всё, что существует, находится обязательно в связи с чем-нибудь, и речи не заходит, или если и заходит, то очень редко, поскольку при дальнейшем углублении в эту, «следующую» сферу, размывается или даже целиком утрачивается смысл уже и самой свободы – в её не только нижнем «слое», но и в субстанциальности...

Какие бы, однако, трудности на этом пути познания перед нами ни возникали, нам не к лицу было бы из чистого каприза взять да и вовсе не принимать субстанциальное в расчёт, иначе говоря, вообще не обращать на него внимания.

Пойти на такой шаг значило бы уронить наше сознание до того примитивного уровня, при котором мы не могли бы управляться и с абстракциями меньшего порядка. Нет; мы ведь постоянно убеждаемся в нашей мыслительной исключительности, уверенно разделяем положения о феномене своей познавательной сущности и «всеядности». Аналогов ему пока не найдено в необъятной вселенной.

Субстанциальность, являясь крайней отвлечённостью, не

отделена в самое себя, когда из неё напрочь бы вымывалось информативное, в связи с чем она не могла бы удерживаться в сознании как понятие.

В области человеческого мышления её роль незаменима тем, что ею подчёркиваются безграничные (так мы считаем) возможности абстрагирования. А это, в свою очередь, открывает широчайшие перспективы исследований реального мира, усовершенствования логистики этого процесса.

Оставаясь только в своём нижнем «слое», свобода лишалась бы ещё одной, характерной для неё черты – устремлённости к идеалу и быть им, значит, и цена ей была бы соответствующая.

Хотя осуществление идеала недостижимо, людям свойственно различать в нём то, к чему они желали бы всегда стремиться. Как мы знаем, с этим не всё получается. Как раз потому, что не всё в движении к идеалу оказывается ровным, и не всё тут позволено...

Недопустимо смешивать понятие свободы с понятиями воли и вольности. Первое из этих двух последних понятий существует в обороте как не имеющее ни границ, ни субстанциальности. Оно трудно приложимо к реальностям и понимается только в самом широком значении. В зауженном смысле оно хотя и употребляется, но фиксировать его в каких-то определённых параметрах – дело безнадёжное.

Что имеется, к примеру, в виду, когда говорят, что для некоего политического решения нужна, мол, воля верховно-

го руководителя или управляющего коллективного органа? Только то, что эти носители власти могли бы проявить настойчивость в желании выразить некую одностороннюю позицию в соответствии с чьими-то чаяниями, запросами, надеждами.

А что до вольности, то в её символике легко умещаются безбрежные пожелания оставаться вне от чьей-либо зависимости, то есть как бы и в состоянии свободы, но такой, где не должно быть никаких ограничений. Это несовместимо с природным значением свободы.

И ещё. Свобода, когда её рассматривают в «приложении» к человеческой личности, обществу или всему человечеству и когда ею «обладают» в чём-то конкретном (свобода на независимые суждения и др.), может быть выражена правом на неё. В такой «ауре» она становится фактором социального, социумного порядка. Я этого нюанса уже касался, комментируя своё участие в анкетном опросе.

Сюда, к выраженности в праве, приходят двумя путями. Первый: право на свободу приобретается – в борьбе, в прениях и проч. Общей мотивацией к этому служит расхожее утверждение, что человек, один или вместе с другими, обязательно должен быть свободен.

Однако людям можно иметь право (на свободу) и не затрачивая усилий на его приобретение, а просто получив при своём появлении на свет.

В каждом из этих вариантов правовое в его функциональ-

ности имеет свои особенности.

Различия могут быть весьма существенными, что нередко приводит к неумелому и даже нелепому использованию второго на месте первого, к игнорированию второго, к фальши и другим несообразностям.

Данную ситуацию требуется основательно опрозрачить, для чего, полагаю, будет полезным немедленно перейти к рассмотрению свободы в её конкретном нашем понимании и использовании нами.

1. СВОБОДА СЛОВА

К этому броскому словосочетанию мы уже так привыкли, что в огромном большинстве воспринимаем его аксиомой. И если о нём говорят или спорят, то, как правило, – в его утверждение и в защиту – как ценности безусловной и всеми принятой безоговорочно, с охотой и с одобрением, установленной непреложно и навсегда.

Попытки не считаться с нею, с этой ценностью, действовать в её принижение или отзываться о ней со скепсисом заглушаются яростным: – а ну не тронь!

Оппоненты всех мастей, уже очень часто величающие друг друга «заклятыми друзьями», в самых разных ситуациях, ссылаясь на неё и подкрепляя ею свои аргументы, кажется, вполне бывают уверены в своей неприкасаемой и непробиваемой правоте. Так совершается её массовое неоглядное

признание и обережение. Переступить через этот барьер далеко не просто, вроде бы и вовсе невозможно и как будто вне здравого смысла.

Но – во всякой защите отыскиваются бреши.

Так ли уж нет никакой надобности воззреть на привычный и полюбившийся предмет с иной стороны? Ведь как раз при такой постановке вопроса может быть плодотворным исследование, пусть бы итог тут вышел нежелательным, отличным от прежней, укоренившейся установки.

Начать такое исследование (здесь подойдёт именно этот способ получения нового знания) резоннее, пожалуй, с того, чем так интересно слово, которому дана свобода. Слово как таковое. «Уложенное» в своём понятии или во многих понятиях. В чём оно выражается как единица языкового пласта, и может ли оно быть свободным?

Уже первые библейские летописцы утверждали: вначале было слово. Однако – слову предшествует мысль. Теперь никому невозможно опровергнуть того, что мысль возникает в мозге, в головном аппарате, в нём «удерживается» и из него же «является» к нам.

Процесс движения мысли к своему концу и её выхода из головного аппарата не вполне пока уяснён даже могучим современным компетентным научным знанием, да вряд ли и когда-либо станет известным в таких параметрах, чтобы рассуждать о его деталях; с уверенностью можно говорить о нём разве что как о действии, в котором главенствует выбор –

выбор из множества мыслей какой-то одной и по времени – единственной. Она-то и становится словом.

«Выпорхнув» из головного аппарата, мысль во всей своей полноте перевоплощается в предмет или, если угодно, в некий новый сложный процесс её бытования и движения, указывающий на её воплощение в новое качество или облик, – на её действительность (во благо или во вред людям или отдельному индивидууму в зависимости от целей по её использованию или – по обстоятельствам).

Выражаясь понятиями из арсенала философии, мы тут имеем дело с «лёгким», незатруднённым одномоментным превращением одной формы «чего-то», где тщательно удерживалось её содержание, в другую форму, сразу «получающую» и своё содержание.

Глубинная суть такого превращения, как и несчётного множества других превращений, происходящих в окружающем нас мире не только материального, но и духовного, его, так сказать, «вещественная» осязаемость – есть та лукавая вселенская загадка и приманка, над разрешением которой безуспешно бились в течение веков и тысячелетий, вплоть до наших дней, самая передовая наука и практический опыт.

Также остаётся наглухо неизвестной продолжительность любого из превращений.

Доля здесь секунды или какой-то иной, ещё более короткий отрезок реального времени, установить не дано или, если бы такое случилось, то не в наше настоящее время, а где-

то позже. Тем самым приходится признать наличие в мире по-настоящему непознаваемого (не исключается – полного), и оно, как видим, не такая уж мелочь или редкость.

К предмету слова и его свободы эти попутные замечания имеют прямое и непосредственное отношение.

Дело в том, что мыслительный процесс в головном аппарате ограничен (пространством черепа, тем же выбором и проч.), то есть – в определённой, а точнее – в значительной степени он «полноценной» свободы лишён, а, значит, ущемлён в его свободе и с точки зрения принципа должен считаться несвободным, а коли уж свободным, то лишь частично, в определённой доле.

Можно при этом говорить о существенной роли ограничений, которыми сопровождается «растекание» или разрушение формы, удерживающей мысль, – уже с самого начала её образования и дальше, вплоть до последней стадии, предшествующей «рождению» слова. – Тем не менее, взятый как единое и неразъёмное целое, он, мыслительный процесс в головном аппарате, воспринимается и признаётся нами свободным – совершенно, абсолютно.

Хотя это далеко не научный, а чисто бытовой подход, замешанный на неприхотливой житейской целесообразности, он нас будто бы устраивает. В государственных законах, в том числе в основных (в конституциях) это пренебрежение принципом утверждено в качестве права – через формулировку о свободе мысли.

То же происходит и со словом – производным от мысли.

Мы совершенно не обучены считаться с тем, в какой мере оно, слово, уже с самого начала, при своём «возникновении», ограничено в его свободе – вполне допускаемой зависимостью от происходящего в головном аппарате.

Если же вести речь о нём уже «изготовленном» и, например, только в его устном виде, то оно может быть произнесено громко, тихо, робко, с ударением на каком-то одном его слоге или без ударения, отрывочно – по слогам, вразяжку, с запинкой, интонированно, с акцентом, с какой-то важной целью или просто так.

Вместе с тем кто-то совсем не торопится произнести его, до поры удерживает его в себе (ещё в «оболочке» мысли), замалчивает, а его произношение вслух может заглушаться неким слышимым тут же шумом, сигналом сирены, взрывом, речью из микрофона, чьим-то пением, музыкой, плачем ребёнка и т. д.

Нетрудно убедиться, что и записанное слово также бывает подвержено разного рода воздействиям.

Получается – и в этих случаях свобода хотя и есть, но скованная ограничениями. О том, что здесь она полная, можно забыть. Но она уложена в законах как полноценная, несколько не ущерблённая, абсолютная. И в таком «приятном» «наряде» даже прогарантирована ими. В своём месте у нас будет возможность рассмотреть, из-за чего это происходит.

А пока укажем на отдельные несообразности и уклоны в

понимании термина, который мы здесь рассматриваем.

Иногда рассуждают так: раз имеется производное от мысли, свободной мысли, то оно, должно быть, уже достаточно хорошо «вызрело» и «выверено» в головном аппарате и, значит, приобрело те смысловые и функциональные черты, какие всеми ожидаются и всем нужны.

Манипулируя со словом дальше, его свободу, свободу слова, начинают понимать в том значении, как вроде бы для тех, кто на неё претендует в своих интересах или больше того: имеет на неё право и гарантию, тут в обязательном порядке всегда должна обеспечиваться практическая выраженность заложенного в двухсловной грамматической конструкции смысла – и не только голосовым произношением, буквенной или электронной записью одного лишь «слова», как термина и понятия, но и – чем-то ещё, скорее всего тем, что связано с нашей какой-то деятельностью, нашей духовностью, потребностью приобщения к национальной или мировой культуре, политическими или другими пристрастиями и проч., – несмотря на возможные к тому препятствия. – То есть – желают иметь некий весьма внушительный и притом исключительно положительный (на пользу) результат, – как собственно от *свободы*, так и от примыкающего к ней *слова*, – от обоих составляющих этого вроде как неразделимого «тандема».

Логика подталкивает нас воспринимать сей чудный дар едва ли не вещным, реально осязаемым благом, даже то-

варом, весьма ценным и привлекательным, который можно брать с прилавка, не утруждаясь его оплатой.

Вольные соображения такого рода исходят, конечно же, от слова, как единицы устной речи или текста, – в его многочисленных смысловых понятиях. Эти отдельные понятия в некоторой части приводятся в словарях. А полная смысловая транскрипция термина «слово» значительно превосходит всё то, что фиксируется в записях на бумаге или в электронной памяти составителями словарей.

Так на деле даёт о себе знать «растекание» его формы. «Растекание» из-за множества его значений. Растекание по дереву, как говорили ещё в далёкой древности.

При этом не лишне иметь также в виду бытование отдельного «слова» во множестве языков, где оно может варьировать в своей понятийной сути, нередко до неузнаваемости. Эти факторы в сочетании с вероятностью некоторой изменчивости мысли при её выходе из головного аппарата создают почти неуловимую сознанием разбалансировку в порядке и в качестве нашей общительности.

Русский поэт Фёдор Тютчев сделал на этот счёт такое оригинальное замечание:

Мысль изречённая есть ложь.
(Стихотворение «Silentium!»)

Думается, вряд ли кому удалось бы доказать несостоя-

тельность этого по-настоящему мудрого изречения.

Далее. Надо учитывать ещё и то очевидное, что когда оперируют конструкцией «свобода слова» и ею утверждается некое важное право, наряду с отдельным словом получают столь же свободное хождение в обществах целые грамматические предложения и комбинации таких предложений, а ими наполняются речи, доклады, газетные страницы, выступления с трибун, манифесты, книги, интернет-блоги, листовки, всё, без чего нельзя представить современного информационного многообразия и общения в людской среде. Это тоже понимается как свобода слова.

Сюда, к этому вихревому потоку потребляемой разнообразной массовой информации и просто информации, прилегают и процессы творчества – научного, литературного, музыкального, художественного и др., которым, как это известно из государственных законов, предоставлена и гарантируется своя свобода.

Соответственно и масштаб или размах воздействия свободой слова на человеческое сознание и подсознание может выражаться величиною настолько огромной и всепроникающей, что к ней оказывается неприложимой никакая мера.

Тем самым и управление свободой слова в разумных пределах, то есть – в её сколько-нибудь отчётливых рамках становится невозможным. Многие пользуются ею на свой лад. Например – писатель Виктор Пелевин, измаравший собственные сочинения матерщиной.

«Крепкие», непристойные и ненормативные слова, реплики и целые речи уже звучат в теле- и радиопрограммах, кинофильмах, в театральных постановках, в развлекательных эстрадных представлениях, на стадионах, в обстановке обмена мнениями...

Да только бы это!

Свобода слова, как право, обеспеченное государствами, легко «умещается» и «хозяйничает» в таких серьёзных, конкретных и строгих ипостасях, как поведение, поступки человека, одного или массы, даже в намерениях, ими «двигая» и даже «повелевая», «подстёгивая» их, чем она очень часто и привлекательна и крайне опасна одновременно.

Известна, в частности, прошедшая в Стокгольме в январе 2023 года очередная публичная акция лидера правоэкстремистской партии «Жёсткий курс» Расмуса Палудана – сожжение Корана. Палудан, лично сжигавший священную для мусульман книгу, назвал этот совершённый им поступок данью свободе слова...

И всё это – из-за её необъятной значимости, из-за её признания величиною несообразной какой-либо мере, абсолютной.

Нельзя не посочувствовать политикам, работавшим над проектом конституции США – документом новейшей юриспруденции, где с целью учредить и закрепить права граждан употреблено ёмкое и, как могло казаться, прекрасное по значимости слово «свобода» – в его связке с благами от неё, –

в то время, правда, лишь в преамбуле указанного документа. Что следовало под «свободой» понимать и как её истолковывать, тогда никаких пояснений в тексте конституции не приводилось.

Для разработчиков проекта тут, вероятно, был некий тупик, из которого не находилось выхода. Они не знали, что собою может представлять заманчивое поименование того желанного многозначного богатства, которым должно обеспечиваться пользование предоставлявшимися правами. У них перед глазами явно витал призрак – его суть никак не сформулируешь, чтобы он устойчиво работал, как выражающий право, и было понятно, что он «показывает».

По принятии конституции слово «свобода» так и осталось нераскрытым через пояснение.

Это был далеко не лучший, скажем так, вариант для условий применения необычного по концептуальности документа – основного закона, где умещалась функция его прямого действия при рассмотрении исковых заявлений в суде и в иных обстоятельствах урегулирования жизни общества.

Замешательство разработчиков повторилось, когда вскоре они взялись манипулировать свободой слова. Оно, это словосочетание, внесено в одну из поправок к конституции США, объединённых в известный Билль о правах. Опять же и его оставили нераскрытым через пояснение – как его надо понимать.

Речь в таких случаях идёт о так называемых дефинициях,

точнее говоря, – об их отсутствии, когда они – крайне необходимы.

Досадные упущения легко теперь списать на эйфорию, которой было, видимо, в достатке или даже в избытке в то далёкое уже время – как в народе, так и в конгрессе Соединённых Штатов.

Ведь и свобода, и свобода слова принимались как нормы государственного права ещё когда в стране существовало рабовладение. Оно было ощутимо хотя бы по составу представителей, работавших над текстом проекта конституции: те, кто представлял рабов, считались (при подсчётах «за» и «против» в процедурах голосования) каждый не за целого человека, а всего лишь как его три пятых!

При столь грубых жизненных реалиях свобода, как маяк для политики и возможных радикальных преобразований в социуме, могла, что называется, пьянить воображение...

Но только ли в эйфории дело?

Можно вспомнить, как непросто было разобраться со свободой ещё в древней Греции, где также существовало рабство. Ей и там не удосужились дать толкового объяснения как норме государственного права, представить её на всеобщее обозрение в чёткой формулировке – что под нею нужно понимать.

Ясно, что и в ту далёкую эпоху необычайная восторженность по отношению к новой правовой ценности зашкаливала в обществе.

Платон в его работе «Государство», рассказывая о гражданах, своих соплеменниках, воспринимавших это мудрёное лакомство с энтузиазмом и возбуждением, по-своему глубоко и в живых красках запечатлел наблюдавшееся в полисах явление эйфории.

Тогда никто не медлил с похвалами самим себе, вкушившим свободы и надеявшимся увидеть своё будущее в некоем существенном перерождении, обновлённым и как бы уже совершенно «правильным», хотя ещё и не узаконенным, или – в сравнении с этапом первого к нему привыкания.

...это будут люди свободные, – читаем у названного философа, —: в государстве появится полная свобода и... возможность делать что хочешь.

...

...это самый лучший государственный строй.

...

...При нём существует своеобразное равенство – уравнивающее равных и неравных.

...

...из олигархического человека получается демократический.

...

...заметив, что акрополь его души пуст, захватывают его...

...

...В убеждении, что умеренность и порядок в расходовании средств – это деревенское невежество и черта низменная, они удалят их из своих пределов, опираясь на множество бесполезных прихотей.

...

...человек живёт, угождая первому налетевшему на него желанию...

...

...только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен...

...

...государство... опьяняется свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы...

...

...при таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей...

...

...душа граждан становится чувствительной даже по мелочам: всё принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат... тем, что перестанут считаться даже с законами – писаными или неписаными – чтобы уже вообще ни у кого и ни в чём не было над ними власти.

...

... – начинаются обвинения, судебные разбирательства,

тяжбы.

...

...тиран... вырастает именно из этого корня...

...

...стать тираном и превратиться из человека в волка...

...

...раз народ породил тирана, народу же и кормить его и его сподвижников.

(П л а т о н. «Государство», книга восьмая. В переводе А. Егунова. По изданию: «Государство. Законы. Политик».

«Мысль», Москва, 1998 г.; стр. 310-325. – Фрагменты текста приводятся с сокращениями).

Разве не впечатляет?

Очень странно то, что американские выборные лица смогли отмахнуться от столь жёстких предостережений и констатаций, пришедших к ним спустя две с лишним тысячи лет и широко им известных, – хотя бы из энциклопедии французских просветителей XVIII века. Они будто и не собирались дать внятного объяснения термину «свобода». А при вводе в оборот и в законы термина «свобода слова», ещё не употреблявшегося в Элладе, их старания завели их ещё дальше в непроницаемый тупик.

В самом деле: как было не обратить внимания на вполне мрачный исход жизни на началах провозглашаемой свобо-

ды! Ведь греки, энергичные в своих социальных и культурных устремлениях, так и не смогли «управиться» с нею, что видно по закату их правовых ценностей и вообще – по утрате самостоятельности страной перед более сильным и более напористым Римом.

Нам неизвестно о каком-либо активном обсуждении этого возвышенного термина в народе Соединённых Штатов, когда конституция страны уже разрабатывалась и в преддверии, а также и после этого события. Их, по крайней мере, можно бы считать любопытными. В древней Греции было ведь по-другому.

В сочинениях того же Платона почти зримо предстают перед нами бурные обсуждения принципов свободы в непринуждённых и никем не пресекаемых беседах, обозначенных как диалоги. Они затевались по любому поводу, – с участием не обязательно только двух человек, наименьшего состава по численности, но и – целых групп спорящих и оппонентов. И столь яркий обмен мнениями продолжался не какой-то короткий срок, а многие годы...

В новое время вслед за США эстафету горькой неосмотрительности при использовании очень важных и приманчивых правовых терминов приняли многие государства, претендовавшие называться демократическими. Здесь не исключение и нынешняя Россия.

Разрабатывая принципы её новой государственности, прав и свобод своих граждан, она попросту переняла «пла-

вающие», размытые обозначения чужих нормативов.

По этой части в стране не проводилось и соответствующих, сколько-нибудь стоящих обсуждений. Законотворцы, имея дело с понятием свободы, вели себя вяло, понадеявшись на мировой опыт. В народе же, который на протяжении многих десятилетий был практически отстранён от управления государством, новая терминология не шла в расчёт из-за его невольной апатии.

Если он и мог чего-то желать, как свидетель и участник режимного застоя, то – только перемен. Каких конкретно, он не знал.

Законодатели советского срока ловко использовали это роковое обстоятельство, преподнося его как выражение чаяний народа, как его стойкость и похвальную терпимость перед лицом возникавших трудностей.

Такая пошлая «традиция» во многом сохраняется и в сегодняшнем отрезке времени.

Теперь пришла пора энергично встряхнуться и по-настоящему, по-деловому заняться уточнением смысла наших первейших по значимости не только общественных и узкогосударственных, но и мировых ценностей.

Кажется, из этого исходили в США, когда Верховный суд этой страны вознамерился посомневаться в неконкретном, расплывчатом понятии *свобода слова* и вынес решение, позволяющее рассматривать его не традиционно, как в пер-

вой поправке к американской конституции, где говорится о недопустимости ограничений «свободы слова», а – так, чтобы при её толкованиях они (ограничения) всё-таки допускались, но – «по соответствующим причинам».

Ясно, что такая косметическая подправка мало что изменила в применении юридической нормы, поскольку плавающим и неотчётливым воспринимается теперь уже и рекомендация – «по соответствующим...» Кто мог бы обозначить её в безукоризненной точности и правильности, не допустив ошибки?

Слово, которому дана свобода и эта свобода – гарантирована, требует к себе пристальнейшего внимания как образец формы предмета и понятия, не предрасположенных к устойчивости, к стабильности.

Конечно, достойно сожаления то, как довелось обжечься с ним политикам. Но оправданно ли винить их? Как и все другие люди, они ведь не вездесущи и, кроме того, ввиду множества факторов действительности не вполне свободны. Ложь, содержащаяся в изречённой мысли и подкрепляемая доверием большинства избирателей, весьма коварна. Тут могут повергаться любые здравые положения.

Ну а где же та причина, ввиду которой ложное принято в широчайшее неоспоримое употребление и, будучи закреплено в законах, господствует над привычными устоями нашей жизни, можно сказать, над самым здравым смыслом? Откуда пошло-поехало признание «свободы слова» как данности

юридической терминологии?

Не могло же ведь случиться так, что её утверждали наоборот, глядя в потолок или в небо?

Нет, разумеется.

Произошла ошибка, а точнее: подмена в понятиях.

Каких?

Давайте вернёмся к уже высказанной мысли о конституции, как особом документе, с её обязательной функцией прямого действия. Да, такая функция ко многому обязывает. К тому, в частности, чтобы вслед за основным законом она дублировалась в обычном специальном (или – отраслевом, «прикладном» и проч.) законе или кодексе.

При таком порядке вещей должен быть порядок и в применении конституции и «спаренных» с нею законов. Если же функции прямого действия у конституции нет – из-за того, что она «стёрлась», а ещё её нет и – в «примыкающих» к ней документах, ни о какой исполнительной их силе речь вести нельзя. Законы останутся, но лишь как номинальные, неработающие.

В отношении свободы слова как раз этот парадокс и наблюдается.

Вы что-нибудь слышали о разбирательствах судами исков об ущемлении свободы слова, о её нехватке кому-то, зажиме кем-то, злоупотреблениях ею? Таких примеров не отыщется во всей человеческой истории. Ни один государственный суд не возьмётся за рассмотрение подобного дела. Он отка-

жется даже принять исковое заявление, не то чтобы его рассмотреть или тем более — удовлетворить. А если ввиду своей дремучей безграмотности некие судьи всё же вынесли бы вердикт по делу, такое решение окажется не по существу.

Вот и вся цена защите права на свободу слова, на её конституционное гарантирование.

Глубоко сомнительным должно в связи с этим представляться изложение в конституции России существенного в гражданских свободах:

Статья 18

...свободы... являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Так ли?

О каком правосудии нам сообщают законодатели, если оно здесь (по отношению к некоторым свободам) не только не обеспечивается, но и — невозможно. А что до «непосредственно действующих свобод», так это, будем говорить, должно касаться всего без исключения, что нас окружает, что мы видим и чем живём. Говоря по-простому, нам здесь толкуют о предмете *вообще* — когда этот предмет даже в малости неразличим в его конкретике.

Хотя вопрос тут, казалось бы, житейский, отказ в разбирательстве дел указанной тематики или им подобных обоснован важным юридическим обстоятельством: имеет значение то, к какому виду права исковое заявление относится – к государственному или – к естественному.

Если ко второму, то судебное разбирательство исключается по определению. Там всё ясно и давно расставлено «по полочкам» без государственного вмешательства и правосудия, о чём подробнее будет сказано ниже.

Иски названной категории в государственные суды попросту не подаются.

Приняв это за «вселенскую» «норму», судебные инстанции ничего не хотят слышать о «каком-то» естественном праве. Но – почему?

Они – проводники и стражи только права государственного, ещё называемого публичным, призванного служить сугубо тому режиму, чьи амбиции, а, стало быть, также и – соответствующие серьёзные заблуждения оно воплощает и от лица которого исходят действующие в государстве законы и подзаконные нормативные правовые акты. Эти нормативы жизнеустройства, хотя в их удержание и затрачиваются колоссальные средства, всегда и везде используются как только временные. Ведь режимы невозможно устанавливать навечно, значит, такими должны быть и законы для них. И это продолжается тысячелетия.

Право естественное всячески при этом игнорируется, что,

как увидим далее, – совершенно зря.

Самое же примечательное здесь то, какой глухой и нетерпимой к естественному праву наряду с судами была и остаётся не какая-либо скрытая ото всех инстанция, корпорация или некий злодей индивидуум, а – юриспруденция, всем хорошо знакомая, как практическая, официальная, так и научная. Вот, к примеру, в какой «обёртке» она преподносит нам своё деревянистое понимание сути нелюбимого ею предмета (формулировку или её интерпретации можно встретить едва ли не во всех вузовских учебниках по государственному праву):

Естественное право в теории государства и права – понятие, означающее совокупность принципов, прав и ценностей, продиктованных самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или непризнания их в конкретном государстве.

Только вдуматься!

«Принципы, ценности и права», продиктованные самой природой человека, попросту отодвигаются от него в сторону как что-то чужое и чуждое. Все в совокупности. Будто нет и самого человека – их носителя и полномочного обладателя.

Туда, в ту же сторону всегда, к сожалению, была устремлена и активная общественная мысль, прежде всего та, которую беспринципные историки часто готовы называть пе-

редовой или прогрессивной... Сошлёмся хотя бы на точку зрения будто бы демократа Петра Чаадаева.

Он пишет:

Никакая сила... не заставит нас выйти из того круга идей... который признаёт лишь право дарованное и отмечает всякую мысль о праве естественном...

(П. Я. Чаадаев. «Отрывки и афоризмы», 192. По изданию: П. Я. Чаадаев. «Статьи и письма», «Современник», Москва, 1989 г.; стр. 204. Перевод с франц. – Д. Шаховского и Б. Тарасова. – Фрагмент текста приводится с сокращениями).

После таких авторитетных высказываний только и остаётся, что руками развести. Отставка непризнанному и, стало быть, заведомо ненужному явлению, дана полная и – навсегда.

Надо ли говорить, что при таких воззрениях грамотеев и в народах не могло появиться сколько-нибудь должного понимания – что такое естественное право. О нём догадывались и даже кое-что знали, тем и довольствовались. Его профессиональное отторжение во всём мире укоренилось настолько, что к нему апатичны и дыбистая, весьма чуткая к веяниям свободы слова интеллигенция, и всякого рода правозащитники, и даже простые любители покопаться в непризнанном.

Разумеется, только ввиду слепого неприятия «ценностей, принципов и прав» официальная юриспруденция умалчивает ещё об одном обязательнейшем требовании, которое соблюдается «самой» природой, – они даются каждому человеку на всю жизнь, а те, какими обеспечиваются межличностные отношения, соответственно – всему человечеству (или какой-то его части) опять же – навсегда, навеки.

Здесь резон оглядеться. Нет ли в столь категорическом и удалском отторжении некоего лукавства?

Ведь уже у Платона нельзя не обратить внимания на то, как он представляет законы в государстве, когда оно возвышается над обществом: *писаные и неписаные*.

Подобный ход хорошо заметен и в поправке IX к конституции США, где сказано:

Перечисление в Конституции определённых прав не должно толковаться как отрицание или умаление *других прав, сохраняемых за народом*» (курсив мой. – А. И.)

Разумеется, тут речь шла о недостающем.

«Неписаные» законы – это те, которые не устанавливаются государством и не предрасположены к тому, чтобы их записывали. Потому что они естественны; они «учреждены» как необходимые и ни от кого не отторгаемы не в какой-то отдельной стране или волости, а повсеместно, для всех людей на земле, по факту их рождения, почему и никто, ника-

кое государство или даже все государства мира не властны отменить или изменить их. Даже ещё больше: никому не позволено управлять ими; если же такое управление предпринимается, это есть насилие...

В американской поправке имеются в виду права, действующие, безусловно, как равные наряду с государственными законодательными актами. Воздействие феномена естественного права в обществе, а, стало быть, и в государстве косвенно признаётся, хотя фактически – не учитывается.

Господа комментирующие и отвергающие ретивы явно не в меру.

Почему их утверждениям не следует доверять?

Не надо большого труда, чтобы составить хотя бы ограниченный перечень наших естественных свобод и прав. Среди них нельзя не выделить в первую очередь наши права жить, смотреть, видеть, дышать, слышать, обонять, получать и употреблять пищу, самим себя чувствовать, право любить плотской любовью, право иметь свои суждения по разным поводам и выражать эти суждения в разных формах – словами ли, жестами или как-то ещё...

Если присмотреться к последней позиции в приведённом перечне, к суждениям, к тому, что они в себе заключают, то, согласитесь, не может остаться незамеченным их прямое и безусловное сходство... С чем?

Да не иначе как со свободой слова!

Могли ли ведать законотворцы, что как бы по иронии

судьбы, не осознавая своей оплошности, они взяли естественное право человека на свободные суждения и, обдав его холодным презрением, будучи в состоянии эйфории, всё-таки не устояли перед соблазном создать нечто в таком же роде, но более звучное, более ухабистое, касаемое всех в государстве – как прописанное в законе да ещё и подслащённое гарантированием, – чтобы даже тупой мог им восхититься и принять его, не раздумывая, откуда оно взялось и что должно значить?..

Случаи такого, будем считать, неумышленного заимствования норм естественного права, его перенесения в систему права публичного, государственного весьма многочисленны, и этому нечего удивляться: ведь этот вид права возникает без каких-либо усилий со стороны кого бы то ни было. Оно, как богатство, – «ничьё». А значит не стбит и пенять кому-либо, мол, тут явное, прямое умыкание.

Взятое и употреблённое с пользой – что в этом плохого?

Только можно ли говорить о сугубой пользе? История свободы слова, права на неё, на такую свободу, взывает к максимальной осторожности. Было совершено зло, и его проявления и параметры сегодня воочию наблюдаемы и хорошо просматриваются. А объяснение здесь такое: естественное право по качеству и «составу» неоднородно; есть такие его виды и подвиды, которые бывают не только полезны, но и вредны, а нередко даже соединяют в себе эти противоположные отличия.

По своей действительности и эффективности нынешняя свобода слова сродни миражу. который, как ни пытаться дотянуться до него и потрогать его, остаётся недостижимым. Ещё более верным было бы утверждение, что это особо стойкий к привыканию духовностный наркотик, в употребление которого вовлечены и терпят огромный урон уже не только отдельные страны, но и материки, весь мир.

Нам теперь остаётся лишь подкрепить высказанные соображения ссылками на некоторые специфичные факторы, способные оказывать существенные деформации в правах, если те естественны, но – слабо защищены, а употреблённые уже под видом государственного права, становятся причиной существенного искривления наличного правового пространства по месту, где их используют в несвойственной им роли.

Можно представить, какой дискомфорт способно внести в нашу обыденную жизнь даже очень маленькое инородное тело, вдруг оказавшееся в глазу. Соринка, занесённая ли ветром, или ещё что. Свобода смотреть и видеть – неотторгаема и – не терпит насилия. И мы привыкли, что если она и нарушается, то очень редко.

А если вас ослепили? За недоказанностью покушения или ввиду причины непреднамеренной вам ничего не остаётся, как смириться перед фактом произошедшего. А если виновник установлен и он – человек? Идите в суд, и он поможет вам в справедливом наказании злоумышленника.

То есть – даже несмотря на то, что свобода смотреть и видеть – право естественное, возмещение за причинённый вред вас не обойдёт – уже по закону того государства, где вы живёте или чьим гражданином являетесь.

Аналогично обстояло бы дело и с нарушением прав на свободу слышать, дышать, обонять...

Может, однако, пойти и иначе.

Например, ущемлена ваша свобода на суждения. Кто-то вам запрещает выражать её в кругу семьи или где-то в офисе, существует государственная цензура и т. д.

Крайней мерой воспрепятствования вашей свободе стало бы здесь нанесение вам травмы с целью повредить вам череп и тем самым вывести мозговой аппарат из нормально-го режима его работоспособности. Предполагаться могут и небольшой ушиб черепа, легко «проходящий», и грубое покалечение – с летальным финалом.

Доказательства причинения вреда, как видим, будут нужны только при серьёзной травме, когда потерпевший заинтересован в возмещении ущерба. Но в чём будут состоять эти доказательства? – Только в факте внешнего повреждения черепа, а внутри его – мозга. Нисколько не больше.

Мозговой «продукт» в виде ваших суждений, которые вам кто-то не позволил выразить сообразно вашей воле и вашему естественному праву, останется недоступным для дознавателей.

Даже если бы препятствием к выражению ваших сужде-

ний служило не физическое насилие, а, скажем, чей-то приказ или чьё-то мнение, предостережение, цензура и проч., получить необходимые доказательства причинённого вам «мыслительного» вреда оказалось бы невозможным. По той причине, что следствию пришлось бы оперировать такой сложнейшей ипостасью как свободный выбор суждений да ещё и забираться для этого внутрь черепа, чего им – не дано.

Ещё Эпиктет, древний философ-стоик, выходец из рабов, возвещал:

Нет насилия, которое могло бы лишить нас свободы выбора.

(См.: «Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий». «Терра – книжный клуб» – Издательство «Республика», Москва, 1998 г.; стр. 428. – Перевод – С. Роговина).

В этой цитате уместным было бы, пожалуй, только одно добавление: – кроме смерти.

А в целом, когда нас интересуют исключительно живые, а не умершие, – сознанию или подсознанию человека никто не приказчик. Он волен сам распоряжаться ими соответственно тому, насколько свободны происходящие в них мыслительные процессы. Будет, видимо, ещё точнее, если сказать, что ему, живому, и заботиться тут особенно не о чём, поскольку очень многое в его мозге происходит без его участия – инстинктивно...

Итак, мы уже вполне, полагаю, ознакомлены с метаморфозой, когда естественному праву вменили в обязанность быть кому-нибудь служкой, не исключая и его замены правом государственным.

Свобода слова имеет все признаки данного человеку от природы права на свободу суждений, на свободу мнений, необходимого всем широкого плюрализма.

Хотя здесь очевидны манипуляции подмены и навязанности, когда хотят руководствоваться упрощённой, грубой, не «выходящей» из естественного права целесообразностью, новое «изобретение» уже не сбросишь со счетов.

Как и норма естественного права, оно есть реальный атрибут или «инструментарий» общения в человеческом обществе. Ведь несмотря на факт подмены всё, данное как естественное, в нём сохраняется. В том числе и его «вещественность», которая пребывает неосязаемой и неконкретной.

Именно поэтому свобода слова не должна бы регламентироваться, поддерживаться и охраняться никаким законом или уставом. Речь может идти исключительно об ориентированности на неё, о фактическом её признании – по аналогии со всем, что происходит «само собой» и что не предназначено обязательно быть записанным. И лишь в этом состоит её правовое значение.

Она есть наличная ценность правосознания, выражение

качества того правового пространства в обществе, где царствует слово, – того и достаточно. А как ею «пользуются» или как бы кому хотелось «пользоваться», – это уже сторона иная. Возможна необузданная вольность, когда «с оглядкой» на неё предпочитают говорить что кому вздумается и даже делать что кому вздумается.

В интересах же государства, одного или многих, к ней апеллируют по причине часто возникавших ранее или возможных в будущем приёмах давления – на свободу суждений, – когда это расценивалось как ущемление взглядов, психики, творчества, чувств, интеллекта и проч.

Перед угрозой такого насилия сначала утвердили норму государственного права в их защиту, а затем дошло и до гарантирования этого права.

Какие бы, однако, меры по превращению нормы естественного права в государственный норматив ни изобретались, она никогда не становилась и не станет эффективным средством защиты наших суждений. Здесь – ноль.

Действие публичного права предстаёт при этом лишь как возвышение «цивилизационного» бойкого термина над естественным, природным правом людей, как своеобразная дань современной политической моде, просто – как декларация. Даже при всех гарантиях от государства публичная правовая норма о свободе слова, как и данная человеку от рождения свобода суждений, всегда остаётся ни от кого не отчуждае-

мой и беззащитной одновременно.

Зато разговоров о ней, об этой «сверкающей» ипостаси – в избытке или и сверх того. Ими «украшаются» самые разные по тематике коллоквиумы, «круглые столы», интервью и серьёзные доклады, уличные демонстрации, слушания и запросы в парламентах, даже балаганные шоу – чтобы пожесточе заморочить обывателей.

Нам ещё помнится, как на центральном телевидении России регулярно шла передача «Свобода слова». Её тогдашний ведущий и сейчас при деле на телевидении, но уже не в России, а на Украине, где она называется его именем: «Свобода слова Савика Шустера».

Ни один из вопросов, которые выясняются на таких «популярных» мероприятиях, никак не могут быть решаемы напрямую – официальной юриспруденцией. Это лишь приманка или вопль разнузданной демагогии. Потому что, даже будучи огосударствленной, естественная норма права на свободные суждения не перестаёт ею быть, постоянно устремляясь к своему первичному порогу, вследствие чего и обеспечиваться и поддерживаться государственным правосудием, как уже говорилось, она не может.

В этом случае оправданно говорить о мистификации, которую «охвачено» целиком двухсловное сочетание. В семантическом плане оно воспринимается всеми не по частям, а в единстве. «Слово» при этом как бы притоплено в «свободе», что вынуждает рассматривать его не как субъект, а лишь

– предикатом. Посудина оказывается поставленной вверх дном.

Слияние по такой «модели» привело к тому, что здесь очень многие предпочитают не утруждать себя разделением целого и не находят у «слова», когда оно оказывается в правовом пространстве и там претендует на соответствующую свою значимость, никакого отдельного действенного смысла без его «привязки» к «свободе». Тем самым практикой, в том числе юридической и государственной, утверждено обозначение нулевой величины правового.

Прилаженная к необходимости иметь новейшую и притом весьма привлекательную для всех правовую норму, конструкция выбранного суждения уже как сама по себе, неосознанно, безотчётно, произвольно выпадает из области прямого общественного интереса и отторгается, подобно тому, как это может происходить со «свободой книжной полки» или «свободой окна».

Иного не дано.

В синтетическом виде, в обобщении восприятие «свободы слова», как составляющей действующих конституций и оплота ослеплённых радикалов, а также тьмы их последователей, приближено к элементу уверования.

Нынешний капиталистический либерализм должен, безусловно, радоваться такому обороту дела. На том и порешили. Однако обман, если он даже невидим и ещё никем не обнаружен, не перестаёт быть обманом. Это в точности то, как

если бы порча была упрятана в фундаменте.

Подпорченный «свободой слова», фундамент общественной жизни на началах либерализма не только в каком-то одном государстве, а теперь уже на планете земля, по всей видимости, обречён и со временем должен растрескаться и крошиться...

А закончить эту главу я хотел бы отсылкой к событию, состоявшемуся в 2021 году в Государственной Думе и Совете Федерации России, когда там провели правку закона РФ «Об образовании», установив «норму» под названием «просветительская деятельность».

Несмотря на довольно обширный комментарий, приведённый в статье, которую поправили, толкование этой «нормы» осталось нечётким, размытым, указывающим на произвольные значения, лишённым точной и убедительной обозначенности – что это такое на самом деле. То есть ей не задана чёткая формула её существования и применения.

Это ещё один досадный факт пренебрежения так необходимой в данном случае дефиницией. Факт, едва ли не закономерно вытекающий из неясного, неумелого, авантюрного пользования термином и понятием слова «свобода» – как своеобразным дешёвым и истрёпанным флагом нашей блуждающей, слишком ополитизированной современности.

Не только учёные, деятели культуры, образованные юристы, но даже школьники усомнились в этой узаконенной государственной правовой наработке – из опасения, что чи-

новниче рвение при использовании новшества может едва ли не на 100 процентов исказить его суть, понимая его по-своему, то есть – лукавствуя в «интересах» государства, вследствие чего неизбежны преследования и репрессии в отношении инакомыслящих и несогласных.

Кстати, уже на момент прохождения проекта поправки к закону «Об образовании» в Думе и Совфеде их, оппонентов, выступивших против сомнительной нормы, в России насчитывались многие сотни тысяч.

Нам придётся ещё не раз быть свидетелями таких проколов со свободой, свободой слова и прочими подобными ценностями теперешней захваленной либеральной цивилизации на земном шаре.

Не дать бы этому хода, да только вряд ли кому суждено преуспеть в таком старании. Время уже, к сожалению, работает не иначе как против нас...

Далее мы намерены по возможности обстоятельнее рассказать о таких ценностях, сопряжённых с понятием свободы, как цензура, гласность, массовая информация и других, на которых основываются современные представления о желанном сценарии нашего существования и развития; но только, думается, с изложением этих положений нам нет резона особо спешить, следует от него пока воздержаться.

Ещё многое не сказано о праве как таковом и его исключительности в нашей повседневной жизни, а также – неустойчивости под воздействием неадекватного ориентирования

на него.

В чём тут состоит коренной вопрос, будем судить, продолжив размышления о праве естественном, оказавшемся в великой немилости к себе не у кого-то из нас или у предыдущих поколений, а у самой госпожи истории.

2. НАШЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Ещё в XVIII веке к нему, такому праву, в западной Европе возник широкий общественный интерес. Предпринимались попытки его пристального рассмотрения в научных трудах и в беллетристике. К нему, как серьёзной дисциплине и кладези человеческого духа, опыта, чувственности, а также – предрассудков и заблуждений, были неравнодушны деятели искусств, писатели и поэты, все, кому становились близки направления социального и интеллектуального усовершенствования человека в рамках модного тогда французского просвещения.

Скажем сразу: как и право государственное, публичное, в том его значении, что оно должно служить людям (нередко – лишь отдельным или узкому кругу), естественное право в большинстве его «установлений» неразрывно с понятиями соответствующих свобод для человека.

Однако действительность резко интерпретировала этот чертёж. При возникновении необходимой для общества управляющей и регулирующей модели в виде государства,

когда знание о мире человеческого и социального было ещё очень сильно ограниченным, осторожность перед неизвестным тех, кто сочинял и во многих случаях искусственно вводил новые законы, могла быть главной причиной игнорирования естественноправового пласта.

Властями и подчинённой им юриспруденцией он воспринимался узким и непригодным для того, чтобы его можно было использовать наряду с государственным правом или хотя бы в поддержку этого последнего – когда не исключалась бы выгода от такого использования.

Своё понимание важных для общества знаний об этой сфере почти в одно время с западной Европой проявилось в крепостнической России. А первым, кто пробовал сформулировать значимость естественного права в системе общества и государства, был Радищев. В своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву» он писал:

...Право естественное показало вам человека, мысленно вне общества, принявшего одинаковое от природы сложение и потому имеющих одинаковые права, следовательно, равных во всём между собою и единые другим не подвластных. Право гражданское показало вам человека, променявшего беспредельную свободу на мирное оныя употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правило деяниям своим, то все равны от чрева материя в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следовательно, и

тут один другому не подвластен. Властитель в обществе есть закон; ибо он для всех один.

Как представляется, автор был здесь озабочен по преимуществу более понятным объяснением только схемы расположения двух видов права на пространстве человеческого бытия и взаимодействия. Вместе с тем заслуживает внимания и высказанная им весьма здравая мысль об ограничении свободы – как «получаемой» от природы, так и – от государства.

Выше уже упоминалось об ограничениях, этой своеобразной «приставке» к свободе, когда последняя рассматривается в её общем понимании. Но ремарка известного российского литератора и мыслителя говорит нам о большем. О чём же?

Внимательно прочитаем ещё раз: «...все они положили свободе своей предел и правило деяниям своим...»; и дальше – где автор апеллирует к закону как властвователю в обществе и – как только об одном для всех.

При всей априорности и недоказанности данных положений из них не может не вытекать очень важное для постижения существенного в терминах «свобода» и «право».

Хотя их часто употребляют порознь, они близкородственны и, что называется, не могут «обойтись» одно без другого. Когда мы говорим: право на свободу такую-то, например, на ту же свободу суждений, то понятие свободы здесь как бы «выходит» из «права», а одновременно и «укладывается»

в нём. Удивительнейшая зависимость!

Отчётливо видна степень изначального «практического» (действительного) ограничивания свободы посредством права, к чему сводится всякое манипулирование «свободой», конечно, повторимся: – когда её имеют в виду в соотношении с человеком – как понятие социального ассортимента.

Выражаясь образно, наша такая свобода может иметь место лишь в «огранке» права. Не будучи уместена в этом «ложе», она оказывалась бы вообще выброшенной из наших общественно-социальных и юридических представлений – как термин, который невозможно было бы связать ни с чем, хотя бы и лишь условно, нечётко-предположительно.

В то же время нет никакого резона впрямую уповать на то, что указанная «огранка» способна проявляться в виде какой-то конкретной, осязаемой, допускаемой меры свободности, как её хорошо осмысленное и достаточно эффективное ограничение.

Право на свободу, не будучи раскрыто, в чём оно состоит и каково оно по «объёму, оставляет свободу в том же качестве, когда её «величина» не может быть выражена в определённых, ясных параметрах или в стандарте.

Именно с таким «результатом» сопряжено, к примеру, положение ст.22 конституции России, где утверждается:

...каждый имеет право на свободу...

Отсюда, из этой нормы, высечь хоть какой искры – не получится. Ведь свобода в ней представлена абсолютной, то есть безграничной и ничем не ограничиваемой. Кому она такая нужна? Соответствующим ей должно быть и право на неё.

Здесь будет уместным оглянуться также на то, что выше было сказано о воле и вольности, – как терминах, сопряжённых с понятием свободы. Нелепо звучали бы выражения: «право на волю» или «право на вольность». Они неприемлемы и в будничном, обывательском обороте, а в правовых документах – тем более.

Потому и должна вызывать категорическое возражение формула бескрайней свободы, «помещаемой» в государственные законы, то есть в область публичного права, где она превращается в предмет вообще или в ничто.

Иное следует сказать в отношении естественного права, сформировавшегося на основе всеобщего человеческого опыта, избавлявшегося ото всего неподкреплённого им, когда непреложным законом становилось утверждение свободы в праве на неё, а записывать такую «установку» не предусматривалось и не предусматривается до сих пор – ввиду её неоспоримой очевидности.

В целом наработки уже далёкого XVIII века хотя и были неглубокими – в связи с недостаточным уяснением и раскры-

тием предмета естественного права в условиях общественной практики, но они указывали на вполне возможные проникновения в глубинное значение не только собственно его самого, но и – права публичного.

К сожалению, вскоре даже эти наработки были прерваны и преданы забвению.

Так единственный в веках и тысячелетиях раз на него, на это право, как бы по-серьёзному оглянулись, чем дело и кончилось. Дорогу ему в тот период, как и всегда раньше, заслонила своим неприятием официальная юриспруденция.

К стыду нашей современности, нужного внимания оно не удостоено и поныне. Хотя, казалось бы, – давно пора.

Ведь без представлений о естественном праве, представлений грамотных и хорошо усвоенных, не обойтись уже только в силу того, что сама официальная юриспруденция часто не может удержаться, чтобы не исходить из него в своих ориентациях и не позаимствовать в нём чего-нибудь для себя.

Как недостаточно искушённая в его полном «раскладе» и содержании, она часто делает это лишь в целях популизма, кажется, не понимая, что попросту дублирует идеалы и принципы естественного права, вторгаясь не в свою компетенцию.

Вследствие недостаточной обдуманности сущего в предметах заимствования допускается их рассмотрение не в их «природных» значениях, а – как имеющих свойства

быть прилаженными «к делу», к практике государственного управления – волевым порядком, искусственно.

Свидетельства подходов такого покроя заметны даже в наиболее значимых международных правовых документах.

Так, во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 г., хотя и говорится, что «все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах» (ст.1) и что «всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение» (абзац 7 преамбулы), но с правом естественным общечеловеческим эти формулы практически никак не связаны; оставаться в широком обороте в пределах всего человечества им отказано, что следует из этой вот установки:

...необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона...

(абзац 3 преамбулы)

Таковыми (под властью закона) могут быть только права публичные, которые устанавливают государства. Соответственно тому, что государств на земном шаре много, запись их содержания может каждый раз выражаться в отдельных, обособленных вариантах. С принципами права естественного общечеловеческого такое «обращение» лишено смысла.

Элементы невнятного толкования существа и использования незыблемых норм естественного права можно встретить

и в Европейской конвенции о защите прав человека и основных правах, принятой Советом Европы 04.11.1950 г.

А в государственных законах отдельных стран эти «зигзаги» и того выразительнее.

Вот что сообщается в ст.2 конституции России:

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

Из желания выглядеть поимпозантнее законодатель не пренебрёг здесь даже «признанием» «прав и свобод» – не только гражданина, но и – человека.

Но о каком «признании» можно тут всерьёз говорить, если нет фактического «признавания» – уже естественного права в целом, как предмета и важного фактора самоурегулированности в человеческом сообществе?

В приведённой статье основного закона РФ, где под правами и свободами человека вроде бы и подразумевается право естественное, но назвать, а, стало быть, и признать его в качестве юридического факта, законодатель не решается, в чём виден его прямой невиннолукавый умысел.

Негативной краски добавляет сюда и стремление государства вослед декларации ООН взять под своё управление нормы естественного права, что заметно по ч.3 ст.55 того же основного закона:

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты... нравственности...

Данную подвижку к надзору над этическим нельзя ничем оправдать, поскольку защита имеется в виду для нравственности в её самом широком смысле и понимании, то есть – как предмета вообще.

Проку от подобной государственной защиты нельзя ожидать никакого...

Значение проблемы столь неумелого заимствования и манипулирования в том, что глыба естественного права и прежде всего его верховный слой даны человеку «от природы», в соответствии с его запросами и потребностями, а государство, как тут ни рассуждать, – ни при чём.

Ему, государству, всё же не резон и отстраняться от самого ценного в нём, от его идеалов, забывать о них. Они действовали «сами по себе» и всегда, с момента, когда люди только начинали ощущать себя в мире как мыслящие создания, и действуют теперь.

Вовсе не бесполезно также хорошенько уяснить и естественные права негативные, те, от использования (или в связи с отстранением от них) может исходить немалый, иногда внушительный и даже, как нам предстоит убедиться, огромный и непоправимый вред.

Чтобы не попадать с ними впросак, очень важно знать меру их возможного и допустимого заимствования и ориентированности на них – в определённых объёмах, пределах и вариантах.

В жизни ведь мы с ними сталкиваемся буквально на каждом шагу.

Наверное многие замечали по поведению своих или чужих детей – как они, ещё малышки, крохи, быстро усваивают естественные нормы и привычки, которыми руководствуются взрослые.

Уже к своим трём, а то и к двум годам ребёнок знает, как ему быть, чтобы не вызывать осуждающего жеста, окрика или взгляда взрослого или подростка, как предпочтительнее укладывать игрушки, вести себя под воздействием силы тяготения, во время еды, в кругу сверстников. На любую ситуацию у него реакция если и с уклоном от общепринятой, «стандартной», ожидаемой нами, но всё же всем понятна.

Мы знаем, что ребёнок не останется со «своим» поведением; он быстро себя переборет и, глядь, уже через какую-то минуту или пусть через день-два «исправится», будет вести себя так, как это признаётся удовлетворительным для многих детей и устраивает взрослых.

Подрастая, ребёнок всё ближе будет подходить к пониманию касающихся его естественных положений, которые лишь в очень редких случаях упоминаются или комментируются родителями или знакомыми семьи и исходят как бы

из ниоткуда, но важны и обязательны для всех и каждого.

Где-то уже здесь, из поступков и разговоров сверстников или взрослых, из прочитанных (пока не им самим) книжек, из теле- и радиопередач, из интернета, в процессе обучения в детском дошкольном учреждении, в школе или в неформальной обстановке, в играх и проч. для него откроются смысловые обозначения тех ни для кого не зримых и не отражённых в строгой специальной записи истин, какие постоянно служат ему напоминанием о том, что ему позволено и что в нём осуждается, когда в своих поступках и в общении он ими руководствовался либо игнорировал их.

Так, уходя от своего детства, каждый человек оказывается в поле воздействия идеалами и нормами естественного права – идеалами и нормами добра и свободы, справедливости и достоинства, честности и чести, благожелательности, порядочности, совести, добродушия и прочих таких же понятий. В совокупности они образуют нашу этику с её двумя наиважнейшими составляющими – моралью и нравственностью.

Будет уместно отметить, что идеалы, как составляющие верховного слоя этики, всегда представлены лишь сами по себе, без их противоположных значений (несвободы, зла, непорядочности и проч.) А эти противоположные значения употребляются уже только в практике, в жизни людей, когда идеалам не соответствуют те или иные их действия, намерения или поступки.

Неизменным же здесь остаётся то, что человек начинает

узнавать и ощущать воздействие идеалов на себе («в себе») уже с момента, когда он только учится «пользоваться» своим сознанием, подсознанием и чувственностью, то есть – уже с очень раннего своего детства, никак не иначе.

Если иногда с участием педагогов, родителей, политиков, учёных излишне горячо обсуждаются «традиционные» темы дошкольного, школьного и последующего возрастов, способы общения детей и подростков, негативное влияние на них «улицы» и другие факторы, от которых будто бы впрямую и целиком зависит качество воспитания молодёжи, то это, мягко говоря, – не вполне верный ход. – Дискутанты хотят иметь лишь предлагаемое взрослыми и их устраивающее соответствие фактического уровня воспитания новых молодых поколений доктринам публичного, государственного права. Тем нормам, с большинством которых ребята сталкиваются много позже, чем с естественноправовыми.

Разумеется, в этом случае неизбежно отставание молодёжного сословия в усвоении принципов жизни и общественного порядка, исходящих от государства. – Хорошо понятно, что – наоборот – и к атрибутике, и к самому предмету естественного права молодые люди приобщаются и привыкают намного раньше, хотя практически почти всегда остаются малоинформированными в этой теме.

Разница в сроках тут бывает настолько значительной, что наверстать «упущенное» и «исправить» «ситуацию» слишком часто уже не удаётся всей сложной и затратной системе

«правильного», так называемого патриотического или близкого к нему воспитания в духе национализма, на все лады поощряемых государством. Да и нужно ли такую «ситуацию» исправлять?

Ведь речь-то идёт о том, что может вбирать в себя феномен этики – достояние всего человечества, а не какого-то отдельного государства.

Не вернее ли было бы по-настоящему широко обратиться на него внимание обществ и государств, каждого человека, не исключая подрастающих детей, на ту его важную роль, какую он играет в повседневной, как деловой, так и духовной жизни любого социума?

По его непрерывному (во все времена) воздействию на людские сообщества и на их сочленов этот феномен существенно превосходит любой из когда-либо принимавшихся кодексов прав и обязанностей в тех или иных странах.

А наиболее заметным такое его воздействие становится, когда катаклизмы общественного развития в отдельных государственных образованиях или в их ассоциациях приводят к резкому сбросу в прошлое прежних властных режимов, взамен которых появляются очередные, новые. С их нередкой новыми нормами и правилами.

Естественное право остаётся при этом с теми же идеалами, какие не могли меняться в их естественной цельности.

Здесь важно подчеркнуть: единые для всего человечества этические нормы и представления невозможно считать как

надуманные, поскольку никому ещё не удалось доказать обратного тому, что *homo sapiens* – человек разумный, как вид, опередивший по своему развитию всё живое, возник и в настоящее время находится в одном и единственном качестве.

Это подтверждается изучением людских потоков при их расселении по земному шару. Даже если отказаться от известных научных данных об «исходе» первых расселенцев из Африки и принять пока ещё свежую точку зрения – о зарождении вида на территории Европы, суть утверждения о единстве в нём этического, где бы люди ни жили, остаётся неизменной. Конечно, повторимся, если под этическим понимать идеалы естественного общечеловеческого права, в которых выражаются нормалии одновидового социального поведения и чувственности.

Да и вряд ли могло быть иначе.

Животный мир в его отдельных видах даёт подтверждение такому поведению, когда животные на разных этапах, в том числе уже при рождении, имея закреплённые в них наследственные инстинкты, быстро и успешно усваивают видовые групповые и социальные требования, привычки и навыки единого образца. Нет животных, которые жили бы и росли «без оглядки» на повадки сородичей одного вида.

В этом, если обходиться без оговорок, тоже проявляется «естественное право» – на его самом нижнем, животном уровне.

Оказавшись в единственном экземпляре и не наследовав

признаков своего вида в утробном состоянии, до своего рождения, та или иная особь животного непременно обрекалась бы оставаться без необходимого комплексного реагирования на внешнюю среду и на потребности своей физиологии, что было бы равно отсутствию у неё инстинктов, а, значит, и соответствующих ориентиров для выживания.

Вообще же существование отдельной особи, самой по себе, противоречило бы общему принципу живой жизни, «рассчитанной» на своё воспроизводство и на эволюционное развитие в определённых видах.

Видовое и самое отличительное в человеке связано с его сознанием и подсознанием, которые управляют чувственностью, а последняя «устроена» примерно по тому же принципу, что и у животных. То есть и здесь не обходится без инстинктов. На это обстоятельство мы уже указывали.

Попытки изменить сознание и подсознание путём их «приучения» к неким воздействиям или командам, в ряде случаев кажутся эффективными и даже перспективными, хотя заключения об эффективности часто выносятся поспешные и не всегда хорошо обоснованные.

Отрешение от ума, не полное, а только в виде незначительных и притом не всегда продолжительных отклонений, могут быть замечены в интеллектуале-трудоголике, в пострадавшем от стресса, в больном человеке, дебиле по рождению и т. д. В таких отклонениях дают себя знать усталость, а также недоразвитость сознания и подсознания у индивиду-

умов.

Когда берутся где-нибудь эти особенности программировать, то результатом хотят иметь, как правило, массовый психоз, не обязательно с чертами паники или повального беспокойства.

Устойчивое и до поры практически ровное поведение, в котором скрыто содержание воздействий на мозговую деятельность, имело место, кажется, всегда, но особенное внимание к нему приковано сегодня, когда под прессом свободы слова многие люди быстро привыкают к направляемым на них выплескам разного рода приятных, но пустых обещаний, к новостям из преднамеренного вранья, некомпетентности и заблуждений или к чему-нибудь подобному.

Усвоившие такую информацию, нередко раскрываются уже в поведении необычном, нетрадиционном, как принято говорить в таких случаях, – взрывном, агрессивном или каком-то ещё. Бездумное голосование за предложенных кандидатов, апатичное отношение к инициативам радикальной социумной значимости, безразличие к чужим страданиям – это лишь небольшая часть того, что могут получать заинтересованные в перестройке сознания и подсознания.

В странах ли только развивающихся или уже приверженных удалой капиталистической демократии, такие, с позволения сказать, результаты очень часто идут исключительно в минус качеству общественной жизни.

Способно ли такое манипулирование изменить человека

как вид? Убавить или что-то прибавить к его сущности? Ответ может быть только отрицательным. Чтобы цель манипулирования была достигнута, воздействий на сознание и подсознание недостаточно. Они были бы нужны и в отношении необъятной человеческой чувственности и, разумеется, той наследственности, которая «закладывается» ещё в плод человека, до его рождения, когда образуются и инстинкты.

Понятно, что невозможность «отстегнуть» от человека весь объём его сознания, подсознания и чувственности, то есть добиться полной их управляемости кем-то, ставит ограничения и в перспективах развития робототехники. По крайней мере – пока...

Но вернёмся к теме, заданной непосредственно для этого раздела.

Имея в виду неубывание комплекса идеалов естественно-общечеловеческого права, его историческую незыблемую стабильность по качеству и значимости, – а в этом случае надо решительно признать его фактическое превосходство над любыми вариантами права публичного, – я осмеливаюсь утверждать, что этот верховный слой этики – есть своеобразная всеобщая неписаная конституция землян.

Так же, как и любая государственная конституция, она представляет собою ценность первого, первейшего ряда. Но – с теми существенными отличиями, что ей надлежит находиться в компетенции всех людей, всего человечества и при том – непрерывно и всегда, а функции её прямого действия

реализуются уже в виде реакции исключительно на факты чьей-либо неприемлемости идеалов, поползновений обойти их, отстраниться от них.

Нормативностью единого образца в этом этическом (стало быть, также – в эмоциональном, духовном, чувственном) разнообразии, которое невозможно представить измеренным в каких-либо доступных для понимания параметрах (потому и не требующих фиксации в строгой правовой записи), всегда «охватываются» не только те или иные человеческие поступки, но и мотивы, по которым поступки совершаются, а также – способы повсеместного, практически одинакового, «адекватного» восприятия людьми уже совершённых кем-то из их среды действий (одобряя их, резко осуждая и проч.).

Даже не будучи записанными, общие поведенческие правила в данном случае всегда «присутствуют» в цельной людской «массе» (а не в головах неких отдельно взятых «умных» людей) и остаются как бы «запертыми» в сознании, что легко соотносимо с удивляющей всех и загадочной идеологичностью «явления»; – так же наглухо скрыта и причинность, побуждающая каждого к безусловному подчинению единым правилам, их учёту в индивидуальном поведении каждым и принятию в «пользование» – как обязательных к их соблюдению.

Незыблемость и сохранность любого этического установления достигается, как видим, хорошо усвоенной и понят-

ной любому суммарной реакцией (вердиктом) на малейший отход от него. «Неналичие» вердикта – не предусмотрено лишь в тех случаях, когда нет нарушения этических норм. Что же до «содержания» или качества вердикта, то он хотя и выявляется без процедуры судебного разбирательства (в соотношении с правом на уровне государства), но всегда ответственен допущенной кем-то провинности; – не рассчитанный ни на какие возражения, отказы или апелляции (к кому-либо), он обеспечивает собою необходимое повсеместное и почти мгновенное воздействие...

Тем самым обеспечивается непрерывный всеобщий и в то же время «ничейный», практически полный и достаточно эффективный контроль над феноменом, его тщательное обережение и поддержание в формах, заданных «от природы».

Это, если говорить о феномене в общем и целом, есть его непрекращаемый алгоритм, его возможность быть ориентиром для всех людей в их жизни и в развитии, алгоритм, в котором феномен не только существует, но и воспроизводит себя.

Его уяснение, как фактора незаменимого, но в силу уже указанных нами причин официально игнорируемого, выглядит нередко яростным и притом хорошо осознаваемым издевательством.

Когда некоторые специалисты в областях человеко- и обществоведения, сбитые с толку путаными формулировками

из арсеналов государственного права и с оглядкой на эти арсеналы пробуют хоть как-то поймать в виду ещё и право естественное, то почти со стыдом, боясь говорить о нём и называть его открыто и прямо, они тут же отворачиваются от него, предпочитая пускаться в словоблудие, наподобие того, что естественное право обозначается ими как лишь «установленные в обществе стандарты».

Чисто по-воровски: завуалировано даже то, в чём не грех признаться не кому-то, а самим себе.

Здесь отметим главное и особенное: идеалы, а также принципы, которые соответствуют идеалам, сколь бы ни были они хороши как таковые, в общественной практике работать и тем более: с нужной отдачей не могут. Это – понятия вообще, взятые в их абсолютных значениях. Но однако же их «хватает» на то, чтобы люди равнялись на них, соизмеряли по ним своё индивидуальное или массовое поведение, удерживали их в памяти как составляющую общественной духовности и рационализма и не забывали о них.

Жизнь, однако, требует большего. Идеал должен быть воплощён в чём-то конкретном.

И вот тут выясняется, что есть некая вечная «обратная сторона» естественноправовых уложений, побуждающая людей прилаживать идеалы к их интересам.

Как обстоит дело, к примеру, с понятием чести? Оно известно и используется в людских сообществах ещё, наверное, с доисторических времён. Но доверие к нему всегда бы-

ло и будет разным. В разделе «Бхагавадгита» древнеиндийского эпоса «Махабхарата» есть такие строки:

Исполни свой долг, назиданье усвоя:
Воитель рождён ради правого боя.

Воитель в сраженье вступает, считая,
Что это – ворота отверстые рая,

А если от битвы откажешься правой,
Ты, грешный, расстанешься с честью и славой.

Ты будешь позором покрыт, а бесчестье
Для воина горше, чем гибель в безвестье.
(Перевод – С. Липкина).

Впрямую здесь говорится о чести в её взаимосвязи с долгом, исполнение которого предусмотрено неким нормативом, заданным для воина от лица некоего, возможно, очень авторитетного предводителя, совета старейшин или иной управляющей инстанции. То есть – без учёта чьих-нибудь интересов (важных, а то, может быть, и – случайных, умышленных, мелких) тут явно не обходится.

Воин как бы вынуждается показывать своё безоговорочное согласие отдать жизнь ради них. Бездумное усвоение им подготовленного без его участия назидания поощряется на

особый манер – через обещание рая, возвышенные и светлые представления о котором могут быть привиты ему через посредство вероисповедания.

Как правило, они, такие представления, надолго и наслоношь овладевают массовым сознанием в том или ином социуме и потому признаются там как неоспоримые.

В другом конкретном аспекте тот же предмет освещался Гомером в его «Илиаде», где претензии на порядочность и правоту, целиком совместимые с понятием чести, автор отмечает в её героях даже когда речь заходит об их участии в грабительских или завоевательных походах, разорении чужих городов и царств, убийствах и пленении воинов и мирных жителей, включая женщин, стариков и детей, в дележе награбленного и т. д. – в соответствии с действовавшим в ту древнюю эпоху правом каждого, кто не раб, на «свою» долю или корысть, правом, подкрепляемым сословными привилегиями, воинскими или иными заслугами.

Смысловое «преломление» идеала, наблюдается и в текстах присяги или клятвы, принесением которых новобранцами по сей день сопровождаются ритуалы их приёма в составы действующих воинских частей армий и флотов в разных странах мира.

Здесь также в ходу бывают ссылки на некий долг – уже в подавляющем большинстве по защите отечественных интересов и «устанавливается» обязательное согласие служивых пожертвовать своими жизнями в борьбе за отстаивание этих

интересов.

Согласимся: конкретное во всех приведённых примерах выглядит очень сомнительно, даже, к сожалению, в последнем: не стоит забывать, что не так уж редко присяги и клятвы приносились и пока приносятся государствам или их лидерам, чья политика была или остаётся воинствующей, направленной к развязыванию военных, боевых, очень часто несправедливых действий – соответственно неуравновешенным амбициям её авторов.

Понятие чести здесь очень далеко отстоит от высших представлений.

В таком же порядке интерпретируются другие идеалы, объединяемые в верховной этике.

Особой осторожности требуют к себе те нормалии естественного права, которыми управляют поведенческие движения в областях межличностных человеческих отношений. Да и нормативы личностные в их немалой части, к сожалению, не дают поводов относиться к ним всегда с полным доверием и полагаться на них как на безупречные. Яркий пример их противоречивости и скрытой уронности для человечества – свобода плотской любви, о чём понадобится рассказать подробно в дальнейшем.

Изложенное обязывает также указать на ту особенность естественного права, когда в его идеалах при использовании их корпорациями или ассоциациями заимствуется только их «блеск» – в целях, не всегда и не целиком гуманных или бла-

гопристойных.

Приспособление идеалов, прикрытие ими неких практических соображений и расчётов происходит ввиду определённых условий и обстоятельств, например, из-за недостаточной эффективности, «слабости» публичноправовых норм, когда те или иные корпорации нуждаются в закреплении и стабилизации своего существования в удобных для них установлениях и обычаях и даже добиваются этого, порою резко в противовес установлениям государственного образца.

Масштабы территориального объединения в такой деятельности могут быть самые разные (от какого-то одного государства или даже его какой-то области до материка и всего мира), а её проявление зачастую оказывается настолько завуалированным или размытым, что в целом или в отдельных постулатах она воспринимается как соотносимая с публичным правом, «опознать» же её истинный «рисунок» удаётся редко и лишь косвенно, хотя иногда некоторые признаки и даже расхожие формулировки её «содержания» заметны, что называется, «невооружённым глазом», прежде всего в языках, а также – на фоне назревших важных общественных перемен, да только замечать её, как правило, не находится охотников – главным образом по причине, связанной с существующими расхожими заблуждениями.

Пристальное взглядывание в процессы возникновения «слепков» или суррогатов, которыми заменяются идеалы

естественного права, суррогатов корпоративного свойства, заставляет говорить о том, что этические идеалы, эти выросшие из обобщений понятия вообще, не должны оставаться и не остаются бесполезными. Это ценности верховного порядка, обладающие субстанциальностью, и они изначально предрасположены реализоваться через превращения в конкретные силуэты и образования нашей непростой действительности.

За каждым из таких превращений следует распознавать желания или попытки в разных общественных слоях и структурах «подправить» идеалы на свой лад и по-своему. В результате видоизменённое, «подправленное» может выполнять роль этики служебной, классовой, партийной, религиозной, клановой, сословной, воровской, какой угодно ещё. По существу здесь уже проявляется то, что можно бы назвать насилием над естественным правом, и его необходимо иметь в виду постоянно, поскольку оно часто даёт о себе знать в самых неожиданных чертах и вариантах.

Поползновения иметь «свою» этику мы наблюдаем даже со стороны государств, что подтверждается приведёнными выше выписками из конституции России.

В этом случае приходится, хотя и с неохотой, говорить о государственном образовании или даже об ассоциации таких образований как собственно о корпорации, где могут действовать и воздействовать на их население нормы, во многом «подкрашенные» в лучах идеалов естественного права. Где,

как и всякий раз при неуклюжем обращении с таким сложным материалом, должны возникать и проявляться досадные выпендренности, возможно, устраивающие чиновников и незадачливых патриотов, а в целом не исключены проколы и огрехи, способные существенно искривлять то наличное правовое пространство, которое «числится» за корпорацией...

Обстоятельства порою складываются так угрюмо и несообразно, что отдельные корпорации, как в данном случае то же российское государство, используя «приобретённое» («присвоенное»), легко идут и на его фиксацию в записи – целиком или в наиболее нужных им разделах. Совсем не рискуют заниматься этим разве лишь те из них, какие действуют скрытно и преследуются по закону – как преступные.

Каждая из них может иметь свои понятия о «достоинствах» (отсюда и выражение: жить по понятиям), и они бывают, конечно, не только благостные, а и со знаком «минус».

Зато приобретённое в «плюс» бывает способно показывать себя, как часть, и более внушительным по значимости, и более привлекательным даже в сравнении с нормами публичного права, причём не только для тех, кто взялся за «подправку» с надеждой на успех и на выгоду...

Такое разное его воздействие на сообщества заставляет снова и снова говорить о несообразности традиционного отторжения, которым существо естественного права застилается недостаточным знанием о нём и тем самым сводится ча-

сто на нет.

Есть, как я полагаю, все основания особо выделить и рассмотреть «плюсовые» да и другие аспекты модели корпоративного естественного права, почти совершенно пока не удостоенной исследовательского интереса, зародившейся в Европе в эпоху позднего средневековья и получившей обозначение в виде «кодекса чести».

Это, разумеется, модель вовсе не идеальная, почему как и в отношении других, ей подобных, её некоторые (не все) качества необходимо непременно расценивать не впрямую, а лишь условно, с возможно большей долей скепсиса. По крайней мере, в тех случаях, когда её представляют на вид в намерении остановиться на рассказе о ней как в целом, так и в подробностях.

3. КОДЕКС ЧЕСТИ

Уже сделанные выше отсылки по части существенного в предмете чести, дают представление о том, как ею манипулируют, вроде бы имея в виду идеал, на самом же деле этот идеал приспособливают для конкретных целей, превращая его в суррогат.

Кодексом чести называют тот свод неписаных правил и рекомендаций, который может возникнуть и приобретает значение параллельного правового локомотива по отношению к государству. В одной с ним стране или выходя, рас-

пространяясь за её границы, смотря по его ценности и популярности.

Будучи подсвечен в лучах этических идеалов, он не испытывает неприятия со стороны государственной власти и таким образом служит удобным средством манипулирования сознанием и поступками не только тех, по чьей воле он спонтанно, без каких-либо резких политических или иных «движений» возникал и для кого конкретно был предназначен, а и – всего общества или даже многих обществ на определённой территории.

Западная Европа дала пример именно такого развития комплекса естественноправовых установлений, когда, по мере выхода из тисков средневековой церковной догматики и пресечения церковью свободной мысли, она шаг за шагом устремлялась к ценностям гражданского либерализма, хорошо известным и восхваляемым сегодня.

У безвестных идеологов новых веяний в то время приобрела особую популярность благая ставка на соблюдение чести – категории верхнего «слоя» общечеловеческой этики, в результате чего и в позднейшем названии модели неписаного корпоративного права такой выбор возобладал и уложился в очень, надо сказать, привлекательной формуле: кодекс чести.

Как и эта модель неписаного права в целом, честь, её атрибут, выражалась «принадлежностью» преимущественно господской – феодального или дворянского сословия, а также

– рыцарства, бывшего, как известно, почти сплошь корыстным и разбойным. Им, главным образом, она и должна была служить.

Соответствующего «окраса» в этом случае не могло не приобретать и глубинное содержание формулы кодекса чести. Как и любые другие виды естественного корпоративного права, он, такой кодекс, вовсе не нуждался в каких-либо мерах или ритуалах признания или непризнания. Он усваивался всеми неосознанно, как теперь принято говорить, — по умолчанию, очень долго оставаясь вне его постижения, как своеобразная потаённая «вещь в себе».

Насколько тесно этот арсенал смыкался с моделями государственного права в разных странах и королевствах обширного региона Европы, можно судить по тому, что даже много позже, когда он распространился в разных странах и на других континентах, о нём никто не мог ничего сказать в объяснение — что это такое.

По сути здесь происходило такое смыкание, при котором арсенал естественного корпоративного права как бы вращал основной своей «массой» в ту или иную модель государственного, публичного права или даже больше того: растворялся в них. Это, однако, не означало, что там его содержание терялось, «выветривалось».

На то, что полного его поглощения публичным правом быть не могло, указывали «вкрапления» в нём естественно-правовых установлений, сохранившихся в виде отживших и

порой просто дикостных старинных родовых или племенных обычаев, не совместимых с их официальным признанием на государственном уровне.

В частности к таким «ценностям» относились обычаи ме-сти, обязательные кровопускания при разрешении конфлик-тов, круговая порука, допускаемые в экономической прак-тике расчёты по долговым обязательствам на основе только даваемого кредитору заёмщиком устного «слова чести», без оформления договоров – с умыслом обойти официальную отчётность и государственное налоговое обложение, и др.

Не замечать столь дерзкие «нормы» было совершенно лег-ко по той причине, что, хотя они и входили в противоречие с кодексами государств или королевств, но там они были же-лательны для элиты и в целом для господствующих сосло-вий – как благодатная почва для разгула и поддержания кор-рупции, – уже, в свою очередь, обрекавшую «верхи» на их неизбежную компрометацию и устранение новыми, прихо-дившими им на смену силами надобщественного влияния.

Смысловой расшифровки пагубного явления в социумах не существовало ещё и ввиду того, что в кодексе умещались и давали о себе знать ценности совершенно другого поряд-ка, какие можно было считать положительными и безуслов-но полезными, причём не только для господ, но и в целом для обществ, населения территорий, где естественное кор-поративное право укоренялось.

Разве могли быть непривлекательными для периода позд-

него средневековья и Ренессанса идеи о достоинстве человеческой личности, свободе, равенстве, справедливости, истовом, упоительном преклонении перед женщиной, об эмансипации женщины?

Уже только одних этих ценностей было достаточно, чтобы в корне обновить общие для тогдашних современников представления об экономической, политической и духовной составляющих в жизни обществ и народов. Ведь как-никак, а людские надежды и лучшие упования устремлялись отсюда напрямую к неоспоримым вечным и повсеместным идеалам общечеловеческой этики!

Новое могло так кружить головы всем, что оно а priori воспринималось полностью слитным с бытующей государственностью и общественной духовностью, как неотделимое от них и как равное с истинами и представлениями, заключёнными в высших слоях морали и нравственности землян.

Сознание противилось угадывать тот казавшийся непроницаемым, произвольный «замысел», по которому худшее в естественном корпоративном праве пребывало в нерасторжимом единстве с другой, положительной его частью. Иллюзия дополнялась полнейшей к нему терпимостью со стороны государственной власти. По крайней мере, именно так дело обстояло в то далёкое время.

Как видим, существовали особые условия для конспирации нового значительного явления. Даже несмотря на «проколы», когда получали широчайшую огласку отдельные слу-

чаи кровавых исходов на поединках «чести», события, связанные с чьим-то предательством, трусостью, мстью, воровством, аморальным поведением и пр., каких-либо подозрений, что это ведь не из того, к чему обязывает государственное право, и что, кроме него, действует ещё и право естественное корпоративное, – таких подозрений ни у кого не возникало.

Срабатывала привычка, и в результате нежелательному попросту не придавалось должного внимания как на бытовом, так и на государственном уровнях, не говоря уже о том, что к явлению не возникало и сколько-нибудь научного, исследовательского интереса.

В таком нераскрытом и непознанном виде естественное корпоративное право под названием: кодекс чести оставалось века; воздействие его потаённого «поля» продолжается даже сегодня, хотя разобраться с ним, к большому сожалению, нигде и никто не торопится. Это происходит, видимо, от того, что вся правовая система в современных, прежде всего в развитых государствах, хорошо согласуется с ним, так что ни у кого не возникает даже мысли о наличии другого предмета в действующем правовом теле.

И в официальных записках и документах, и в художественных произведениях это явление остаётся как вообще не требующее исследований, как несуществующее.

Теперь, хотя и с большим опозданием, уже просто теряет смысл отстранение от «предметов» подобного рода, поскольку

ку без их учёта остаются совершенно необъяснёнными многие другие вопросы, имеющие отношение к познанию самых разных сфер нашего бытия, в том числе – сферы нашей духовности.

Сошлёмся на пример, когда наличие корпоративного права в виде кодекса чести способно достаточно внятно и без каких-либо натяжек объяснить скрытые внутренние «движения» сюжета в таком знаковом произведении художественной словесности, как трагедия Шекспира «Гамлет, принц датский», равно как и в иных текстах мировой литературной классики.

Традиционные профессиональные взгляды на текст шекспировской трагедии весьма различны и многообразны.

Толкователи, а это – критики, историки, театральные и кинорежиссёры, артисты, писатели, учёные и др., добавляя в общую копилку свои мнения, остаются в плену непритязательных «узких» суждений о том, что в «Гамлете» главными будто бы являются указания на имевшееся в Англии старого времени противоборство католиков и протестантов, на роль и индивидуальную участь в этом сложном процессе тогдашних верховных правителей страны.

В ряде случаев на вид выставляются произвольные, ничем не обоснованные суждения, будто бы связанные с предыдущей, ранней историей страны, с борьбой кланов, а то и просто измышления, где имя Шекспира (при почти полном отсутствии биографии этого великого драматурга) упоминает-

ся всеу, а его самая занимательная трагедия – есть плод его «особой» гениальности и только.

В круге этих изысканий, конечно, остаются невзрачными и те из них, которые касаются непосредственно главного героя трагедии – Гамлета.

Найти существенное в его художественном образе было заветной мечтой любого, кто принимался рассуждать о вершинном произведении в творчестве Шекспира. Однако результата, который бы мог указывать на верную или хотя бы достаточно обоснованную методику поиска, никем достигнуто не было.

Причин здесь, как и версий, предлагавшихся для их объяснений, огромное множество, а объединяет версии, пожалуй, то, что Гамлета хотели показывать и принимать в его некоей желательной положительности, с чертами глашатая или оракула непременно передового, прогрессивного покроя, устремлявшегося вглубь как его времени, так и времён последующих, а также – вглубь самого себя, с его неуловимой, постоянно ускользающей усложнённой...

Перед традицией мировоззренческой слепоты оказываются неспособными на «прорыв» лучшие театральные труппы в самых разных странах. Конечно, обречены следовать по затасканной колее те из них, которые приподнимают свои творческие амбиции, переводя содержание «Гамлета» в обыкновенное сценическое шоу.

В частности по такому пути пошли создатели представ-

ления «Шекспир Шостакович Гамлет», показанного на российском телеканале «Культура» 03.04.2022 года.

В постановке занят лишь один артист – Евгений Миронов. С навязчивым пафосом он декламирует отдельные монологи и фразы не только принца, но и некоторых других персонажей из трагедии. В паузах оркестр под управлением Юрия Башмета исполняет музыку известного композитора, где, кажется, вовсе нет мелодики, созвучной напыщенным декларациям. На экране подаются и тут же убираются редкие пакеты строк из неумирающего шедевра.

Что хотели выразить авторы этого спектакля, претендующего быть ярким и раскованным ремейком? Вероятно – некую запредельную одухотворённость, будто бы присущую образу центрального героя произведения. Только в чём она должна состоять? Куда и к чему направлена? Об этом не сказано. Работа над шоу проведена без переосмысления текста, вследствие чего игра не придаёт его содержанию необходимой в этом случае новизны, чего-то характерного. Задорное по внешней энергетике действие катится по старой, заезженной колее.

Зритель и слушатель остаются в недоумении. Как и несчётные предыдущие постановки, эта никого не удовлетворила. Альтернатива избитому не удалась. В противовес такой неудаче, пожалуй, резоннее было бы укоротить режиссёрский и прочий пыл и просто дать полноценный спектакль, соблюдая текст и соответственно антуражируя сцену и дей-

ствующих лиц. То есть – максимально объективировав оригинал.

В чём же причина очередной неудачи с постановкой?

Для понимания Гамлета как человека и личности в историческом процессе оправданно понаблюдать за ним уже на этапе «завязки» сюжета, которым определяются едва ли не все события, происходящие в трагедии в дальнейшем.

Сцена с появлением в замке Эльсиноре призрака бывшего короля Дании Гамлета-старшего, принцова родного отца, имеет все характерные черты отправной.

Пока дежурившие ночью офицеры, стражники замка Марцелл с Бернардо и добровольно участвовавший в карауле Горацио, друг Гамлета, сообщают принцу об увиденном ими призраке, тот ещё не роняет себя напускным помешательством рассудка, и в нём нет ничего, что говорило бы об его особой одухотворённости или каком-то броском отличии от обычного дворянина из времени, обозначенного автором драматургического произведения.

Это общительный и приветливый индивид уже зрелой молодости; он не прочь по-дружески потолковать со служивыми и с Горацио, которых с ласковой теплотой называет «товарищами по школе и мечу», а, выслушав их экстраординарное сообщение, остаётся той же несколько пока не изменившейся личностью, попросту искренне удивившейся докладу подневольных.

Единственное, замечаемое в нём на этом этапе индиви-

дуальное отличие, напрямую восходит к его характеру, скорее всего врождённому и лишь несколько «обострившемуся» в ходе событий, когда очень скоро, менее чем через месяц после смерти Гамлета-старшего его вдова Гертруда, мать Гамлета, выходит замуж за Клавдия, родного брата умершего короля, занявшего опустевший королевский трон.

Несколько реплик принца по части, как он считает, материной измены бывшему первому супругу, не содержат в себе ничего радикального; это не что иное как обычное сыновнее брюзжание по поводу произошедших перемен, не подлежащих одобрению традицией и молвой, согласно которым вдова обязательно должна была соблюдать продолжительный траур по усопшему да ещё то, что непозволительным считалось замужество, имевшее признаки инцеста, междуродственного кровосмешения.

Брюзжание никого особо не задевает; какой-либо выгоды не ищет в нём и сам Гамлет, поскольку в королевстве уже известно об официальном его признании в качестве законного наследника престола в Дании.

Всё меняется в корне после его встречи с призраком умершего отца. От него он слышит многое из того, что уже было ему известно, а также нечто совершенно новое.

Призрак или – дух утверждал, что свою жизнь он закончил, будучи отравлен братом Клавдием с целью узурпировать королевский трон, а – не умер в связи с укусом змеи, как об этом было оглашено в королевстве. Якобы тот влил

в притвор ушей уснувшего в саду ещё живого своего брата сильнейший яд – сок белены, что привело к свёртыванию крови, а следом и к скорой кончине правившего властителя.

Обрисовав это горестное обстоятельство, дух Гамлета-старшего наказывает сыну *отомстить* вероломному обидчику, добавляя при этом, что если тот возьмётся за дело, ему не следует осквернять душу и вымещать обиду также на матери; – её, как слабое создание, как женщину, надо, мол, пожалеть и оставить в покое...

Гамлет уже здесь, на месте, где произошла и закончилась его встреча с духом, буквально преображается, приобретая черты отъявленного, злобного мстителя, как бы чувствующего за собой не только высшую справедливость, но и долг, обязанность посчитаться с дядей.

Месть, как достаточно приемлемый вариант наказания без суда и следствия, вихрится и бушует в нём каким-то неуёмным огнищем исступления, разрастаясь до пределов самого чёрного сатанизма. Оставшись один, он рассуждает:

Я с памятной доски сотру все знаки
Чувствительности, все слова из книг,
Все образы, всех былей отпечатки,
Что с детства наблюденье занесло.
(Перевод здесь и далее – Б. Пастернака).

И продолжает, адресуя нахлынувшее на него завихрение

непосредственно призраку своего отца:

...лишь твоим единственным веленьем
Весь том, всю книгу мозга испишу
Без низкой смеси.
Да, как перед богом!»

Уже забыто даже предостережение духа насчёт матери:

О женщина-злодейка!

Возвратясь к поджидавшим его Марцеллу и Горацио, принц обращается к ним с просьбой держать всё, что касалось появления в замке духа его отца и личной его встречи и беседы с ним, в строжайшей тайне. А чтобы иметь гарантию её соблюдения, понуждает их поклясться честью на его мече. Те не отказываются.

Ещё раз он требует от них того же, уже по другому поводу:

Вновь клянитесь, если вам
Спасенье мило, как бы непонятно
Я дальше ни повёл себя, кого
Собой ни счёл необходимым корчить,
Вы никогда и ни перед кем...

То есть – раскрывать тайны им не следует, и они сами не

захотят этого.

«Товарищи по школе и мечу», подчиняясь ему, а также под наставлением неожиданно оказавшегося вблизи духа Гамлета-старшего, клянутся и в этом. Опять же – на собственном мече принца.

Что могут означать эти эпизоды и выдержки из текста произведения?

Европейские феодалы и рыцари соблюдали такие спонтанные «нормы», которыми крепилось их единство.

Признававшийся ими «своим», то есть как имевший соответствующие земельные владения, замки и другие богатства, был признаваем также и в истовой приверженности общему для этих «верхов» образу духовных и телесных отправлений.

Если, к примеру, некто, усвоивший негласные установления такого образца, позволял хотя бы по неосторожности и хотя бы в крохотной доле отозваться о ком-либо из «своих» так, что это воспринималось бы как оскорбление «чести» и «достоинства» оговорённого, то ему, такому «непонятливому», от оговорённого полагалась по меньшей мере пощёчина, а самым обычным средством разрешения подобного «конфликта» могла быть только картель – вызов наглеца на поединок или дуэль – с использованием рапиры или меча.

Биться полагалось до тех пор, пока один из дерущихся не признавал себя неправым, а поскольку с таковым признанием не торопился ни один из противников (в защите корпора-

тивной чести они были равны), дуэль заканчивалась увечьем или даже гибелью кого-то из двоих.

Поведение такого покроя приобретало особенно злое окрас в связи с тем, что кодексом чести не исключалась даже месть кому-либо, в том числе – кому-либо из своих, само собой, с намерением уничтожить ставшего поперёк. Но и это не всё. В кодекс были включены элементы сословной морали, связанные с отношением к женщине.

В своём сословии женщину полагалось боготворить, оказывать ей всяческое уважение и не жалея жизни (в том числе на поединках) отстаивать её статус и честь. Также были особо заострены требования оставаться верными сословию, чего бы это ни стоило, стремиться быть достойными его, не жалеть сил на усовершенствование личных качеств с целью общего развития.

В моду входили правила изысканной вежливости и этикета, что хотя и могло говорить о каком-то благородстве господ, но в конкретных суровых обстоятельствах окружающей действительности приобретало признаки мрачной вынужденной показухи. И всё это – буквально для каждого в сословии и с самого раннего детства, с рождения.

В таких условиях не могли не появиться особые, неподсудные формы кровавых разборок. Ими, кроме дуэлей, стали турниры. Как популярные зрелищные мероприятия, они часто использовались для банального отстаивания чести каким-нибудь «обиженным». Поводов же бросить кому-то вы-

зов находилось великое множество. И при этом никто не рисковал быть уличённым в преступлении: официальные власти закрывали глаза на любой исход любого турнира, как и любой дуэли.

Подобные разборки входили в традицию и при нарушении кем-то данного кому-то из своих обещания – слова, как тогда было принято говорить, пусть бы оно давалось хотя бы только в устной форме. Ему, данному кем-то слову, надлежало становиться мерилom порядочности, достоинства, всего, в чём должен был выражаться «приемлемый», «отнормированный» облик или образ тех, кто мог относить себя к дворянству или рыцарству.

В Гамлете, до его встречи и беседы с духом его будто бы отравленного отца, есть (без преувеличения) полный набор достоинств, какие следовало видеть в нём как представителе господствовавшего сословия. Тут не имело особого значения то, что в это сословие он входил с самого верха, являясь членом королевской семьи.

Изысканность манер и выражений, владение сарказмом и иронией, в которых показан Гамлет, не оставляют сомнения: окружающую сословную среду он знает досконально и превосходно.

Таковые заметны, в частности, в его беседах с действующим, новым королём и королевой; как влюблённый в Офелию, дочку влиятельного придворного сановника Полония, он прельщает её всяческими сумбурными уверениями и

клятвами, осыпает дарственными подношениями, передаёт или вручает ей сам признательные записки.

Всё прежнее теперь – по боку.

Чураясь всякой вежливости и такта, он, по его словам, любивший Офелию так, как не могли бы любить и сорок тысяч её братьев, бросает ей, что не любит её, подозревает в неверности и советует уйти в монахини, добавляя, что если ей будет нужен муж, пусть она выходит за глупого...

Столь же велика его развязность и бестактность по отношению к своей матери. Напомнив ей о её непристойном замужестве и резком отличии душевных и прочих качеств бывшего короля в сравнении с индивидуальными чертами Клавдия, он говорит ей:

Валяться в сале
Продавленной кровати, утопать
В испарине порока, целоваться
Среди навоза...

И доходит до крайней, омерзительнейшей бесцеремонности, советуя ей при очередном её с королём соитии в их постели признаться тому, что он, Гамлет, никакой не помешанный, а просто валяет дурака, балагурит, само собой, точно рассчитав, что, будь она даже совершенно падшей женщиной, она ни за что не выдала бы его...

В своём напускном помешательстве он неизменно «доста-

ёт» всех, кто чем-либо его не устраивает или чем-то подозрителен. В числе таких – подавляющее большинство персонажей, действующих в трагедии, – как из его сословия, так и – слуг. Исключения – для «товарищей по школе и мечу», но и то лишь тех, кто поклялся ему не разглашать тайну о его встрече и беседе с духом его отца. Без выраженного неприятия, да и то – с заметной долей пренебрежительности он относится ещё разве что к заезжим артистам и местным могольщикам.

Одно за другим следуют вербальные, а то и физические, насильственные «наскоки» принца на отца Офелии и на других лиц.

Полония он убивает; Офелия сходит с ума и заканчивает свою короткую жизнь как утопленница; также убиты им Лаэрт и сам король Клавдий. В закрученной Гамлетом «спирали» находят погибель королева Гертруда, придворные Гильденстерн и Розенкранц.

Всё это позволяет говорить о том, что принцип неотвратимого кровавого возмездия используется Гамлетом в его, если можно так выразиться, самом широком диапазоне; он распространён тотально, вкруговую, по отношению к любому, кто мог стоять на его пути.

Это выходило за пределы даже таких жестоких древних или старинных обычаев, как «око за око», вендетта, кровная месть и им подобных.

Случайно ли для королевского отпрыска применение

столь оглушающего и угрюмого арсенала мщения? Конечно же – нет.

Дело в том, что поползновения к защите индивидуальных и корпоративных свобод и прав по такому образцу умещались в душах едва ли не каждого, кто в ту далёкую эпоху относился к сословиям рыцарства или дворянства.

Жульничество, насилие, оговоры, продажность, грубое игнорирование чужой воли, предательство, доносы, жадность, интриги, силовое воздействие были тогда не в меньшей, а, в связи с начальным бурным развитием свободного экономического и финансового предпринимательства, даже в бóльшей мере, чем это имело место в прежние времена. Волны такой «новейшей» порчи захлёстывали и подневольные сословия...

Государственные же власти, а также церковь и другие институты оказывались бессильны остановить разгул такой порочности.

Резко возросшая степень моральной деградации личности в господской среде той эпохи хорошо заметна по поведению персонажей «второго» плана, действующих в трагедии. Особого внимания к себе заслуживает Горацио. У него частые контакты с Гамлетом, и он, можно не сомневаться, до конца предан ему. Дело, однако, не только в личной преданности.

Как дворянин, Горацио бесконечно предан интересам верхнего сословия и принципам поведения в нём. Это глыба, которую не сдвинуть. Принцу всецело понятна преданность

низшего по статусу, вассала, он ведь и сам – таков. Клятве честью, данной на мече (второй в тот раз), предварялось, как помнится, жёсткое Гамлетово условие для участников ритуала: «клянитесь, если вам спасенье мило».

Не выполнивших условия ждала бы суровейшая кара! Что вполне соответствовало естественному корпоративному праву – кодексу чести. И мы видим, как на протяжении всего сценического действия клятва (вторая) со стороны Горацио остаётся зловеще ненарушенной – даже в тех случаях, когда разглашение тайны о балагурстве принца могло бы поспособствовать сохранению чьих-то жизней.

Не кому иному как Горацио автором трагедии была представлена возможность закрепить «свет» личности Гамлета при его кончине. В высшей степени выпренно и лживо звучит его фраза: «разбилось сердце редкостное».

Чем оно было редкостное, когда он творил свои выкрутасы? Простотой, кротостью, любезностью, дружелюбием, готовностью откликнуться на чью-то беду и предложить помощь, широтой?

Шекспир, как художник, имел достаточные основания исходить из существующей общественной духовности, куда, кроме «истин» кодекса чести, входили народные и деловые обычаи, правила, диктуемые официальной властью, религиозные представления и суеверия его времени, и – «опрокинуть» «штатного» дворянина в трясины действительно происходящего в жизни. Конечно, показывание конкретного че-

ловека, его образа в драматургическом произведении требовало определённой условности. Так мог появиться «щиток» в виде притворного помешательства ума главного героя, и от него не следовало отказываться. Тем более, что в неподкрашенном виде стиль жизни, какой он складывался у дворянства, уже заставлял говорить о многом, в чём было заметно его вырождение и потенциальность неотвратимой обречённости и неизбежной позорной гибели...

В лице Гамлета мы, стало быть, имеем тот тип человека, в котором низменные черты современника из верхнего сословия хотя и упрятаны за его напускным слабоумием и внешним лоском, но присутствуют на самом деле, в невыносимой широте и готовы из него выплеснуться, что называется, в любую минуту.

Это по-своему несчастный человек, которому тесно и неудобно в его действительном внутреннем состоянии. Будучи жалок в свете лучших человеческих идеалов, он, на удивление, ещё и труслив. Мы видим его таким в его скромных рассуждениях о его собственной нерешительности к совершению мести. Убить короля – с этим ведь шутить не приходилось. Можно «промахнуться» и быть казнённым.

Его широко известный монолог *to be or not to be* (быть или не быть) вовсе не искренняя речь достойного, правдивого глашатая, способного кого-то увлечь за собой на добрые дела, а лишь лепет уставшего от нерешительности труса, готового переложить собственные недовольства на кого угодно.

Только глухими короткими строчками в тексте трагедии отмечена обида принца, связанная с его отстранением от трона узурпатором Клавдием. Её нельзя отрицать как основу для мести. Но в замысел драматурга это, как мы убеждаемся, не входило

Вот как Гамлет выглядит в размышлении о себе:

...я, – изрекает он, – ...стольким мог бы попрекнуть себя, что лучше моя мать не рожала бы меня. Я очень горд, мститель, самолюбив. И в моём распоряженье больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить. Какого дьявола люди вроде меня толкуются меж небом и землею? Все мы кругом обманщики.

И в самом деле. Как воспринимать его, когда, чтобы доискаться правды о вероломстве дяди, он от себя вписывает дополнительные строки в пьесу «Мышеловка», поставленную заезжей труппой в Эльсиноре? Ведь это никак не совместимо с авторским правом, нарушение которого повсеместно, по крайней мере, в тогдашней Европе, подлежало резкому осуждению и никому не прощалось. Или – выкрадывание им письма Клавдия, которое обязаны были доставить в Англию придворные?

Да, в этом послании, король жесток: по прибытии в Альбион Гамлета надлежало предать смерти. Но только для че-

го нужно было ему, принцу, взамен указанного письма, готовить, снабжать подложной королевской подписью и заверять неизвестно как попавшей к нему королевской печатью своё послание, где содержалось распоряжение казнить – уже его доставщиков?

Одного лишь умышленно задуманного умственного помешательства, раздумьями над ним и над его уже вполне очевидными горестными последствиями, будь Гамлет чист и непорочен, как то и должно бы вытекать из лучших словных требований по кодексу чести, – одного этого было достаточно, чтобы, осознав себя подлецом и отщепенцем, он, высокородный дворянин, прекратил бы своё идиотское притворство, попытки донимать людей подозрениями и лютой ненавистью и устыдился бы своей животной порочности. Нет; к этому в нём не появляется даже лёгких подвижек.

Предельно гадок он и в подобострастной оценке его порядочности лучшим своим другом. Горацио слышит от принца, что того не мучает совесть за погубление им Гильденстерна и Розенкранца, а в последней сцене, когда прибывший посол возвещает об их казни в Англии и говорит, что принц, возможно, порадовался бы такой вести, пылко возражает ему: нет, мол, Гамлет никогда не желал их смерти.

Перед свидетелями кончины своего господина Горацио эффектно разглагольствует о том, что несколько позже он прилюдно расскажет в подробностях о разных печальных событиях и происшествиях, касающихся неких, не названных

им лиц, имея в виду, возможно, и погибшего принца, о событиях, частью происходивших, вероятно, по ошибке, —однако цена такой афише явно невелика. Здесь, как говаривал Гамлет, — «слова, слова, слова». О причинах, заставлявших его клясться на мече, Горацио и в этой скорбной ситуации предпочитает не распространяться.

Обелить своего кумира ему, погрязшему в верности постыдной корпоративной чести, так и не удаётся.

Удара мечом с целью устранить узурпатора-короля как способе мщения, на что подворачивался удобный момент, Гамлету недостаточно. Это, считает он, было бы наградой для проходимца и негодяя. По его представлениям, следовало применить более изощрённый и болезненный приём...

Уже как бы за него о том же, как о норме корпоративного права, говорил сановник Полоний:

Все мы хороши:

Святым лицом и внешним благочестьем

При случае и чёрта самого...

А, пожалуй, ещё точнее по тому же поводу выражается стражник Марцелл:

Какая-то в державе датской гниль.

Сам король Клавдий не дистанцируется от зауженного

естественного права, побуждая Лаэрта отомстить Гамлету за убийство его отца. Также хорош и сам Лаэрт, сын Полония. Роняя даже свою, дворянскую честь, он перед лицом короля изъявляет готовность выйти на поединок с принцем и нанести при этом отраву на кончик своей рапиры...

Кстати, в продолжение этой сцены, уже совсем близко к развязке трагедии, в её тексте можно найти весьма любопытное замечание. Оно касается существа корпоративного естественного права в том его виде, когда отступление от него должно было считаться недопустимым.

Речь об эпизоде, где под влиянием королевы Клавдий нисходит к тому, чтобы в преддверии уже оговорённого сторонами поединка помирить противников.

Верный своей закоренелой порочности, Гамлет здесь просит Лаэрта простить его.

В тот, мол, момент, когда между ними возникла ссора и потасовка (на погосте во время похорон Офелии), виновницей была его болезнь, затмение ума, что якобы согласились бы подтвердить и присутствовавшие там очевидцы (в том числе королева Гертруда и Горацио!)

На это враньё Лаэрт говорит:

В глубине души,

Где ненависти, собственно, и место,

Прощаю вас. Иное дело честь:

Тут свой закон, и я прощать не вправе.

Оскорблённый здесь не ошибался. Как не ошибался и драматург.

Понятие чести в феодальной среде напрямую восходило к праву, к закону. Хотя кодекс чести и не был писанным, силой, эффективностью он мог превосходить даже самые строгие нормы государственного, публичного права.

Всё это, разумеется, нельзя было считать «приобретением» только датским.

Подтверждение: поединок между отцом Гамлета и королём Норвегии Фортиnbrасом-старшим, когда, как сообщается в трагедии, первый отправил второго на тот свет и обеспечил себе владение спорной территорией.

Исторические свидетельства позволяют говорить о бурлящем разливе мстительности в безбедных сословиях во всех странах западноевропейского региона. Поединки и турниры, замешанные на этой скверной «приправе», в особенно широкой массовости проводились во Франции, в Испании и в Италии в XVII веке.

Перекинувшийся в Россию кодекс чести и здесь оказался кстати для всяческих, в большей части заведомо пустых разборок в среде военных, чиновников, столичных и периферийных владельцев имений и крепостных душ, в среде восторженных и бездельничавших романтиков, чего нельзя не заметить хотя бы по конфликту двух молодых дворянских сынков из-за Ольги, сестры Татьяны Лариной, в романе «Ев-

гений Онегин».

Сюда, в эту стихию выдуманного отстаивания породной чести были вовлечены и поплатились жизнями Пушкин, Лермонтов и другие литераторы и деятели отечественной культуры.

Чем мог отличаться кодекс перелицованной общечеловеческой чести на огромной части Евразии – в России? Только разве тем, что в дополнение к нему действовал изданный царём Петром III указ о вольности дворянской. Он, этот знаковый правовой акт, позарез был нужен крепостникам не только сам по себе. Через него открывался путь ко нравам, перечёркивавшим официальную юриспруденцию, «хромое», несовершенное государственное право, то и дело склонявшееся к худшему в естественном корпоративном кодексе чести, которое сполна могло удовлетворять дворян.

Так начиналась жизнь империи в особом, порочном режиме, когда в правовом пространстве очень многое позволялось заменять правом неписаным, угодным управляющему, господствующему меньшинству.

Время хотя и меняло представления о злосчастном кодексе, когда уже совсем не стали проводиться губительные турниры, а дуэли ввиду судебного преследования их участников надо было устраивать нелегально, однако в самой сущности корпоративное естественное право европейского образца оставалось прежним, да ещё, ко всему прочему, и – по-прежнему необнаруженным.

В России искусству слова было суждено запечатлеть степень «износа» былого кодекса на фоне вырождения дворянства. К концу XIX и началу XX века дряхлость этого сословия в стране имела уже предельную степень, когда его представители, равнявшиеся на западный оригинал, в маразме могли превосходить даже самого Гамлета, принца датского.

Вот как это показано в повести Бунина «Жизнь Арсеньева. Юность»:

Я... начал приглядываться к людям, – делится своим житейским опытом Алексей Арсеньев, главный герой этого произведения, – наблюдать за ними, мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны.

А на заданный ему вопрос, кто же его враги, он, словно озверевший маньяк, бросает:

– Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал: «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов...» Некоторые просто страшны! На ходу так кладут ступни, так держат тело и наклон, точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шёл по Болховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его

толстой спины в шинели, с икр в блестящих крепко выпуклых голенищах: ах, как я пожирал эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на его хлястике и всё это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе!

Так что если говорить об эффективности кодекса чести в целом, то, пожалуй, нельзя не признать: в той его части, которую было выражено худшее и самое худшее в нём, он, что называется, удался. Чем, безусловно, могли бы гордиться его давние и не очень давние приверженцы, – если бы только им было суждено знать о нём и о его роковом воздействии.

Что же до его другой части, в которой должны были реализоваться лучшие качества и особенности дворянской фаланги, то здесь его успехи весьма скромные.

Да, дворянство приобретало сословный лоск; не мал его вклад в культуру, свою и своих народов; ценны его устремления в научное познание мира. Но многое очень долго оставалось неисполненным. В том числе – эмансипация женщины. С нею не торопились, и уже только в ближайшие к нам прошлые столетия этот сложный вопрос был наконец-то по-настоящему актуализирован и началось его плодотворное решение, да и то – лишь когда за своё освобождение и за равные со всеми гражданские и политические права взялись сами женщины.

Чтить в них таланты и самоотверженность, хотя бы и

условно соперничать им, восхищаться ими и выражать им подобающее уважение, – на это дворяне мужчины уже готовы были махнуть рукой. Что видно по той же повести Бунина, где Алексей Арсеньев, молодой бродник, не склонный заниматься хоть чем-то полезным, то и дело окунается в вольный интим, пренебрежительно отзываясь о каждой встреченной им особе женского пола – как «очередной».

В таком ключе довольно долго длится его увлечение Ликой, девушкой из одного с ним сословия. Алексею неприятна её привязанность к нему. И с ней у него нет церемоний. Он то и дело посвящает её в омуты своих безалаберных и грязных походов и необузданной физиологической похоти, и как следствие, она в ужасе сбегает от него и гибнет под тяжестью доставшихся ей унижений...

Частое употребление слова «честь» по разным поводам хорошо заметно в тексте шекспировского шедевра. В таком виде на исходе средневековья и позже господскими сословиями выражались апелляции к высшему слою общечеловеческого естественного права, но – при явном желании следовать не ему, а только своему, сословному варианту. Драматург не виновен в очевидной подтасовке, совершившейся у всех на глазах. Ему, как и всем, тут не дано было различить подвох.

Как художник, он интуитивно улавливал происходящее вокруг и очень верно и добросовестно, а, что также важно: необычайно талантливо, отразил в своём творчестве.

Всё повторилось позже. Козыряние честью, но не той, какая «предусмотрена» верховной этикой, а – суррогатным «слепком» с идеала, имело место ещё века, так что желающих использовать этот истрёпанный символ былой фальшивой сословной добропорядочности находится немало даже сегодня. Их апелляции обращены в ту же сторону. А ведь, как было уже сказано, пора бы и знать, что здесь и к чему...

Не оттуда ли пришли в нашу современность непробиваемое двуличие, двойные стандарты, двойная мораль, необоснованная ненависть к невинным, жажда крови и военных разборок с конкурентами и несогласными, расизм и элитная спесь, неуёмная чёрная месть и многое в том же роде?

Мы видим такие «метки» былого кодекса уже не только в отдельных людях, но что ещё хуже и сквернее, – в целых корпорациях, в государствах, в огромных международных сообществах, называемых ими же демократическими. Что и говорить – приехали. В чём дело? Да в том, что никому, наверное, на всём белом свете не приходило пока в голову привести свои знания о естественном корпоративном праве в соответствие с тем, что оно собою представляет, даже если в нём есть и привлекательные цели, куда ещё может оно завести всех в будущем.

Здесь важно указать, что в появлении этого феномена заслуга не одной западной Европы.

Схожее с ним проявилось в Пальмире, где ещё во времена Римской империи оно успело набрать силу. Задушен-

ное тюркскими завоевателями, оно, однако, оставило следы, в особенности заметные в Аравии и на прилегающих к ней территориях. По нём долго, целые столетия продолжали ещё ностальгировать тамошние любители вольностей.

Это их духом и хвастовством, пугающими, но вроде бы весьма благородными намерениями и поступками, увлекают читателей страницы бессмертной поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Нам не к лицу отзываться недоброжелательно об авторе этой вещи. Талантливый поэт, он, как позже и Шекспир, запечатлел ситуацию, отражавшую реальную жизнь уже оставшегося позади него конкретного времени.

Кто были главные герои этого произведения – странствующие миджнуры Автандил и Тариэл? Не бросается ли в глаза при чтении поэмы их запредельное самодовольство, жестокость, алчность, вероломство, подлое отступничество в чувствах по отношению к молодым женщинам, их возлюбленным, якобы ради которых они странствуют по пустыне и совершают подвиги?

Предлагаю читателям оценить хотя бы только один «подвиг», совершённый только одним миджнуром – Тариэлом, – когда он помог некоему правителю победить хатавов.

В поэме приводятся его восторженные слова:

Я отряды за добычей разослал кого куда,
И они, обогатившись, возвратились без труда.

...

Лишь тогда по Хатаети я прошёл как победитель.
Мне казну сдавал немедля в каждом городе правитель.

...

Все сокровищницы были переполнены казною.
Я не мог бы перечислить всех богатств, добытых мною...

У отважного наёмника, нисколько не стыдящегося своей гнусной роли, возникла немалая проблема даже с доставкой захваченного:

Мне верблюдов не хватило, снарядил я поезд бычий...
(Перевод Н. Заболоцкого – Фрагменты текста приведены с сокращениями).

В поэме нет намёков на какую-то особость, на «качественное», «родовое» отличие схожих или аналогичных поступков и намерений. Хотя в целом по характеру они – сословные, для их оправданий избраны неписанные этические правила и нормы, соотносимые с идеалами, общими для человечества, для любого человека, где бы он ни жил и к какому бы сословию, расе или национальности не принадлежал.

Опять – та же манипуляция с понятиями и ценностями!

Не зная сути явления и даже не догадываясь о нём, можно подтасованное легко принять за чистую монету. Что и требовалось доказать.

Поэту, воспевшему события былых времён и ничего не знавшему о необходимости быть здесь на стороже по очень важной причине, следует, несомненно, простить допущенную оплошность, а читателям – оберечься от полного доверия к их собственным незамутнённым, искренним восприятиям описанного.

Концепцию, которую пронизывалось «назначение» европейского кодекса чести, нельзя не заметить и в истории древнего Китая – в частности в мировосприятиях и в поучениях Кун-цзы (Конфуция). Значительная часть его поучений адресована правителям и управленцам, то есть сословию преимущественно богатых. Наставник говорил о ритуалах и других способах, какие следовало соблюдать и совершенствовать с целью выбрать верный «путь» и добиться успеха в деятельности, связанной с управлением.

На этот раз перед нами записанные тексты поучений и наставлений. Но тот, кто их внимательно прочитает, не может не задержаться на мысли, что философ мирового уровня, постоянно сворачивая на доброе и желательное, всего лишь дублирует истины, заключённые в идеалах общечеловеческого естественного права. Это – наивный расчёт на неосведомлённость учеников, на их «простоту».

Как и всегда в подобных случаях – намеченная перспектива не достигается. Многие истины можно было и не записывать. Конфуцианство, как раздел философского знания, хотя и имело хождение в других землях, кроме Китая, но нигде

по-настоящему не прижилось, оставаясь достоянием исключительно китайской нации – частью её культуры и похвальных интеллектуальных устремлений.

Если трепетное отношение к нему по месту возникновения сохраняется даже сегодня, то говорить здесь надо скорее как об очень долго остававшейся там недостижимой потребности общества и каждого члена в нём жить гармоничной и изобильной жизнью – соблюдая равнение на незыблемые принципы всеобщей этики.

Ещё одной страной, где в угоду правящим элитам возносилось поддельное этическое, замешанное на фальшивых апелляциях к ценностям естественного общечеловеческого права, стала Япония. Эта страна известна самурайским кодексом бусидо. Кинематография и другие виды искусств уже после Второй мировой войны немало потратили сил и средств на создание художественных произведений по теме идеализации и возвеличивания облика самураев.

Объяснение этому простое – коммерческая доходность.

Конечно, восхищаться тут нечему.

В кодексе никак не могло воплотиться идеальное для человечества. Безграничная преданность и верность сёгуну (правителю, сюзерену) требовала от самурая с лёгкостью, слепо отдать за него жизнь, не исключая вынужденного самоубийства – харахири. Удостоенный быть записанным, бусидо сгодился только на то, чтобы служить методическим пособием для невиданной по размаху на Дальнем Востоке

милитаризации и основой для воинственной амбициозности островного государства.

Известно, чем это закончилось...

Изложенное обязывает отметить ещё одно обстоятельство. Оно связано с жанром «Гамлета». Автор обозначает его как трагедию. Вопреки этому очень многие, кто брался и берётся выражать свою точку зрения на неумирающее произведение Шекспира, склонны к употреблению других терминов. К тексту очень часто прилагаются названия «драма» и даже «пьеса». С такой «подправкой» согласиться невозможно.

Нельзя сбрасывать со счётов того, что люди позднего средневековья и Ренессанса, хотя и путались в восприятиях новых социумных положений, но они не могли не чувствовать, как скоро их надежды и упования на лучшее в их бытии ставились под сомнение и свёртывались под воздействием неадекватных перемен – и в сознании, и в поведении себе подобных. Объяснений тут никто не требовал, но тревожность по данному поводу существовала. Она была очень серьёзной, что и всегда наблюдалось при крутых переменах в жизнеустройстве.

Люди могли догадываться, что в своём выборе, даже если в нём играли радостные лучи гражданской свободы, они ошиблись. Только искусству оказалось по силам уловить знаки этой глубинной тревожности. Этому средству осмысливания общественной духовности отводилась ведь немалая роль в процессе преобразований, как тогдашних, так и более ран-

них, а также и более поздних, в чём мы теперь убеждаемся.

Вот почему необходимо согласиться с Шекспиром. Его гением раскрыты не только те важнейшие причины, по которым катятся события в его творении. Взглядом великого драматурга охватывается всё движение человечества в его будущее. Оно, это движение, полно таинственности и непредсказуемости. Так, по крайней мере, вопрос стоял в ту, прошлую эпоху.

При отсутствия положительной перспективы и ввиду всевозможных препон для гармоничного общественного движения вперёд, а главное – из-за неумения людей объяснить, по каким основаниям такая ситуация возникала и куда ей надлежало идти дальше, из-за их бессилия, разочарованности и растерянности перед фактом невозможности уяснить загадочное явление и следует считать уместным употребление жанра трагедии.

Нельзя не признать, что даже в нашей современности, при всех расчётах на новые изумительные технологии и неиссякаемый энтузиазм в изучении природы и непосредственно homo sapiens коллизии, грозящие человечеству некой бездонной пропастью, также продолжают «тащиться» за ним и, кажется, – в нарастающей интенсивности...

4. РЫЦАРИ

Уже сделанные выше замечания по части довольно стран-

ных обращений с понятием чести, когда в них виделись намерения распотрошить и резко понизить цену этого важнейшего этического идеала до уровня норм естественного корпоративного права, обязывают возможно обстоятельнее осветить существо европейского рыцарства – явления, в котором феодальная формация получала перспективу ускоренного выроста и укрепления своего долговременного благополучия.

Основным поводом к зарождению отдельного, рыцарского сословия могла быть только нехватка имущественного ресурса у средневековых властителей и их вассалов. В некоторой части этот ресурс хотя и восполнялся эксплуатацией подневольных крестьян и ремесленников, а также войнами на ближних и сопряжённых с ними землях, но – этого было недостаточно. Вожделенные взоры желавших бóльшего устремились тогда на земли иные, за пределами Европы. В большом количестве для этого требовались энтузиасты. В их лице и проявили себя первые рыцари.

Жажда наживы, когда не имело значения, сколько для её утоления могло быть пролито человеческой крови, подтолкнула их к объединению. Формировались целые армии и ордена, ставшие участниками крестовых походов на Ближний Восток. В оправдание алчных намерений пограбить выдвигались мотивы о необходимости защитить христианскую веру от магометанства. Политические решения, связанные с

организацией войск и их отправкой в заданные места дислокаций, брала на себя могущественная в то время католическая папская власть.

Конечно, не исключалась героизация тех, кто участвовал в крестовых походах. Взлелеянный феодалами энтузиазм во многих случаях мог считаться вполне искренним у исполнителей их воли и часто выражался ими соответствующей слепой удаley или даже завидной смелостью на полях сражений.

Заряд такого воодушевления годился и по окончании походов, когда требовалось умело распорядиться награбленным, пустить его в дело ради извлечения прибыли. Одновременно вызревало и новое отношение к женщине. Публика-то, набиравшаяся в армии, состояла в основном из молодёжи, недавних или даже совсем юнцов. Долгие физиологические воздержания побуждали их ностальгировать по оставленным на родине сверстницам и подругам. В ожидании предстоящих возвращений к ним вызревали интимные мечты, развивалась неутолённая чувственность по отношению к противоположному полу. Конечно, такое психологическое поветрие не могло не касаться и молодых монахов и взрослых членов семей католических священников мужского пола, также охотно отправлявшихся в походы.

Из всего этого возникала традиция поэтического возвеличивания возлюбленных, их почитания и преданности им, а также – чувствование свободы, в той ничем не ограничи-

ваемой мере, когда предоставленные самим себе или в пику, может быть, своим предводителям, неискушённые молодые наёмники понимали её как равную широкой и бесшабашной вольности и легко устремлялись к демонстрации доблести, бесстрашия и других опций индивидуального поведения, признававшихся уместными и похвальными в условиях походного регламента.

Свои особенности вносило сюда и то, что в ту эпоху отпрыски феодалов и церковников только в очень редких случаях наделялись правами наследования богатств, какие имели их отцы или родственники. Тем самым молодой рыцарь, хотя и принадлежал к верхнему общественному сословию, должен был сам заботиться о своём имущественном достатке в будущем.

Надо ли говорить, что его шатким возрастным цензом, оглядкой на предков, завистью к их, пусть и не всегда полной материальной независимости, могла определяться степень индивидуального и группового «аппетита» к наживе, к разбойным и грабительским действиям.

Именно о таком «подходе» в обосновании корысти идёт речь, например, в известном литературном произведении Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где некто Панург, остро слов, балагур и пройдоха, приближенный в странствиях Пантагрюэлем, откровенничает:

Если бы вы знали, как я нагрел руки на крестовом походе,

вы бы ахнули от изумления!

(Перевод Н. Любимова).

С крестовыми походами, стало быть, прочно увязывались разные по своей значимости аспекты жизни феодального общества. Вполне очевидными становились тогда как его ускоренное обогащение, так и обновление духовностной базы, в русле чего на достаточно высокий уровень вышли тогдашняя, преимущественно любовная поэзия, проза о всякого рода путешествиях и приключениях, живопись, музыка и другие разделы дворянской культуры.

Подпитанные эйфорией, где-то здесь витали уже и соображения о приобретённом жизненном и интеллектуальном опыте, куда составной частью входили догадки о преобразовании человека, побывавшего в походах и разного рода переделках и добившегося своих целей, человека, одухотворённого сословной вольностью и решительно порывавшего с нудными религиозными догматами и канонами того времени. Отсюда недалеко оставалось до формулирования особенности «новых» людей, их роли, их приобщения к свободе в её соотношении с сословными запросами...

Мотивация же действительных эгоистических устремлений рыцарства периода крестовых походов да и последующего долгого срока, пока оно не сошло с исторической сцены, в научных исследованиях, беллетристике и в произведениях художественной литературы отражена, к сожалению, в

значительной мере однобоко.

Бóльшего внимания и современниками и историками разных веков, а также – служителями искусств, уделялось его возвеличиванию, – как сословия, где каждый, кто к нему принадлежал, непременно был способен проявлять незаурядную храбрость, имел повышенный интерес к странствованиям, зачастую – в одиночку, лелеял в себе трепетные чувства к избравшейся им и, как правило, единственной возлюбленной, которую не обязательно должен был знать в лицо или хотя бы по имени, а попросту её выдумывал в собственное утешение...

Эту характерную степень предвзятого понимания существенного в рыцарско-монашеских общинах, как представляется, не разделял Мигель Сервантес, автор увлекательнейшей истории об идальго доне Кихоте Ламанчском. Онный литературный герой, обедневший испанский дворянин, увлёкся рыцарскими (то есть – о рыцарях) романами и начитался ими до такой степени, что рехнулся умом, хотя и не полностью, не до конца, и в таком жалком состоянии вознамерился отправиться в странствование как рыцарь, когда мода на такую блажь уже прошла.

Гений от литературы мастерски запечатлел в нём не только те черты, какими выражались его лучшие человеческие качества, делавшие его образ идеальным.

Другую, неповреждённую часть ума персонажа автор удачно «использовал» чтобы через его трезвые размышле-

ния и высказывания читатели могли составить представление о текущих реальностях бытия и неуместной, часто смешной и нелепой роли в нём новоявленного странствующего рыцаря.

Запечатлённые в контрасте, противоположные начала в персонаже художественного повествования в равных долях способствовали укреплению в нём эстетических черт, едва ли не с абсолютной точностью выразивших историческую оригинальность и самого дона Кихота, и сословия, представителем которого он был.

В памяти поколений, знакомившихся с литературным текстом, полоумный идальго удерживался, однако, более в призрачном, чем реальном освещении. Таким он воспринимается по сей день, что вовсе не случайно: предпочтения исходят из его необдуманных поступков и помыслов, где хорошо заметны устремления к общечеловеческим идеалам добра, достоинства и справедливости.

Кем бы ни были те люди, которым здесь требовалось определиться с выбором, они, как это наблюдалось и во все времена, не могли не делать его в пользу верховного слоя нашей, общей этики.

В своей массе к такому выбору тяготели сами участники крестовых походов и те из них, кто переходил к осёдлому образу жизни. Идеал рыцаря ими был, что называется, востребован. Следы таких восприятий сохранились в уставах бенедиктинского, иезуитского, ливонского и других рыцарских

орденов и подобных им образований при крупных дворцах и замках княжеств и королевств. Позже им следовали многочисленные протестные и оппозиционные режимам организации; «ценности» былого, «непорочного» рыцарства выпячивались ими для обоснования своей стойкости перед угрозами их преследований политическими противниками.

Уже на раннем этапе этого спонтанного процесса шлифовались и крепились понятия об обязательном соблюдении корпоративных неписаных правил поведения, из чего и складывался будущий пресловутый кодекс чести.

Как уже было отмечено, тут дело сводилось только к тому, чтобы содействовать получению выгоды для господского сословия. Сплошь и рядом поступки его представителей выходили за пределы обычных житейских представлений.

Французский мемуарист Пьер Брантом, современник Сервантеса и Шекспира, сообщал, например, что очень многие бывшие рыцари из тогдашнего и предыдущих поколений у себя в поместьях отбирали у крестьян маленьких дочек, в которых угадывалась будущая женская красота, запирали их в особые помещения, чтобы под строгим надзором удерживать их там в безупречной «нравственности», а затем брали их себе в любовницы по мере надобности. В таких красках шло измельчение кодекса чести по всему полю феодального естественного права.

Откуда и почему появлялись симптомы вырождения феодальной общественной формации, в развитие которой внес-

ли немалый вклад западноевропейские рыцари, – об этом достаточно ярко и убедительно поведал Александр Герцен. Он писал:

...когда... новый мир начал слагаться, принимая в себя... остатки древней цивилизации и новую религию, развивая ими свою собственную сущность, тогда первым полным и органическим следствием взаимного проникновения этих элементов является *рыцарство*. Рыцарством вооружённая ватага кондотьеров, наездников, необузданных воинов поднялась из мира грабежей и насилия в феодальное благоустройство. Ключом свода этого готического братства, этих... единственных правоверных людей того времени, была беспредельная самоуверенность в достоинстве своей личности и личности ближнего, разумеется, признанного равным по феодальным понятиям. Это было нечто совершенно новое.

...

...рыцарь начал понимать себя собственным средоточием; понявши это, он должен был высоко поставить свою честь, свою самобытность – гордую и независимую. Не массы сознали эту мысль о достоинстве личности: массы были... отсталые... её поняли доблестнейшие... духовные.

...

...Мы привыкли сопрягать с словом «рыцарство» понятие угнетения, несправедливости, касты; но с тем самым словом

мы вправе сопрягать смысл совершенно противоположный. Мы теперь смотрим на рыцарство как на прошедший институт; его слабые стороны для нас раскрыты; нас оскорбляет его гордое чувство бесконечного достоинства, основанное на бесконечном унижении привязанного к земле...

...

...оцените внутреннюю мысль его о достоинстве человеческой личности, о святой неприкосновенности её, о строгой чистоте – и вы поймёте великое начало, внесённое им в историю. Оттого мы рыцарей можем принять за высших представителей средних веков; истинные представители эпохи – не арифметическое большинство, не золотая посредственность, а те, которые достигли полного развития, энергические и сильные деятельностью; другие были в ребячестве или в дряхлости. *Человек научился уважать человека* в рыцаре; этого мы им не забудем. Гордое требование признания рыцарских прав было почвою, на которой выросло сознание права и достоинства человека вообще. ...Рыцари были единственные свободные люди в средних веках... их соединяло единство обычаев, единство понятий о своём достоинстве, единство предрассудков...

...

Но...

Ничего не может быть пагубнее для истории, как вносить современные вопросы симпатий и антипатий в разбор былых событий...

...

...Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверх того, понимать, что с утратою его бытие становится ничтожно; надобно быть готовым испустить дух за свою истину – тогда её уважают...

...

...как ни было сильно развитие рыцарства, как оно ни было ярко и поэтично, оно носило в себе причину быстрой дряхлости...

...

...Рыцарь... признавал *самоуправство* естественным, неотъемлемым правом.

...

...Рыцарь, свободная личность в отношении к государству и раб внутри, развил односторонность свою до нелепости...

...

...не имея действительного критериума чести, он весь зависел от обычая и мнения; он, вместо живого и широкого понятия человеческого достоинства, разработал жалкую и мелочную казуистику оскорблений и поединков. Рыцарство пало жертвою своей односторонности... жертвою противоречия, только формально примирённого в его уме. Но наследие, им завещанное, было велико...

(«Несколько замечаний об историческом развитии чести». – Извлечения из работы приведены в сокращениях).

Отдавая должное умению автора приблизить давнее к его современности (к XIX веку), нельзя, однако, не заметить, что старание изменяло ему.

«Не массы сознали... мысль о достоинстве личности...»

Или: «Гордое требование признания рыцарских прав было почвою, на которой выросло сознание права и достоинства человека вообще». Так мог утверждать только историк, усвоивший прошлое с удобного для него начала, то есть – как своеобразную схему, куда втискиваются отдельные явления и события.

Ведь именно в массах, в человечестве зрело и формировалось представление о достоинстве. Стало быть, и о чести, и о других составляющих всеобщей этики. Где уконцентрирован опыт различения качества любых действий и помышлений всех и каждого индивидуума. Хранимый всеми и каждым и неизменно передаваемый в поколениях.

Первым да и последующим рыцарям было естественно равняться на эти ценности, по-новому осознавая только процесс приобщения к ним – к тому, что по разным причинам утрачивалось. Бесспорно, многое тут смещалось. Опыт прошлого виделся слишком тусклым, и будто бы требовалось его оставить, пренебречь им. Но – без него рыцари никуда бы не двинулись...

В целом их идеализация могла приводить к тому, что становилось карикатурой или обратной стороной их дей-

ствительного «статусного» положения. В качестве примера, когда настоящий облик рыцарства выражался во всём его неприемлемом виде, сошлёмся на широко известную повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба».

Талантливый писатель, ввиду его неумеренного русофильского патриотизма, рисует Запорожскую Сечь – объединение казаков – как средоточие высшей национальной правды и справедливости. Этому соответствует и характер одиозного старшины – главаря вольного казачества и само это сообщество, каждый член в нём.

На рыцарские ордена, какие возникали в западной Европе, оно, казачество Запорожья, не походило тем, что было неоднородным: к нему примыкали представители самых разных сословий, а рыцари и монахи если в нём и оказывались, то в виде очень редкого исключения. Гоголь, по крайней мере, об этом не сообщает. Однако сам старшина, полковник Бульба и подчинённые ему казаки едва ли не на каждом шагу, как то заметно по тексту повествования, норовили изображать из себя рыцарей и называть себя этим хорошо ими усвоенным словом, а казачество в целом – «рыцарством».

Его звучание приобретало особенную степень восторженности и умиления в речах и умах каждого в войске по причине того, что Запорожской Сечью исповедовался принцип безграничного и безотчётного служения Руси и православия в ней, принципа, который избирался ею добровольно и не был скреплён строгим договором ни с какими государ-

ствами, в том числе – с Русским. Соответствовали тому и всяческие движения по возвеличиванию казачьего долга и якобы образцового русского духа в нём.

Фрагменты произведения, при их внимательном и беспристрастном рассмотрении, вовсе не подтверждают образцовость этого духа, а прямо призывают к тому, чтобы в таком виде его вообще нигде и никогда не было даже в помине.

Трудно не перейти на столь радикальную точку зрения, знакомясь, например, с повадками запорожцев, неожиданно устроивших совершенно ни на чём не обоснованную кровавую резню евреев (или, по терминологии казачества, запечатлённой автором повести, да и – его самого, – жидов), проживавших в предместьях Сечи и торговавших в ней съестными товарами, оружием и выпивкой.

Как сообщает писатель, их, бедолаг, любого, кто попадал под руку взъярившимся «рыцарям» и не успевал спрятаться, убивали на берегу Днепра, бросали в его воды и топили, то же делали с разысканными, прятавшимися, при этом насмехаясь над ними и услаждаясь такой своей русской удалью.

Не менее зловещим выглядело казачье войско, когда оно отправлялось в чужие края *мстить*, как это преподносилось самим Бульбой и его приспешниками, «за поругание Русской земли». Вот как об этом записано в повести:

...часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг – и всё тогда прощалось с жизнью. По-

жары охватывали деревни; скот и лошади, которые не уго- нялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Каза- лось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Ды- бом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Изби- тые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу...

(Из главы V. – Данная часть текста, как и размещённые ниже, приводится в сокращениях).

Жестокости чинились и при осаде крупных поселений, о чём рассказано, в частности, в связи с подготовкой штурма крепости Дубно:

Войско, обступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошеньем окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, ещё не тронутые серпом, где, как нарочно, колеба- лись тучные колосья, плод необыкновенного урожая, награ- дившего в ту пору щедро всех земледельцев.

(Также из главы V).

А вот какой случилась ночь, когда в осаждённый враже- ский бастион тайно сбегает младший сын Бульбы Андрий; она точно срисована кистью художника; и здесь опять следы той же отупелой беспощадности и бесчеловечности:

...были зарева вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх, под самые звёзды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый чёрный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное своё величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздия слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне.

(Также из главы V).

Наконец в той же тональности повествуется о злодеяниях полка Тараса, отделившегося от запорожского войска, когда он, ожесточаясь мщением, в том числе под влиянием увиденной им самим сцены с невероятно жестокой физической казнью его старшего сына Остапа, устремился на запад от границ Украины:

...Тарас гулял по всей Польше... Много избил он всякой

шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые мёды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» – повторял только Тарас. Не уважали козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя.

(Из главы XII).

Легко представить, что по таким же звериным, бесчеловечным сценариям должны были развиваться события и в местах, куда заносило армии и ордена средневековых крестоносцев.

Их последователям из Малороссии, может, было свойственно вести себя как разбойникам и отъявленным убийцам только в условиях походов или пребывания в Сечи? Не смягчались ли их сердца, когда им доводилось отвлекаться от войсковых сборов и навещать родные земли и поселения?

Как бы не так!

В той же повести Гоголь искренне опечаливается участием

жены Тараса, матери их сыновей, в полной мере испытавшей неуравновешенность и бездушие этого, с позволения сказать, рыцаря.

Подтверждая то, что чёрствым и бесчеловечным он проявлял себя всюду и всегда и соболезнуя Тарасовой супруге, литератор пишет:

...она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, – и уже суровый прельститель её покидал её для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нём не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь её была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безжённых рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и её прекрасные свежие щёки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного в женщине, всё обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими.

(Из главы I).

Поистине, геройствовавший казацкий старшина был и в отношении к своей, самой близкой женщине таким же аморальным, каким являл себя перед врагами, наделяя себя правом быть наверху всех, правом выступать самозванным охранителем русской земли! – Нельзя в нём разглядеть хотя бы искры, хотя бы чего-то скрытого, непроизвольного, что держалось бы в нём «от» «настоящего», идеального образа рыцаря, как то широко и ярко представлено в доне Кихоте.

Традиция, которую «предусматривалось» неумеренное почитание рыцарства и идеального в нём, продолжалась и много позже написания «Тараса Бульбы».

Вот как оно было представлено Буниным в XX веке в упомянутой выше его повести «Жизнь Арсеньева. Юность»:

Дон-Кихот, по которому я учился читать... и рассказы... о рыцарских временах... свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъёмные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу коленопреклонённого юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. ...Я... не раз дивился: как мог я, будучи ребёнком... глядя на книжные картинки... так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать их себе? ...я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком.

(Книга первая, XIV. – Текст приведён в сокращениях).

Можно удовольствоваться тонкостью и талантливостью изложения чувственности наивного молодого романтика. Но оправданно ли подходить с такою меркою к теме о рыцарстве, о его непосредственной сути? Насколько верно то, что когда-то персонаж повести будто бы к его миру принадлежал?

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что тут всего лишь рисовка, манерничанье, порыв ностальгии по давно утраченному – для представителя скомпрометировавшего себя дворянства.

Несмотря на очевидную нелепость таких восприятий, не только Бунину приходило в голову опереться на кодекс былого рыцарства. Достаточно сослаться на повесть Александра Куприна «Поединок», где вскрыта вся немислимая подноготная дуэли, уже совершенно неуместной в изменившемся времени.

Здесь заставляют обратить на себя внимание те последствия, какие вытекают из переименования понятий «рыцарь» и «рыцарство». Они широко используются до нынешних дней и не только номинально, как лингвистический балласт. Им придаются знаки некоего особого признавания и возвышения той или иной личности, уже, как правило, чем-то известной; а манипулируют такими «бирками» как от лица неопределённой по составу публики, так и – различных

инстанций и даже персон официального уровня.

Во мнении поклонников званием «рыцарь культуры» отмечен, в частности, живописец Никас Сафронов – за вклад в современное российское изобразительное искусство. Ранее был у нас и «рыцарь революции». Так полагалось величать Феликса Дзержинского, руководителя государственного органа, повинного в массовых безосновательных и безжалостных репрессиях в СССР в прошлом веке.

Своё место в этом неуклюжем поветрии занимают специальные «крестовые» ордена и другие отличия. Едва ли не на высшую ступень человеческого достоинства призвано указывать престижное рыцарское звание «сэр», учреждённое в Англии. Елизавета II, королева этой страны удостоивала им тех, кто по её выбору оказывался в национальной элите преданных ей интеллектуалов.

Забыли оглянуться на бедовую суть порочного явления в истории Европы и выходцы из неё, переселившиеся на американский континент. Известна позолоченная статуэтка с изображением во весь рост атлетической фигуры мужчины, стоящего на катушке с киноплёнкой, с мечом в руках. Это – рыцарь.

Статуэтку в 1927 году изготовил скульптор Джордж Стэнли, и она вручается Американской академией киноискусства как награда за лучшие фильмы. В 1943 году её была удостоена лента «Москва наносит ответный удар» – американская версия фильма «Разгром немецко-фашистских войск

под Москвой», где советские документалисты средствами кино прямо с передовой рассказывали о сокрушительном поражении гитлеровских орд у стен столицы СССР.

Вовсе не могли быть увязаны с разбойными деяниями былого рыцарства подвиги воинов и мирных граждан Советского Союза, одержавших тогда первую крупную победу над сильным и беспощадным врагом!

Очень мрачная аналогия!

Заключённая в статуэтке символика, скорее, отражала ностальгию по безрассудному средневековому варварству. Действия немецких войск с их жестокостями и свирепствами будто бы надо было приветствовать и оправдывать.

Она была тем более неуместна, если помнить, что в то суровое время от лица Германии, куда после уносили ноги самонадеянные завоеватели, крестом, символизировавшим католическое рыцарство, награждались отъявленные фашистские вояки и палачи...

5. «ОСВОБОЖДЕНИЕ» «ДО КОНЦА»

Пределы свободы, как мы уже отмечали, могут на практике пониматься по-разному, и во многих случаях они понимаются слишком зауженно и безответственно. При таком уровне её «использования» неизбежен весьма значительный вред, заходит ли речь о свободе в представлениях обывательских или в сферах интеллектуальных, включая сюда государ-

ственное и международное законотворчество.

Говорить об этой очень важной проблеме лишено смысла, не затрагивая существа свободы в её крайних значениях, но – исходящих из самых обычных умозаключений и примет, лежащих на поверхности нашего мира.

Уже в рассуждениях о *свободе слова* было сказано о сложности этой псевдоправовой формулы. В ней нет ничего ясного. К нему теперь никто и не стремится. Есть фетиш, якобы призванный служить добру. Если же его отрицают, не миновать споров и негодований на предмет умыкания демократии. О чём это может говорить? О полнейшем безразличии в отношении к существенному.

Понятие *свободы слова* при этом лишают определённости, конкретности, или иначе – формы. В таком «виде» из понятия (при манипулировании им) постоянно выпадают и тут же исчезают смысловые мельчинки. Наш разум не в силах удерживать их вместе. И без того неопределённый термин окончательно «рассыпается».

На эту особенность безликой формы указывал ещё Аристотель. Он писал:

Сущее, когда оно берётся без уточнения, имеет несколько значений...

(А р и с т о т е л ь. «Метафизика», книга шестая, глава

вторая. По изданию: «Выдающиеся мыслители». В переводе А. Кубицкого. «Феникс», Ростов-на-Дону, 1999 г., стр. 158).

Выхолощенное содержание понятия, к большому сожалению, не становится поводом отойти от него, расстаться с ним. Происходит всё наоборот. Ведь фетиш будто бы служит добру. А раз так, отношение к нему устанавливается терпимое или даже благосклонное. Для массового сознания он привлекателен.

В результате свобода слова, как целое, принимается в «пользование» в виде некоего благодатного символа или, лучше сказать, – идеи.хлопот с нею не возникает, из-за чего, как уже говорилось, заканчивают тем, что принимают её на веру – как абсолютную величину.

Идеей подобного ассортимента может быть самая расхожая мысль или утверждение, и они оказываются в поле зрения каждого, хотя каждому не обязательно фиксировать на них своё строгое внимание.

Если мы и сталкиваемся с ними, то чаще – походя, между разными делами или в состоянии своей рассеянности или расслабленности. Докапываться до сути особой охоты ни у кого нет. Ведь «этого» всегда много. Однако, будучи усвоено как абсолютное, оно очень коварно, так как способно ввести в большой обман.

К примеру, вы в очередной раз слышите фразу: «свобода слова» и у вас нет необходимости или простого желания

задерживаться на ней. Фраза остаётся не тронутой знанием с вашей стороны. Вы соглашаетесь на своё равнодушие или безразличие к ней. Почти так же поведут себя многие.

Её ценность или скрытая в ней ложь должны определяться не иначе как скрупулёзным и точным исследованием, в чём, как я полагаю, мы с вами уже в некоторой доле преуспели.

Или взять такое же знакомое для всех утверждение: «спорт – это здоровье». Нередко оно выражается и в бóльшей конкретике: «спорт – это здоровье нации».

Само по себе оно благозвучно. Опровергать его – задача сомнительная, поскольку полемика легко может увести в отрицание спорта как такового, а на это многим атлетам, как и энтузиастам и болельщикам, а также, разумеется, политикам, нашлось бы что возразить, притом ещё и не обязательно в ровной, спокойной интонации.

Тем не менее возникает вопрос.

Кто мог бы с достаточным основанием утверждать, что у спортсменов и тренеров какое-то особенное здоровье, что их жизнь, обусловленная профессией, более продолжительна, чем у людей «обычных»?

Оздоровительные и лечебные учреждения, опекающие спортсменов, располагают массой данных о заболеваниях, травмах и срывах здоровья и самочувствия, вызываемых их интенсивными тренировками и участием в соревнованиях. Ведь подчас перегрузки на таких мероприятиях просто непосильны.

Людам более приемлемо заниматься физкультурой, посещать любительские секции, когда перегрузки и возможные длительные перерывы в занятиях исключены или минимальны и не приводят к разрушительным последствиям для организма. Физкультура к тому же способствует оживлённому человеческому общению, помогает выработке добротных коллективистских интересов и вкусов, а в конечном счёте благотворно сказывается и на здоровье, и на духовном развитии каждого участника.

В продолжение этого скажем, что совсем уж абсурдной выглядит всемировая погоня за медалями и зачётными «очками».

Здесь любого атлета ждёт неизбежный надрыв, так как нормальные физиологические возможности человека во многих видах спорта на текущее время уже практически полностью исчерпаны, а введённые новые держатся в значительной части на рискованных значениях, прямо угрожая здоровью.

Тут можно упомянуть соревнования по спортивной ходьбе на «заоблачные» дистанции, которые следовало бы считать просто издевательскими. В 2002 году международный марафон с такой программой состоялся во французском городе Рубэ. Победивший там польский стайер Клапе за 28 часов прошёл 248 километров.

Раззадоренные призами, спортсмены вознамеривались было подвергнуть себя ещё более трудным испытаниям.

В той же Франции, в департаменте Верхний Рейн органи-

заторы соглашались на проведение марафона, где его участникам предстояло помериться выносливостью на 500-километровой (!) дистанции. То есть – на ней надо было бы «торчать» свыше двух суток. Надо ли говорить, что даже для хорошо натренированных это могло обернуться плачевными «итогами», – не только ввиду проигрышей, но и по причине крайнего, трудно устранимого истощения организма...

Ещё пример бытования идеи, перерастающей саму себя: «Пушкин – это «наше всё». Знатокам, должно быть, известно, что столь высокую оценку выдающемуся имперскому поэту дал Аполлон Григорьев, тоже поэт, но уже более позднего поколения.

Предложенная им трактовка явно претендует на абсолютную истину, однако было бы ошибкой согласиться с нею.

Склоняться к этому заставляют ровные, искренние замечания о творчестве Александра Пушкина многих других мастеров словесности и культуры. Так, Салтыков-Щедрин, упоминая о его романе в стихах «Евгений Онегин», который критик Белинский называл «энциклопедией русской жизни», имел иное мнение.

Да, считал он, эта вещь производила большое впечатление на современников поэта – ввиду лёгкости стиха, но

...истинный смысл поэмы едва ли был кому доступен.
(«Пошехонская старина»).

Ему вторил Василий Розанов, начинавший свою беллетристическую деятельность в конце XIX века. Он писал:

В пору моих гимназических лет о Пушкине даже не вспоминали – не то чтобы его читать.

(«Уединённое»).

Пусть не покажутся эти откровения напускными или сделанными необдуманно, в запале. Для них были серьёзные основания.

Многие пушкинские произведения под влиянием времени потеряли привлекательность и актуальность.

Сомнительной сказкой со счастливым концом воспринимается ныне повесть «Капитанская дочка». Мистической – поэма «Медный всадник». Излишне романтической – «Руслан и Людмила». В лирике много мест, которых мы просто должны бы стыдиться.

Чего стоит хотя бы «презренный еврей» из его стихотворения «Чёрная шаль». А в «Скупом рыцаре» еврея Соломона автор оскорбляет не меньше, обзывая его жидом (ещё до Гоголя), причём не один раз и при этом оставаясь как бы в неведении по части допускаемого им неприличия.

Русские литераторы имперской эпохи, с её признанными шедеврами, постоянно находили поводы к изображению положительности поступков и чувственности персонажей произведений художественной литературы в той странной мане-

ре, когда они становились рупором государственной политики, средством, укреплявшим верхнесословный российский патриотизм и шовинизм.

Отсюда исходили те притязания, которые кругами расходились далеко вовне, охватывая не только реальные пространства, но и – сказочные:

Там русский дух... Там Русью пахнет!
(А. П у ш к и н. «Руслан и Людмила»).

«Мелочей» подобного рода пушкиноведы всегда старались не замечать. В хрестоматиях по русской литературе их составители тоже придерживались такого зыбкого уклона. Почему?

Крупного и чрезвычайно талантливого поэта уже вскоре после завершения им жизненного пути взялись искусственно возвеличивать вследствие неумеренной опеки над его именем со стороны российской императорской власти. В результате незаслуженно принижалась роль ряда других стихотворцев, хотя и не равных гению, но тоже достойных доброй читательской памяти.

Традиция неумеренной официальной популяризации перекинулась из XIX века в последующее время. Как известно, многие горячо этому возражали. Писателя Андрея Платонова, огорчало, в частности, огосударствленное шумное обеспечение славы поэту на мероприятиях по случаю 100-летия

его гибели на дуэли с д'Антесом.

История с прославлением по инициативе государства в очередной раз повторилась в 1999 году, когда в стране отмечали 200-летие со дня рождения Пушкина.

Как многие ещё не забыли, пошлую эйфорию в тот срок пропаганда сумела внушить не только обывателям. Ей поддались широкая филологическая общественность, учёные от культуры.

Насколько это было им не к лицу, говорил тот факт, что с указанным юбилеем в тот год совпало 250-летие со дня рождения Гёте, признаваемого великим не только в Германии, на его родине. В России, вернувшейся в капитализм и не перестававшей утверждать о своей приверженности общечеловеческим ценностям, о нём тогда сумели произнести лишь редкие, скупые слова...

Вот так в «невинных» на неискушённый взгляд «прикрытиях» возникают и сопровождают нас идеи-пустышки. Встретиться с ними можно едва ли не на каждом шагу. А с этим связано то, что обозначенное в них можно показывать бóльшим, чем оно есть.

Теперь конкретное, определённое как бы сникает перед абсолютным, и закономерно, что это последнее претендует на неоспоримость. Как водится, в таких обстоятельствах не может не быть пострадавших.

Верните из памяти одно лишь высказывание Платона – о превалировании свободного в поведении учеников, когда

они могли очень легко третировать своего учителя, а он вынуждался приспособливаться к их разболтанности и незрелым, завышенным амбициям, заискивал перед ними или даже боялся их.

Разве мы не слышали о таком прискорбном явлении, имеющем место в современных нам общеобразовательных школах? О том, что нередко оно оборачивается настоящей бедовостью – как для отдельных наставников, так и – целых педагогических коллективов? Впрочем, не только в школах.

Спекуляций на абсолютном хватает и в правовых нишах. Амбиции, построенные на призрачных свободах, если такие свободы оказывались в «огранке» государственных законов, всегда брались под защиту неадекватными официальными властями. Ещё в древности первым о таком явлении сообщал опять же Платон.

Любопытны его замечания по поводу того, что к управленцам в государственных и административных органах могли применяться наказания – за недостаточное содействие в обеспечении широких свобод гражданам по самым разным направлениям их практической деятельности.

Здесь бросается в глаза очевидное в таком процессе устремление взятой как бы из добрых побуждений идеи-пустышки к абсурду.

Для того, чтобы не допустить его, этого устремления, нужны немалые усилия, чаще всего их никто не предпринимает. Рассчитывать можно лишь на естественную убыль «ценно-

сти» самих идей – по мере того, как устаревают или совершенно исчерпывают себя порождающие их причины или – они сами.

Множество порожних идей, хотя абсурдное в них бывает различимым не обязательно сразу, отвлекает наше сознание от общепринятого в этом мире – даже если кому-то кажется, что непосредственно о свободе речь тут не заходит. Да, действительно: имеет место лишь преувеличение. Но преувеличенное, будучи вовлечено в мыслительный процесс, не лишается «роста» – в сторону крайнего обобщения, до абсолютной «величины».

То же, кстати, происходит при форматировании понятий, когда мы не отказываемся от осязаемой выгоды в этом процессе – в свою пользу. Ведь любое понятие «укреплено» в своём «абсолюте», пусть и в условном, и нам не составляет особого труда выбрать «оттуда» необходимое – уже в виде слова, где понятие тесно увязывается с чем-то конкретным – вещественным или духовным.

Не вдаваясь в тонкости сложной технологии мышления, люди, видящие себя свободными, не прочь освободиться ещё больше. Таков принцип освобождения. Начавшись, оно не обязательно заканчивается на чём-нибудь и всегда predisposed уйти в собственное продолжение, дальше, к абсолюту, «истрачивая» свой «ресурс» полностью – «до конца».

Приобретая право на свободу в том его «измерении», ко-

гда оно сопряжено с понятием *вообще*, человек, стало быть, рискует потерять всякие ориентиры в его действиях и мышлениях или, что также не менее прискорбно, – сделать недостойный выбор, в частности, в сторону того худшего, что может содержать в себе естественное право. Не только корпоративное. Худшее, на что мы уже указывали, может найтись и в общечеловеческом.

Ведь нельзя было бы закрыть глаза на то, что люди, постоянно, от начала времён «просеивая» свой житейский опыт, выбрасывая из него не оправдавшее себя, неудачное, какую-то часть этого неудачного выбросить не сумели или не решились, поскольку не нашлось эффективного способа «разобраться» с ним или что-то предложить ему взамен.

Хотя есть прекрасные общечеловеческие идеалы, но есть и такие нежелательные явление, как месть или круговая порука. С первым из них мы уже ознакомились более-менее основательно. И отдельные люди, и корпорации принимают худшее в себя, заимствуя его из общечеловеческой кладези. И от этого факта никуда не уйти.

Наличие этой опасной чёрной помехи не могло не учитываться уже отдельными древнейшими обществами или их ячейками, когда им понадобилось заняться назревшей и подходящей для их стойкого выживания «точечной» урегулированностью отношений между людьми, – создавая для этого структуры в виде государственных образований и вводя государственное, публичное право при них.

Теперь мы с удовлетворением отмечаем, что месть, круговая порука и проч. из нежелательного арсенала общего естественного права никогда не проникали в государственные кодексы или в отдельные законы и не закреплялись в них. Не закреплены они там и не афишируются до сих пор.

Время, однако, вносило и вносит сюда свои, шокирующие поправки.

Мы узнали, что на разных этапах человеческой истории исключительно вредное, отторгавшееся не напрочь, а лишь по умолчанию, всё же использовалось людьми и корпорациями. Эта мрачная традиция сохраняется по настоящее время.

Особую тревогу вызывают государства, хотя и принявшие эстафету общественного развития на началах либеральной демократии и продекларировавшие всемерную заботу о гражданах и обережение национальных и мировых культурных ценностей, но при этом намеренно пёстующие низменное и преступное.

Это по их лекалам шло возвращение фашизма в Европе в первой половине XX века, а когда ему был нанесён ощутимый урон, продолжили поддерживать его уже в его новых жестоких обличьях, как то видно по событиям на Украине, особенно с 2014 года, после государственного переворота в этой стране, поставляя ей в огромных количествах вооружение, боеприпасы, военных специалистов, инструкторов и наёмников и тем самым подогревая в ней агрессивные амби-

ции в отношении соседних юго-восточных и восточных территорий.

Не чем иным как неуёмной злобной *местью* являются экономические, финансовые и другие санкции западных «демократических» стран против России, предпринявшей специальную военную операцию на Украине с целью воспрепятствовать укреплению неонацистского режима в этом государстве.

Месть так слепа, что санкционеры готовы бесконечно твердить об этой акции (специальной военной операции) как преступлении, постоянно упирая на защиту ими свобод и замалчивая многолетние безжалостные обстрелы украинскими военными городских и сельских поселений Донбасса, в то время как день ото дня множилось число жертв этих обстрелов среди тамошних беззащитных граждан, мирных жителей.

В деятельности сил по поддержанию и укреплению фашизма хорошо просматриваются также все признаки «живой» *круговой поруки*.

Её следствием, хотя о ней никто не говорит, является образование специальных межгосударственных блоков и коалиций, призванных объединять ресурсы стран «лучшей демократии» для указанной военной поддержки неонацизма и налагать всевозможные санкции на несогласных с такой политикой.

Вопреки хвалёной свободе слова устанавливается прин-

цип обязательного, то есть, выражаясь проще и точнее: принудительного согласования действий каждого такого игрока. Также для них становится обязательным единое, «правильное» мнение по вопросам противодействия России.

Очень странное в этой вакханалии выкручивания рук и наказаний есть то, что возомнившие себя вершителями судеб мира подстрекатели последышей былого, гитлеровского фашизма, будто в упор не замечают, на какие грабли они наступают.

Ни в официальных заявлениях, ни в аналитике тревожных событий, происходящих на Украине, термин «фашизм» ими не используется. Взамен как из рога изобилия сыплются коммюнике, заявления и разглагольствования, где по поводу их собственных деяний сделан акцент на справедливость, гуманность, человечность и другие атрибуты общемировой этики.

Проверенный, взятый ещё из кодекса чести приём лукавого и бесстыдного осветления, облагорожения самих себя посредством апелляций к нетленным ценностям, заключённым в общечеловеческих идеалах!

В этом случае есть все основания говорить о таком заимствовании худшего в естественном праве, когда оно прямоком устремлено в абсурд. Ну а смущены ли этим сами подстрекатели? Нет, нисколько.

Объясняя свои корыстные намерения, они неустанно твердят о своей правоте, о желании повергнуть Россию ниц,

причём военным способом, с тем, чтобы добиться установления нового мирового порядка – при их исключительном верховенстве над слабыми в экономическом и оборонном отношениях народами и государствами.

Останавливаясь на этом тревожном положении вещей, надо заметить, что и со стороны России также наблюдается некая неровность в её политической линии.

Объявленная денацификация Украины невнятна. Меры по её достижению пока что ограничены: в освобождаемых районах и поселениях Донбасса и на ближайших к нему территориях, кроме территорий, вошедших в состав России, создаются местные военно-гражданские администрации, полномочия которых не приведены в соответствие с необходимостью устранения устоев преступного украинского режима. Там не устранена и сохраняется возможность нового всплеска фашизации.

Что же касается территорий, опекаемых киевским режимом, то и здесь перспектива воспрепятствования этому опасному процессу также остаётся недостаточно ясной.

Что может означать установление нейтрального статуса государства, на условии которого Россия готова прекратить там свою военную операцию? При проведении голосования по этой части что-то может пойти не так. До конца ли удастся вытравить в обществе национализм, на протяжении долгих лет перераставший в его недопустимую, крайнюю форму?

Положение с упорством украинского сопротивления обя-

зывает не медлить и с вопросом о справедливом наказании лиц и групп лиц, повинных в злодейских деяниях, имевших место как на Донбассе, так собственно и на Украине, деяниях, несовместимых с нормами международного права и человечности.

Дойдёт ли дело до создания специальных трибуналов – по аналогии с теми, какие проводились уже в ходе Великой Отечественной войны и по её завершении? Или о них одни разговоры? И почему, раз речь о киевском режиме заходит как о прямом выразителе и проводнике неонацизма, а ещё и – терроризма, Москва не ставит вопроса о судебном преследовании вожаков этой «верхушки» – включая президента Владимира Зеленского? Потому ли, что они избраны в процессе общего голосования? Но Гитлер ведь тоже избирался и у немецкой нации был даже любимцем.

В Советском Союзе, погнавшем его армии и фронты на запад, ни в правительстве, ни в народе с самого начала Великой Отечественной никто не скрывал желания низложить вооружённого врага силой и уничтожить самого фюрера в его логове...

В пределах тематики, которой мы здесь придерживаемся, возникшие насущные вопросы такой направленности, как представляется, не должны восприниматься как неуместные, выходящие «за пределы».

Мы с вами исследуем проблемы, связанные с понятием и различным пониманием свободы. Где больше всего о ней

распространяются – к делу и не к делу? Не в странах ли НАТО? Не на Украине ли? И не в том ли нескрываемом, определённом смысле, когда защиту приятной ими во всех отношениях свободы *вообще* они совершенно легко переводят в защиту свободы фашизма?

Зная об основаниях для такой бесцеремонной и напористой интерпретации, нельзя не согласиться: она – в русле той закономерности, которую мы здесь пытаемся раскрыть и постичь. В своих хулящих речах и «мстящих» поступках ярые приверженцы провозглашённой ими или позаимствованной у них узколобой либеральной демократии демонстрируют полнейшую неосведомлённость в зыбком предмете свободы. Бесконечные с их стороны упования на неё вряд ли сто́ят выеденного яйца.

Негоже и нам уподобляться в том же старании. Освобождение «до конца», как процесс немислимого угождения раскованным, «летучим» страстям, требует поэтому повышенного к себе внимания. Разбирая примеры с его превратным пониманием, мы, полагаю, в полной мере можем осознать особую его актуальность для настоящего беспокойного времени. Здесь не обойтись без рассуждений о вещах, нами, как правило, всегда оставляемых на потом или и вовсе забытых.

Я здесь предлагаю опять вернуться к вопросу о том, где и в чём мы способны замечать самое крайнее освобождение. Кому и чему оно служит или может служить, что является отправной «точкой» для него?

Для пояснений обратимся к таким понятиям, как абсолютное материальное и абсолютное духовное. Вскользь о них нами уже упоминалось. Необходимо основательнее заняться ими с целью выявить «динамику» их «выроста» и объяснить, как этот процесс сопряжён с реальной действительностью.

Что здесь примечательного?

Как таковые эти двухсловные термины исходят из конкретных вещей и понятий. Однако данное утверждение принимать в лоб и сразу соглашаться с ним – не следует.

Абсолютное материальное – это не что-то вещественное, которое взяли и увеличили, произведя некое механистическое действие, начав с какой-то понятной нам величины. Суть в другом: берётся не сам материальный предмет, а понятие о нём. Как возникшее в сознании, оно становится пригодным для обобщения.

В степени запредельного обобщения оно нисколько не претендует на выражение собою чего-то материального, вещественного. Если же его обращение в конкретную, осязаемую вещь или в предмет иногда допускается, то лишь – условно.

В этом случае используется термин *материя*. В космосе, например, ею обозначают то, что можно представить как материальное: тела звёзд, планет, астероидов, частицы и проч. Не упускают возможности поговорить о ней философы, когда под нею понимается опять же материальное, будто бы осязаемое, но взятое вне его конкретной, индивидуальной

формы, объёма и состояния.

Достаточно широко употребляемое слово «материя» есть лишь то неосязаемое и нематериальное, с чем плотно увязано уже знакомое нам понятие *вообще*. Одновременно это и *ничто*, с которым мы также имели встречи, и в нём нет и совершенно исключено вещественное, конкретное.

Абсолютное духовное «образуется» по аналогичной схеме. Только ему нет пока дублирующего названия, а исходным для него становится производное от нашей мыслительной деятельности в самых разных сферах.

В учёных кругах не очень любят подступаться к этим двум отвлечённым понятиям, как нет и особого желания по возможности глубоко исследовать их. Думается, напрасно.

Уже в их сопоставлении по отношению друг к другу можно обнаружить немало любопытного. Дотошный ум способен усмотреть в них нечто сходное, даже одинаковое.

Правильнее будет говорить здесь о том понятийном, откуда они «вырастают» на стадиях обобщения, отрываясь от реальности и «застревая» в абсолюте.

Понятийное, как получающее «вырост», ещё не есть полностью отвлечённое; в нём каждое единичное имеет свои признаки, свою форму и содержание. Сходство же в том, что материальное и духовное не могут не иметь совершенно одинаковой составляющей в их наполнении: это то, что именуется информативностью, информативным. Когда его нет совсем, нет и знания о чём-либо, знания хотя бы крохотного.

А без него нет и понятийного, в том числе абсолютного – как материального, так и духовного.

Свобода в её состоянии и «предметности», интересующая нас как явление не только социумной значимости, осознаётся нами и уместается только в тех пределах, где властвует понятийное, равно как и наше знание о нём. Каждому понятию здесь открыт путь в сторону бесконечности, абсолютно-го. Однако в этом движении, если оно обусловлено фактором освобождения, до точки «кипения» ничему из материального «добраться» не суждено.

Есть два ответа, почему этого не может произойти. Первый: движение по какой-либо причине приостанавливается или возвращается вспять, не войдя в закрай.

Второй: движение «в самый последний момент» перед «заходом» в абсолютное должно быть лишено своей моторности, однако ему, если оно вещественно, стать абсолютным, не связанным ни с каким конкретным предметом или понятием, нельзя; в этом случае необоримая энергия устремленности к «цели» в неуловимом отрезке времени должна затрачиваться на превращение объекта в совершенно новое состояние; в преддверии этого кратчайшего цикла вещественное будто бы исчезает из бытия, являя, как нам уже доводилось об этом говорить, образец великой и непостижимой тайны всего сущего, разумеется, в том мире, который мы имеем.

Что же касается реального или наличного духовного, то его продвижение в закрай имеет принципиальное отличие.

Дело тут сводится к обобщению, когда «единица» духовного, взятая на любом этапе её существования, мгновенно «выпархивает» из реальности, перемещаясь в область абсолютного. В новом «месте» она обычно обретает черты идеификс и в таком виде укрепляется в сознании, становясь, к примеру, символом того или иного божества. Людям свойственно поклоняться таким символам, верить в их действительное наличие, хотя не существует никакой возможности доказать, что это «действительное» – настоящее.

Думается, нетрудно заметить, как при постижении процессов движения материального и духовного к абсолютному, мы одновременно уяснили и движение, обусловленное свободой этих величин. Той свободой, которою обеспечивается развитие чего-либо, а если точнее: – всего, что существует и о чём мы знаем.

Говоря иначе, указанные процессы напрямую сопряжены с освобождением, когда материальное или духовное, будучи каждый раз в их «растекающейся» конкретной форме, приобретают новые состояния и форматы. Но – лишь до определённой черты. Дальше, за «нею» – абсолютное, где соблюдение формы невозможно; она разрушается, исчезает. Естественно – при этом разрушается и теряет себя также свобода, которую «туда» «помещают» по незнанию.

К изложенному добавим, что если в области абсолютного кто-то захотел бы поискать новую форму, приобретённую взамен оставляемых позади «оболочек» материального или

духовного, то он её, конечно, найдёт, но абсолютно неосязаемую, выскальзывающую из его и нашего сознания, а при том ещё и – единственную и одинаковую для обоих прежних понятий. Ведь она, как несуществующая, будучи отвлечённой, совершенно обезличена и неразличима из-за отсутствия в ней хоть каких признаков.

Нет необходимости подчёркивать, что при таких обстоятельствах, там, в столь странной «среде» абсолюта, не находится места и информативному. Его там просто нет; оно – не появляется и не проявляется.

Также у сомневающегося может возникнуть вопрос: не остаётся ли чего-нибудь от материального или духовного в процессе их «перемол» при перемещении в область абсолютного? Ответ однозначен: ничего. Но – мало ограничиться этим ясным ответом.

Надо признать настоящую силу полного цикла освобождения – как фактора, сопровождающего развитие чего-либо: оно, полное освобождение, – «беспощадно» и позади себя не склонно оставлять ничего.

Чтобы данные пояснения не показались двусмысленными, будет полезно ещё раз повториться и добавить, что через посредство их мы разбирались в *условном*, – когда взятые нами во внимание предметы или объекты рассматривались не иначе как только предположительно. Об абсолютном мы можем сколько угодно судить, не видя его и не ощущая его наличия. Нереально и очутиться «там» хотя бы кому или че-

му-нибудь. Нет там, разумеется, и свободы.

В пределах разбираемой здесь темы абсолютное – это развал до основания и «вещественного», материального, и фактического, реального духовного. Или ещё иначе: как и материя, так и абсолютное духовное есть полностью «реализованная» свобода.

Интерес же к нему, к абсолютному, в том, что манипулирование с ним есть одна из важнейших функций нашего сознания и подсознания.

Негоже было бы отказываться от возможности изучения нашего внутреннего и окружающего нас мира с использованием условного, предположения – в качестве эффективного и нередко незаменимого средства.

О том, на что годятся приведённые рассуждения, мы покажем, обратившись к явлениям самым обыденным. Как в них могут протекать процессы развития-освобождения?

Например, в языке – обязательнейшем факторе общения между людьми.

В какое-то время в начале он бывает или языковым диалектом, или «выходцем» из прежнего, выпавшего из употребления лингвистического пласта, или – привнесённым извне (из другого государства, из объединения государств и т. д.), «готовым» инструментом общительности.

«Послестартовое» состояние у него может выражаться в двух этапах. На первом идёт бурное пополнение словаря за счёт новых и заимствуемых образований. Второй становится

продолжением первого. Он – шире, но и спокойнее.

В целом развитие сводится к одному: удерживаться на месте (в одной, неизменной форме) язык не может; он обречён меняться до тех пор, пока ввиду изменений (в том числе из-за «порчи» неблагозвучными, «неудачными», «нелепыми» и другими «нежелательными» словами, при засорении сленговой и зарубежной массой и т. д.) «запас» его содержания или, если угодно: прочности, не окажется исчерпанным «до конца».

«Сигналом» или «знаком» тут является нежелание общаться на нём; или же возможность общения останется только номинальной.

Любые попытки его устопоривания (патриотические призывы беречь, «не засорять» и «не коверкать», введение новых для него правил, упование на мораль и правовые запреты) должны выглядеть в лучшем случае временной профессиональной или отраслевой заботливостью (учителей, литераторов, культурологов и т. д.), а на самом деле останутся показателем полной безнадёжности затрачиваемых усилий. Поскольку естественное состояние этого своеобразного «организма», как сущего, не предполагает остановки или неподвижности.

Освобождение от своей формы, от сплошной «затёртости» слов, вызванное «потребностью» нового, «следующего» языка, – вот то, чем только и может быть здесь само развитие как процесс.

И ради того, чтобы всё с ним происходило именно таким образом, а не иначе, оказываются неумышленно брошенными, оставленными как бы за ненадобностью в прошлых временных нишах целые россыпи, может быть, вовсе не плохих и даже просто отменных по качеству слов, идиом и словообразований (которые продолжают восхищать потомков, особенно лингвистов и любителей литературы), не говоря уже о том, что в жертву должна быть принесена (устаревание или полное «обветшание» языка) и его грамматическая структура.

Надо ли сожалеть о таком драматичном течении событий? Несомненно. Должно быть очень скверно на душе у человека, если он вдруг узнаёт, что завтра ему ни с кем не позволено общаться на родном для него языке, а другим он не владеет.

Неожиданное введение такого запрета стало бы несчастьем для школ, учреждений, семей, целого государства. Естественным развитием языка он, этот запрет, не «предусматривается».

Хотя могут появиться абсурдные исключения – по образцу того специального закона на Украине, согласно которому в стране из оборота практически изъят русский язык – как письменный, так и устный.

Что же до самого процесса, при котором из-за износа язык прекращается «в себе» и выпадает из употребления постепенно, то здесь нелишне помнить, что ни один народ и ни од-

но племя нигде и никогда в человеческой истории без языка не оставались. Будет обязательно усвоен новый – хотя бы на «обломках» исчезнувшего. Если, конечно, в нём возникает необходимость.

Данный пример связан с поведением объекта неодушевлённого. А как могут обстоять дела с освобождением человека, существа разумного и постоянно мыслящего?

Если понимать его в историческом плане, то уже с периода, когда он входил в роль *homo sapiens*, ему «полагались» права, в том их значении, какое мы им придаём сегодня, исследуя их. Поначалу речь могла идти, разумеется, только о естественных правах, не исключая негативных.

Взятый в его индивидуальном значении, как представитель биологического вида, человек тех времён мог быть настолько свободен, насколько допускали бы его инстинкты и безотчётный страх перед силами внешнего мира, в том числе – перед «наказанием» (в прямом смысле или – «по умолчанию») от себе подобных.

В совершенно диком обществе (племени, роде), где властвуют всего лишь начатки этического (в виде суровых обычаев), его свобода выражалась в том естественном правовом формате, реальном для определённого временного срока, которым совместно с ним обладало общество и куда частью должно было накладываться также совокупное естественное право предыдущих образований и поколений.

Ценности здесь далеки от цивилизованных, и человек, на

свой лад воспринимая их, вынуждался руководствоваться пока не столько своей свободой, сколько её ограничениями. Ведь именно только их, а не саму свободу ему удавалось осознавать в тяжелых условиях жизни, когда его знания о ней и о себе могли находиться ещё на самом низком, примитивном уровне.

Используя естественные права, он, скажем, мог не бояться и не нести никакой ответственности перед сородичами за убийство чужака, а при некоторых обстоятельствах – и своего. За ним целым шлейфом тянулись и другие опасности.

Хотя существование человека в таком жёстком режиме определялось ещё в значительной мере инстинктами, негативное его поведение, как «ненормативное», всё же поддавалось несложному общественному объяснению и контролю. Его переход за «черту» дозволенного не предусматривался, а если это все же иногда и случалось, сородичи в отношении к виновному в порядке вещей могли вынести ему самое строгое и беспощадное наказание, вплоть до умерщвления.

Однако, если говорить исключительно об опасностях (прежде всего – для сородичей), то их от такого несчастного могло исходить всё-таки меньше, чем они, бывает, исходят от человека нашей современности, «настроенного» на освобождение «до конца» и движимого к этой призрачной цели.

В отличие от далёкого предка, у него, кроме естественных, есть права публичные, получаемые от государства. Он ими, что называется, задарен. Из-за чего же он может быть

опасен?

Первое: из-за того, что его коснулась мощная цивилизация, и он почти напрочь лишён многих «прежних» инстинктов; они в нём утрачены или сильно приглушены. Вместо них он обходится знанием, привыкая не отдавать отчёта боязни чего-либо.

Второе: будучи свободным членом общества и вследствие этого считая возможным пренебречь многими обязанностями перед ним, он нередко, а то и системно «пробует» себя в поступках, не всегда адекватных общепринятым, «рассыпая» тем самым своё отчуждение по отношению к людям и становясь своеобразным заразительным примером для других.

Здесь конечный «результат» состоит в умалении, а то и в полном игнорировании всяческих правил. Воспринятое как абсолютное, право даёт ему право (да простится такая тавтология) не придерживаться ни публичного, ни нравственного.

Третье, и далеко не последнее: у него под рукой масса стимуляторов, с помощью которых он может в любой момент обеспечить себе новые вольности – дополнительное «освобождение», раскрепощение.

В своих поведенческих действиях такой человек движется даже не в сторону самого худшего в естественном праве, а – через него, минуя его, «перескакивая» через него, устремляясь в абсолютное, хотя и не достигая его.

Поощрение человека, усвоившего превратные принципы

свободы и независимости, может дорого обходиться тем, на кого падает его влияние. Допускаемое официальными властями, такое поощрение способно быстро усложнить обстановку с нарушением существующих, традиционных норм поведения в обществах.

Не только отдельные индивидуумы, но и целые слои населения могут входить во вкус собственного крайнего освобождения, когда как замечал уже называвшийся нами классик философ, люди становятся одержимы первым налетевшим на них желанием и неприятием хоть какой зависимости.

Таким образом, уже в самих благах цивилизации возникают основы для отчуждения и «косых» представлений о сверхсвободе. В частности, в некоторых странах можно наблюдать, как при входе в салоны автобусов или иных средств массового передвижения люди избегают скученности, становясь друг за другом на приличном отстранении. Показатель только вежливости? Отнюдь. Отстранённость в таком виде вызвана отчуждением, которое в свою очередь исходит от степени свободности, усвоенной каждым.

Или взять расселение семей в жилых домах. Сейчас не принято приобретать квартиры в собственность с расчётом на проживание в них многих людей. Благоустроенных квартир строится достаточно, и они, хотя и не всем оказываются по цене, бывают заселены небольшими по составу семьями, а то и одиночками.

В семьях при этом идёт процесс отделения отпрысков, ко-

гда родители стремятся приобрести им квартиры в их собственности нередко ещё до их женитьбы или замужества или даже до получения профессионального образования и трудоустройства.

Да, в этом случае новые обычаи не должны осуждаться и пресекаться. Житейский комфорт необходим. Он один из показателей достойного человеческого существования. Мы здесь говорим о нём лишь как о динамике освобождения – «от» былого, устаревшего способа расселения, где очень многое оставалось следствием хилого экономического развития народов, бедности и нищеты. Устаревшее в жизнеустройстве просто плохо согласуется с темпами неумолимого процесса обновления.

Как велика наша зависимость от наших желаний быть как можно свободнее, мы в целом осознаём недостаточно чётко и действуем неразборчиво. Поэтому в порядке вещей для нас – не считаться с обстоятельствами конкретного бытия. Знания о нашем освобождении мы прилагаем часто не к тому и не туда, где от этого можем ожидать пользы.

Ориентация на крайние отдалённости в любых намерениях и в действиях всегда есть плохой признак нашей управляемости происходящим вокруг нас и с нами, включая управляемость каждого индивидуума самим собой.

Вследствие такого нашего мировосприятия неблагоприятный «исход», можно сказать, гарантирован, например, в такой значимой сфере нашей непрерывной деятельности как

эстетическое творчество.

Если взять живопись, как вид изобразительного искусства, то здесь дело с «неблагополучной» ориентацией на абсолютную свободу обычно заканчивается изобретением какой-нибудь «каши» или рисованной белиберды, которую, кстати, легко отмоделировать на компьютере...

Игра светом и красками хотя и бывает иногда превращена в виртуозное и в некотором смысле таинственное действие, но зрителя оно затронет мало или не затронет вовсе.

Целые ряды живописцев пытаются поразить наше воображение картинами или этюдами так называемого свободного жанра, нанося на холсты не связанные ни с чем в реальности прямые или неровные линии, полосы, углы и очертания. Иногда идут ещё дальше, и на вид выставляются творения, изготовленные путём размазывания смесей красок по холсту или по другой какой-то поверхности обыкновенной ветошью, а то и подошвой обуви лихого незатейливого «творца».

В особый раздел живописи включены даже «отметины» на материале диких или домашних животных – черепах, ослов, обезьян, попугаев, кошек, слонов и проч. Будто бы могут что-то обозначать следы их копыт, лап или хвостов, даже – их испражнения.

Стиль подобного вольного приобщения к искусству живописи уже прочно усвоен мастерами граффити. Недолго, видимо, ждать и очередного новшества в бурном покорении ху-

дожественных высот – приобщения сюда металлических или полимерных роботов, с их искусственным интеллектом. . .

Вещью, произведением, спроецированными через призму «освобождения до конца», легко удивить простаков, но ими не дано по-настоящему взволновать нашу недоверчивую, насторожённую чувственность. Ведь именно ею в творении распознаётся художественный образ, о чём не пристало бы забывать тем живописцам, кто вознамеривается быть на «ты» со своей творческой свободой, на самом же деле изображая абсурдное.

По сходному образцу понимают абсолютное ваятели и архитекторы.

Здесь изыски устремлены к созданию не только мелких бесформенных поделок, но и произведений гигантских размеров. Например, талантливейший скульптор Степан Эрзя вынашивал замысел воссоздать образ Ленина, «обработав» для этого настоящую целую гору, примеченную им на Урале.

А какой, скажем, необычный смысл выражали бы гигантские монументы «Рождение Нового Света» и «Рождение Нового Человека»?

С проектом возведения этих величественных композиций в своё время, с конца восьмидесятых – начала девяностых годов XX века, в избытке хозяйственной и творческой энергии поносились большие и маленькие политики, учёные, культурологи, конечно же, и ваятели в разного рода степенях лауреатства и званиях.

Установить монументы предполагалось напротив друг друга на противоположных берегах Атлантики, в Европе и в США, в ознаменование 500-летия открытия Америки. Уже начиналась и массированная подготовка к работам. К местам закладки объектов только из России было отправлено более семисот полновесных железнодорожных вагонов меди, стальной арматуры, цемента, стекла и других необходимых материалов. Задействованными в разных странах оказались структуры МИДов, банков, морских портов, железных дорог, автотранспортные предприятия, крупные фирмы, таможи, ведомства разведок, обороны, даже прокуратуры и суды.

Последних более всего интересовала возраставшая в объёмах пропажа значительной части груза и финансовых потоков. Следователи тогда заявили, что им не удалось выявить ни мест, откуда происходило умыкание, ни воров, ни стоимости украденного.

Под влиянием соответствующих скандалов проект зашатался. О нём замолчали. Будто ничего такого никогда и не было.

А ведь как витиевато объясняли необходимость возведения композиций! Приплетали сюда и международное сотрудничество, и дружбу народов, и всеобщее благоденствие с высокой мировой культурой. Выходило же, что подзабавились, и только.

Охотников подсовывать миру такие, с позволения сказать,

плоды художественного творчества это нисколько не обескуражило. Церетелевский монумент российскому царю Петру I в Москве тому подтверждение.

Москвичи, да и не только они, воспринимали его более чем прохладно ещё, кажется, до открытия. И что же? Склонным к осторожности то и дело втолковывают, что памятник символизирует великую эпоху, начатую Петром, что в композиции выражена стабильность отечественной российской государственности, державность и проч. При этом забывают вспоминать лишь об эстетических достоинствах – непреложной и необходимейшей ценности, – есть ли она в фигуре царя и в какой мере или её – нет.

Позже, уже в XXI веке, о той же ипостаси предпочли вообще не распространяться при появлении статуи-памятника в Екатеринбурге первому президенту России Ельцину, одному из тройки известных бывших крупных партийных функционеров, по чьей вольной прихоти был подписан акт о развале СССР.

Будучи избран главой Российской Федерации, Ельцин навсегда запятнал себя постыдным плоским угодничеством и унижением перед Соединёнными Штатами Америки и Западом, какими те были во время его президентства и остаются до сих пор. Своей стране он тем самым прочил судьбу неокOLONиального придатка других держав.

Вследствие этого ни о каком эстетическом достоинстве памятника столь одиозной личности речь идти не могла.

Процедуру его открытия сопровождали неуместной пустой шумихой – только и всего.

Не из того же ли ряда архитектурные абстракции Гауди, оглушающие ритмы рок-музыки, игра на сцене преимущественно валянием по низам, то есть с опусканием на пол и вовсе немотивированным ползанием по нему в театральных и балетных спектаклях, загаженные матом романы, эссе и блоги, бесконечные криминальные кинофантазии Голливуда, демонстрации половых актов на театральных сценах?

Молодым я мечтал дожить до третьего тысячелетия, – рассказывал о себе гроссмейстер Смыслов, известный своим утончённым постижением прекрасного как в шахматах, так и в сфере искусства и вообще во всём окружающем, – Я полагал, что в новом веке нас ожидает нечто особенно красивое, высокое, что в нём будет найдена – нет, не истина, это чересчур громко, но, по крайней мере, гармония, которую я искал. Но новый век меня разочаровал. За исключением технического прогресса, пожалуй, никаких изменений к лучшему он не принёс. Уровень духовной культуры явно упал...

(Из периодики).

Если иметь в виду, как плотно мы сейчас «обставлены» свободами и правами на них, то как раз благодаря их вознесению к абсолюту, всё, что создаётся в пределах эстетики, тут же и портится. А что ещё хуже, мы стали нетерпимее к

любым замечаниям относительно предметов искусства.

Любому несогласному, если он сунется сюда со своим непохожим мнением и попробует заговорить об искривлениях в сфере оценок, об обмане, останется лишь стушеваться под напором оценок профессионалов или политиков, почему-то слишком уж часто оказывающихся «правыми».

У современных скульпторов, – отмечалось в комментарии о содержательности одной из недавних ежегодных российских выставок ваяния, – невозможно выделить какую-то общую тенденцию. Царит свобода формы и темы, художник творит что хочет.

(Из периодики).

Обман такого порядка оставляет обычного зрителя или читателя в круглых дураках. Ведь тут (имея дело с «освобождением до конца») нет простых способов что-то оспорить, чего-то потребовать, чему-то возразить.

С этой задачей не справляются и специально подготовленные толкователи, искусствоведы. Роль их почти до основания истёрта и изувечена. Преобладает замшелая угодливость перед авторскими объяснениями самих себя и их творений, перед их творческими амбициями, какие б те странными ни были.

Создаются условия для постоянного воспроизводства искусства без искусства. В нём если и есть художественное на-

чало, то лишь в самом простом, примитивном виде, когда произведения могут называться художественными, а на самом деле относимы лишь к областям декора и бесхитростного украшения.

Широкий ход такому творчеству дан при оформлении производственной обстановки на промышленных предприятиях, разного рода витражей, выставок, сценического антуража в театрах, простого уличного благоустройства и проч.

Конечно, всё это связано с необходимостью создания окружающей нас комфортности, но что касается настоящей роли в этом художника, раскрытия им его потенциала или дарования, то говорить о них остаётся только в предположении, – что они, разумеется, должны иметь место; выходит же так, что они обрекаются на исключение.

Высокое художественное образование, которое сегодня получают молодые люди, к делу не прилагается. Их участь – не творчество, а несложная с точки зрения академизма оформительская работа под чей-то отраслевой или индивидуальный заказ.

Глядя на их «успехи», им легко следуют любители, непрофессиональные творцы, действующие кто во что горазд. В соответствии со спросом появляются разного рода учителя-мошенники, предлагающие курсы постижения того или иного искусства всего из нескольких уроков-занятий, а то и – одного-единственного.

При столь заманчивой перспективе приобщения к эсте-

тическим высотам произведения «художественного» творчества «сыпятся» из рук и умов энтузиастов не только десятками, но и сотнями, даже тысячами. Тут и живопись, и скульптура, и ковка по металлу, графика, стихи, музыкальные опусы, да чего только нет.

Самовыражение подстёгивается разнузданным пиаром, и, как результат, плоские, никчемные произведения создаются в большом количественном излишке, их часто некуда деть, негде выставить, чтобы показать. Активно задействованы в этом энергичном и достаточно шумном процессе не только взрослые, но и дети, даже малолетки, едва ли не с момента рождения...

Не видя выхода из такой всеобщей вакханалии, профессиональные художники и деятели искусства вынужденно уступают высоким принципам их творчества. Обстоятельства заставляют их бунтовать против серости, против участия в создании массовых поделок на свой, житейский лад. Здесь их желания прямиком устремляются к тому, что всемерно и всюду поддерживается на властных уровнях, к тому самому – к абсолюту.

Свободное творчество без краёв и границ – это совершенно закономерный итог, если говорить о поисках, о реализации искренних замыслов и надежд всеми, кто склонен к творчеству, в том числе – к любительскому, – когда этому не соответствуют обстоятельства. Выражаясь по-простому, здесь каждому уготована доля изгоев.

Государства, увлекаемые розовыми отсветами хваленной либеральной демократии, гарантируют свободу художественного творчества в своих законах и нормативных правовых актах, не заботясь о том, куда такие установки могут приводить.

Тем самым и они, и управляемые ими общественные слои и отдельные индивидуумы ошибочно ориентируются на запредельное, где понятия об эстетическом творчестве и его достоинствах теряют всякий смысл, обрекая создаваемые творения на полную безликость. Также нет там места и гармонии, о которой загадывал выдающийся грессмейстер. Осознания столь бездумного продвижения к «лучшему» будущему в сфере прекрасного, кажется, ни у кого пока нет.

Примером, где очевиден лукавый взгляд на абсолютное, можно отыскать и в такой непростой для нас отрасли, как приобретение собственности. Частная собственность, как идея капиталистического производства и образа жизни, – священна и неприкосновенна. В государственных законах она провозглашена как неотторгаемая. А насколько оправдана при этом свобода предпринимательства? Ведь нигде не говорится о её пределах.

Внимательный взгляд на эту проблему необходим, поскольку она теснейшим образом связана с нашим естественным правом. В нём, как мы уже отмечали, хватает такого, о чём лучше бы не знать и не помнить. Видимо, не будет большим преувеличением, если сказать, что там, где речь заходит

о собственности, не обходится и без жадности. Да, именно той хорошо чувствуемой нами потребности иметь свои вещи, деньги, строения, транспортные средства, бытовой комфорт и проч.

Откуда появляются миллиардеры? Нам часто приводят сведения из их налоговых деклараций и говорят, сколько тот или иной миллиардер заработал в последний год. Это он заработал? Почему же столько не получилось у многих миллионов других людей, в том числе у предпринимателей, хотя все они живут по законам свободы и работают?

Прояснить загадку позволяет детальное рассмотрение понятия жадности. Оно имеет этический окрас в том смысле, что всегда и всюду люди относились к нему с подозрением, осуждающе.

Хотя издревле «случались» крезы и подобные им богатеи, наживавшиеся на войнах и нещадной эксплуатации подневольных, но ни единого раза в истории жадность не могла провозглашаться в качестве ориентира даже отъявленными могучими грабителями.

Понятие о ней, как и она сама, как термин, не проникали и в законодательные установления, поскольку все видели в них нечто противоестественное, не способное «работать» в публичном правовом пространстве.

Не находилось и какого-то верного средства препятствовать их наличию в человеческом сообществе. Все знали об

их пагубном воздействии, о свойствах провоцирования ими отъёма собственности, но исключить их из обихода не представлялось возможным. Такова уж природная сила этого естественного нашего чувства. Оно мерзостно и всегда при нас.

Государственным образованиям, когда они решали вопросы эффективного управления народами, эти положения оказались на руку. Не поддающуюся урегулированию ипостась взяли в помощники. Правители поняли: можно быть жадными до беспредела и не нести за это никакой ответственности ни перед кем. И здесь речь шла уже не только о накопленных вещных богатствах; сюда включались покорённые территории с их природными ресурсами, обращённые в рабство люди и т.д.

В определённом смысле жадностью, как и войнами, часто подстёгивался процесс общественного развития, но ни одна человеческая цивилизация на земле так и не сумела преодолеть этой напасти, выставить ей преграду.

Традиция из прошлых времён укоренилась в последующих поколениях, причём она хорошо соответствует ходу вещей и в условиях провозглашённой социумной свободы, принципа освобождения «до конца».

Их поборники предпочитают помнить об этой каверзной «штуке» с неохотой. При этом даёт себя знать то, что любое государственное образование есть одновременно выразитель неписаного корпоративного права, о чём мы сообщали вы-

ше. В таком качестве ему свойственно допускать послабления, связанные, в частности, с жадностью как преступлением. За неё впрямую не наказывают, и даже почти совершенно исключено публичное информирование о случаях её проявляемости.

Суды также практически не оперируют этим понятием. Как раз то, что и нужно, чтобы день ото дня «увлечение» жадностью восходило к новым высотам.

Вспомним хотя бы массированные протестные события в Казахстане в самом начале 2022-го года. Поводом, как известно, стало двойное увеличение цены на газ для автотранспорта. «Копнув» это место, администрация страны уличила в ценовом сговоре сразу 180 газовых компаний. Из них только в одной Мангистауской области, где вспыхнули протесты, их оказалось 85!

Ранее, в 2008 году, в России Путин, председатель её тогдашнего правительства, на совещании по металлургии вынужден был впрямую затронуть вопрос о жадности бизнеса, сославшись на факт продажи отечественного металлургического сырья за границу по заниженным вдвое ценам по сравнению с ценами внутри страны группой «Мечел». В очередной раз он же, Путин, уже в качестве президента России, коснулся неоправданного подорожания в 2020 году, на этот раз – продуктов питания, в том числе хлеба и макарон – при собранном рекордном годовом урожае зерна в стране.

Прямым текстом говорил в том же году о жадности биз-

неса председатель правительства РФ Мишустин. Жадность представителей рынка, – подчёркивал он, – стала причиной необоснованного роста цен на продовольственные товары.

Многочисленные предпринимательские компании удостоились ненависти населения за оставление ими прежней высокой цены за товары при уменьшенных объёмах упаковок, бутылок, банок и другой тары. Процвечают массовые поборы с клиентов аптек и медицинских учреждений, с родителей и студентов в школах, вузах и сузах, с граждан пожилых возрастов при оказании ряда других услуг, не исключая государственных.

В целом ряде стран, где настоящим бичом становится высокая инфляция, активно приживается обычай, при котором торговые сети, как правило, безо всяких расчётов и обоснований «подтягивают» свои прибыли к инфляционному уровню.

В России в связи с проведением ею специальной военной операции на Украине и резким падением её национальной валюты на начальном этапе этого мероприятия цены в соответствии с уже укоренившимся здесь чёрным обычаем резко были подняты сверх промежуточной инфляции, но когда рубль укрепился, торговцы в подавляющем большинстве, кажется, даже носом не повели, чтобы сбросить цены соответственно обстоятельствам. Это их одолела она, та самая, неискоренимая жадность.

Дело дошло до того, что под слёзы даже гигантских кор-

пораций о снижении их доходов и невозможности работать себе в убыток государства выделяют им соответствующие по величине субсидии «на поправку». Нигде только не слышно голосов об уменьшении обусловленных количеством акций ставок и бонусов членам правлений и акционерных советов компаний и корпораций, хотя в нередких случаях речь идёт о миллиардных суммах «заработанных» средств и поощрений.

При таком порядке вещей становится хорошо понятной перспектива непрерывного передела собственности, когда прирастает фаланга миллиардеров и их могущество, а средним и низовым народным слоям достаётся всё меньше. К разрушению этических ценностей путём повсеместного допуска неограниченной жадности, как видим, в наибольшей мере прилагают усилия не какие-то отдельные злодеи-индивидуумы или «плохие» люди, а главным образом государства – поощряющие низменное в человеке. И всё это под тем же лицемерным лозунгом о свободе для всех и во всём – в её неразбавленном, не ограничиваемом виде.

Государствам есть все резоны упрятывать за их молчаливым признанием право на абсолютную свободу в приобретении благ каждой личностью – нормы сомнительной уже только тем, что на всём протяжении истории капитализма, да и предшествующих ему формаций, богатеи, купаясь в роскоши, оставались совершенно безучастными и неотзывчивыми к судьбам бедных и нищих. Указанное право де-факто уза-

конено, хотя распространяться о нём не принято.

Здесь – табу.

Точно такое же, каким мы сегодня прикрываем наличие рабства, в том, разумеется, его качестве, когда человек, будучи свободен по закону, ради получения средств к существованию вынуждается добровольно идти в наём, в услужение хотя бы к кому, порою соглашаясь даже на минимальную оплату своего труда.

Изложенное в данном разделе обязывает ещё раз особо оговориться по «предмету» бескрайней свободы в её соотношении с реальностью в целом. Нельзя не подчеркнуть: как «вещь», обладающая субстанциальностью, свобода требует изучения и использования в виде положительного или негативного фактора нашего бытия никак не в абсолютном, а исключительно в конкретном значении, как бы она, эта «вещь», ни была велика или мала в наших представлениях, то есть – на самом деле.

Что при этом важно иметь в виду?

Благодаря своей выделенности из животного мира человек освобождался довольно легко, покоряя природу и обретая культуру общежития. Для него это – положительное, благо. Но его свобода окуплена ценою тех «потерь», которые по его немилости или точнее: по его вине имеют место в природе, а также были «необходимы» в прежних поколениях или даже в прежних поступках его самого. Цивилизованным он стал через посредство свободы, отграничиваясь ото всего,

что для него неприемлемо, и устремляясь к дальнейшей своей выделенности, свободе. . .

Некое осознание довольства нашей свободой хотя и приходит ввиду нашей «независимости», но это – иллюзия.

Для того, чтобы наступила независимость в её достаточной полноте, нужно, чтобы никогда не существовало «норм» или ограничений, которые преодолевались в прошлом в процессе освобождения.

«Иллюзорность» тут состоит в «забывании», что ограничения всё-таки имели место и в своё время удерживали свободу, а нередко были и слишком строгими.

На зыбкой основе такой «забывчивости» размещено, в частности, право наследования собственности, в пределах которого будто в никуда уходит вина старших поколений, когда ими бывали допущены противозаконные или, другими словами, преступные приобретения. Такие ведь случались в огромных количествах и масштабах – по результатам грабительских походов, завоеваний, обмана, той же коррупции и проч.

На молодую общественную поросль эта вина уже не переходит, что представляется формулой во многом искусственной, из-за чего о ней, кажется, никогда не прекращались горячие споры и ею то здесь, то там постоянно порождались и порождаются нешуточные коллизии.

При том, что это установление выполняет роль своеобразной центральной оси в механизме всемирного передела соб-

ственности, избыть его невозможно ни под каким условием. Ведь управление наследованием размещено в одних и тех же границах с общей правовой оценкой любых человеческих деяний, когда они рассматриваются в поколениях, в том числе на принципах «чести» (справедливости).

То, что «забылось», нельзя, конечно, не принимать в расчёт, ведь за ним тянутся многие нежелательные последствия для живущих и будущих потомков.

Людям просто не оставляется надежды когда-нибудь уйти от ошибочных искривлений права и связанных с этим неразберих и конфликтов. Свою ущерблённую цену всегда вынуждена иметь и «независимость». С фактором «наращивания» свободы, стало быть, теснейшим образом увязана и всеобщая правовая ответственность «за былое», гениально интерпретированная религиозными конфессиями в понятии о неизбывном «грехе».

В юридическом плане такой ответственности должно быть тем меньше, чем могли быть меньшими выявляемость и справедливое рассмотрение противозаконных деяний или нормативов этики в предыдущих поколениях. А, значит, речь должна заходить также о достаточно больших «наслоениях» «вины», теперь уже – как наличности того или иного общества или даже всего человеческого рода.

Такова-то реальная подоплёка социального прогресса, в виду которой каждый из нас оказывается на всё более высоких ступенях выделенности, цивилизации.

Благодаря презумпции невинности отпрыски именно от прошлого получают подавляющую долю их независимости, и, значит, свободы им немалой частью также добавляется автоматически...

В целом же процесс «распределения» «вины» («греха») как бы «уравнивается» тем, что отпрыскам уже самим предусмотрено освобождаться дальше, устремляясь к абсолютной свободе, куда конкретное движется хотя и вперёд, но одновременно и – вспять, – вбирая в себя противоестественное, абсурдное...

Соответствующим образом освобождение должно проявляться вне человека, в той неживой и живой природе, которую можно обозначить как «остальное». Тут у свободного тоже единственные «рамки» – ограничения, а единственное отличие этого процессного состояния в том, что оно никем пока не может быть осознано, кроме как человеком.

Свобода здесь как бы «спящая», «ждушая» её осознания – ею самой. Она для неё «нейтральна» и «невидима». Её «проявление» совпадает с темпом или скоростью внутреннего развития чего-либо, когда речь идёт о «накоплении» там перемены или о превращении в новое качественное состояние.

6. ИНФОРМАЦИЯ И МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оба эти понятия всем хорошо известны и употребляются

повсеместно и широко. Здесь наш интерес к ним связан с тем, что ими обеспечивается государственный и общественный плюрализм, а в его пределах становятся возможными свобода суждений и её суррогат в виде свободы слова.

Смысловое отличие обоих понятий в значительной части кажется несущественным, так что мы в своём большинстве не прочь посчитать их одинаковыми или совсем близкими к этому. Дело, однако, меняется, когда ими начинают манипулировать при разработках правовых документов публичного характера.

Мы уже касались предмета информативного в понятиях материального и духовного, в том числе – при «выносе» этих двух понятий в область абсолютного, и приходили к заключению, что и для первого, и для второго обладание информативным является фактором их реального наличия в окружающем нас мире, а также – возможностью получения нашего о них знания, хотя бы крохотного.

То, чего мы не знаем совсем (или – пока не знаем), никак не укладывается в нашем сознании, ведь «там» нет ни формы, ни содержания.

По своей же природе информативное в обоих случаях – и в материальном, и в духовном – совершенно одинаковое; – ни в одном из них оно не имеет отличий.

Понятию информации всегда придавалось огромное значение в условиях существования государственных образо-

ваний. И всегда определяющей здесь была и остаётся потребность в наиболее эффективном её урегулировании – для обеспечения функций того или иного режима государственности.

При этом редко обходилось без противоречий по части использования информации – в её разнообразных видах и значениях.

Шли, как правило, не от бытующей в обществах и в народах единой системы взглядов на этот простой и в то же время очень сложный предмет, а выбирали собственные, по своей сути корпоративные его истолкования и правила использования, руководствуясь принципами чистого прагматизма или – целесообразности, – политической, духовностной, экономической, какой-то ещё. Тут уж было не до изящных и чётких дефиниций, объяснений подлинного смысла информации. Годилось то, что к моменту оказывалось под рукой у законодателей.

К примеру, в России оно выглядит так:

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Этот норматив закреплён в п.1) ст.2 закона РФ от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

П.2) той же статьи 2 в этом правовом акте изложен в такой

редакции:

информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Ранее, с 1995 года, в стране действовал закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации», где в ст.2 также приводилось обозначение главного в нём предмета:

информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления.

Стоит обратить внимание на окончания формулировок в начальных пунктах ст.2 ныне действующего и предыдущего законов: они совершенно не отличаются одно от другого. Это – чёткий, недвусмысленный указатель на их «подчинённость» задаче управления информацией – как ресурсом, важным и необходимым для государства.

А как же быть населению, народу, гражданам страны, чьи интересы в отношении информации требовалось отразить в правовом аспекте? Ответ на этот вопрос дан в конституции РФ.

В ч.4 её ст.29 записано:

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

Приведённая формула побуждает каждого россиянина исходить из его естественного права свободно пользоваться информацией в её самом широком, универсальном, общем, а также и конкретном смысле, – хотя она и оставлена без дефиниции – обозначения сути называемого предмета.

Указать на уклон от дефинирования – на это очевидное конституционное упущение – несколько не лишне; ведь мы убедились, что в обоих прикладных (рядовых) законах, на которые мы только что сделали ссылки, речь шла об информации иного рода – как специфичном государственном ресурсе. Его имеется в виду предоставлять («кому-то и кем-то»), удовлетворяя тем самым конкретные государственные потребности. Дефиниции там хотя и есть, однако не ясно ли, что они не могли иметь своей действенности в конституционном поле? Там нужна бы другая, более полновесная...

При её отсутствии не может не возникать сомнений и в формулировке ч.4 ст.29 конституции РФ в целом, и в закрепляемой этой частью основного закона прописи манипуляций с предметом информации – как объектом гражданских прав.

Достаточен ли установленный перечень?

Дело в том, что на практике информацию приходится ещё запрашивать, создавать, проверять, накапливать, хранить, приводить в систему, дарить, утаивать, опровергать, продавать, использовать в процессах обмена, в просветительских целях, как рекламу и т. д. Некоторые из этих возможных действий учтены в законе № 149-ФЗ. Однако полной раскладки понятия информации в нём, как и в законе от 1995 года, не дано.

Ведь нельзя не учитывать ещё и её «скопления» и постоянного пополнения в таких областях человеческой деятельности как наука, культура и искусство, технологии, в отраслевом развитии, в административном и бытовом обиходе и проч, – поскольку брать оттуда, как и из других её «разливов», необходимо постоянно если и не каждому, то очень многим, и в ряде случаев – едва ли не на каждом шагу.

При такой массовой и неотложной необходимости в ней могут ли быть уместны опции в гражданском обороте, не получившие отражения в законах, – когда нам вроде как предписано «не выходить за рамки»?

Законодателей это расхождение в обозначении сути информации и в её классифицировании и в пользовании ею, скорее всего, беспокоило мало. Понятно, почему. В их намерения входило установление нормативов, при которых специфичный информационный ресурс мог бы и должен служить для обеспечения конкретного вида государственности

в стране. То есть – они решали свой, «узкий» вопрос.

В ч.1 ст.5 закона РФ № 149-ФЗ об этом записано:

Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений.

Об её признании вне государственных правовых отношений слов не нашлось, чего, разумеется, нельзя принять, имея в виду совершенно не регулируемую с земли государственными законами информацию, посылаемую вкруговую от себя солнцем, распространяемую и постоянно получаемую им и другими телами нашей галактики и межгалактического пространства и проч.

В «зауженном» виде с информацией обращаются не в одной России.

Возвращаясь к теме о неполноте правовых начал государственности в их сравнении с правом естественным, общечеловеческим, действующим на всех широтах и меридианах земли, следует сказать, что в целом корпоративный подход есть ипостась или показатель его системной и заведомо неизбежной управленческой ограниченности.

Универсальный же характер наличия информации в окружающем мире, как данности, которая находит частичное выражение во всеобщем естественном праве людей, отодвигается в сторону и вне всяких сомнений – по причинам, не

вполне объективным.

Мы здесь должны говорить не только о человеке, о людях, способных осознавать информацию и пользоваться ею в том её качестве, когда они сами дали и продолжают давать индивидуальные языковые обозначения всему, что стало им известно.

Свои принципы её использования есть и у животных. Информацией о пространстве и препятствиях на пути пролёта, безусловно, не могут пренебрегать летучие мыши. Её некие аспекты закреплены в лае собак, мяуканье котов, рыке львов, ржании лошадей, пении и щебетании птиц. Даже немые рыбы находят возможным так строить своё поведение, чтобы при этом уже с первых минут их жизнь была по возможности максимально защищена и они могли бы общаться в их видовых анклавах. Наличие и действенность информации здесь вряд ли бы кто мог оспорить.

Живое» восприятие информации – это то многое, что фиксируется зрением, слухом, обонянием, вкусовыми рецепторами и всей сложной системой ощущений и реагирования, причём не только наших с вами; – аналогичное наблюдается и в животном мире.

Устройство общественной жизни на прочных правовых основаниях, к чему подошла современная цивилизация, требует также не уклоняться от вопросов, хотя и связанных с понятием информации, но до настоящего времени оставляемых за пределами кропотливого законотворческого процес-

са и даже – научных исследований.

Речь о наиболее, пожалуй, существенном – о потреблении информации.

Когда в законах закрепляют опции получения информации или доступа к ней, то о следующей за ними – потреблении – умалчивается, будто позволено обходиться и без неё. Надо ли говорить, что тем самым людям, гражданам в значительной доле отказывают в их потребительском праве, а, кроме того, как бы повисают в воздухе опции, не только отдельные, но и все, сколько их может устанавливаться в государственных правовых актах, если в них говорится об информации.

В самом деле, что может означать «получение», если оно не продолжено «потреблением»?

Мы ведь хорошо знаем, как всё складывается в мире обычных товаров. Любые манипуляции с ними, включая допроизводственные, а также их получение производителем или потребителем, имеют целью употребление. По такой вот закономерности: искать (сырьё) – чтобы его найти и употребить; затем употребленное (в каких-то последующих целях) переработать, чтобы употребить на продажу; готовое изделие закупается оптовиками, чтобы опять же употребить, сбывая его розничной сетью; и простой покупатель приобретает его, естественно, чтобы употребить.

А разве употребление не имеет своей действительности в пространствах, где воздействий публичным правом нет?

Солнце и земля, как и все другие тела вселенной, получают информацию о естественных состояниях среды и других небесных телах из окружающего их космоса, то есть – будучи её потребителями.

Важно ещё иметь в виду, что при манипулировании информацией в государствах она хотя и не всегда рассматривается как товар, но в принципе может им быть. Так что уже только из-за этого опция потребления не должна исключаться.

О ней забыли, скорее всего, потому, что у бизнеса нет к этому интереса.

На восприятие товара покупателем, например, на жалобы о его ненадлежащем качестве, а также – требования его замены или компенсации расходов при его покупке, он, бизнес, реагирует иногда очень болезненно, стремясь не допустить снижения спроса. Когда же продаётся или покупается информация, то до фиксации жалоб на её ненадлежащее качество и других действий в защиту потребительского права на практике не доходят, хотя это и случается.

Многое решает договор и цена в нём, будь то сделка письменная или в устной форме.

Скажем, консультация юриста требует лишь согласия на неё клиента-заказчика, не более того. А что полученное и, стало быть, одновременно предназначенное к употреблению может получателя не удовлетворить сразу или позже, когда он выйдет из офиса, оказавшего услугу уже не волнует.

Заказчик же практически лишён возможности заявить претензию. Ему проще полученным удовольствоваться, помня, что спор не стоил бы его предмета.

Концептуальная же сторона вопроса здесь очевидна. Стоимость консультирования юриста на рынке услуг можно посчитать мелочью, ведь имеют место сделки и более крупные. К примеру – информация о важных секретных вооружениях, добытая разведчиками. С учётом интереса к ней государства-«получателя» её стоимость может вырастать в десятки, в сотни раз.

Понятно, что при этом исходят не из самого факта получения. Решающими становятся выгоды от употреблённого.

Как записано у классика:

Свет лишь тот, который восприят.

(Данте Алигьери. «Божественная комедия»: «Рай»,
песнь

девятнадцатая, 64. Перевод М. Лозинского).

Разве подачей информации из разных госисточников и разными способами в сторону множества её получателей вблизи и вдали от мест её «стартования» можно и ограничиться? Да, её многие получили. Но ведь не в том лишь состояло намерение подавших её. Главное в их расчётах – воздействовать на умы получивших. С тем, чтобы их знания,

мнения и настроения употребить в интересах информирующих.

Тут, как видим, целая нетронутая сфера, именуемая расхожим «воздействием». Государственное, публичное право, уклоняясь от точного знания об эффективности влияния предоставленной информацией, явно теряет в своей мощи. Неучтённого, пропущенного, практически проигнорированного уже не компенсировать никакой пропагандой, никаким воспитанием, никакими опросами...

Наши замечания, когда они касались государственных подходов к понятию информации, возможно, кому-то покажутся излишне пристрастными или даже умышленно выпяченными – как негативные, заслуживающие осуждения; но это не так. Наша цель — рассказать об информации и её месте в мире, а также о её «природных» состояниях, и она не заключается в одобрении или в неодобрении той или иной формы государственности.

Как уже было не раз нами отмечено, правящие режимы по причинам корпоративного свойства постоянно не в ладах с общечеловеческим естественным правом и даже не решаются на его чёткое официальное признание наряду с правом государственным, публичным. Что поделать: таков их выбор; но зачастую он просто несовместим с принципами общей философии, когда, руководствуясь ими, мы должны стремиться к постижению истины или, по крайней мере, –

движению к ней, – независимо от чьих-то или от своих воззрений и требований.

Не упускать из виду этого обстоятельства необходимо и при рассмотрении предмета и понятия массовой информации.

Что несут они в себе, и резонно ли было бы видеть в них одинаковое, совпадающее с тем, чем характерны предмет и понятие «обычной» информации? Или есть отличия?

Приходится, к сожалению, признать, что и здесь официальная публичная юриспруденция внесла немало своего «духа», в ряде случаев на грани путаницы, а то и бессмыслицы.

...под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы,

– говорится в ст.2 действующего ныне закона РФ от 27.12.1991 г № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Похвально усердие разработчиков правового акта, давших для его понимания указанную дефиницию. Она не повторяет специальной формулировки из закона № 149-ФЗ и утверждается как самостоятельная, не схожая с толкованием обычной информации. Однако не следует торопиться с видением позитива.

Повод для осторожности и сдержанности можно найти

уже в ст.1 закона РФ о СМИ, где пронормирована свобода массовой информации. Читаем эту запись:

В Российской Федерации

поиск, получение, производство и распространение массовой информации,

учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими,

изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации,

не подлежат ограничениям, за исключением...

(Статья приведена в сокращении).

Внимательно взглядемся в обозначения операций технологического манипулирования, предложенные разработчиками текста с целью их «освобождения». Среди них «поиск» и «получение» не могут не вызывать повышенного интереса. Они, эти два действия, размещены впереди, а не после «производства» и «распространения».

В том же порядке и те же самые действия, как мы ещё не забыли, закреплены в ч.4 ст.29 основного закона РФ и тоже – в самом начале. Но ведь там говорится об информации обычной! Будет ли правильным «подчистую» уравнивать её с массовой информацией? Если – да, как это допускается мно-

гими из нас и, как увидим далее, – законотворцами – тоже, то не резонно ли отказаться от «повторного», дублирующего обозначения, хотя оно и у всех на слуху?

Весь казус в том, что по отношению к СМИ обычная информация – это, условно говоря, только сырьё, стартовый компонент, наподобие руды при производстве металла. А массовая информация, как таковая, рождается уже не иначе как непосредственно в «недрах» СМИ, в редакциях и студиях, будучи производима в них и больше – нигде. Соответственно операции, изложенные в законе о СМИ, надо рассматривать не как гражданский, а как только производственный оборот, что далеко не одно и то же. Очень важным становится вопрос об участии в таком обороте и правах на участие. Обойтись тут каким-то общим принципом нельзя уже только из-за того, что СМИ являются и производителями, и собственниками производимого.

Можно ли представить такое, что ввиду «специфичности» массовой информации в её деловом обороте участниками в нём должны быть все члены общества, как то происходит с обычной информацией в обороте гражданском – согласно конституции? Отрицательный ответ очевиден. Сама постановка такого вопроса неуместна.

Недоумение вызывает уже то, что потребителя вынуждают заниматься поиском и получением массовой информации на той части производственного оборота, где ещё нет продукции. Не логичнее ли было бы две первые операции ста-

вить последними? Например, в виду вот такого рассуждения: Я могу (имею право), не думая ни о каком производстве, ни о каких медийных процессах, искать массовую информацию, то есть какую-нибудь радиопрограмму, газету, сайт и проч. или фрагменты их содержания, используя любой вид рекламы, википедию, услуги библиотек, советы знакомых и т. д. и если найду, то останется только по-своему распорядиться ею, заплатив, если нужно, её стоимость или приобретя без платы.

Законом о СМИ предусматривается другое. С какой целью? Равнение на конституцию? Но там участие в обороте ни для кого не ограничено, и тем самым гарантировано право на участие каждому, что совершенно справедливо. Для всех так для всех. Не будет разницы, кому, за что и когда братья. В том и свобода. Закон же о СМИ об этом не говорит. Вследствие чего я (который искал) в виде участника поиска могу только предполагаться, но реально им быть не могу, ведь по форме действие поиска для меня – не есть участие в индустрии СМИ, когда где-то мною найденное мне позволялось бы ввести в производственный оборот с надеждой иметь прибыль.

Те же последствия должны возникать с операциями «получения», «производства» и «распространения». По их предназначенности в цепочке производственного оборота ни одно из них с действиями, предусмотренными конституцией, не совпадает: из них изъята свобода для всех. И потому в

правовом отношении я (искавший) оказываюсь тем субъектом, которому загодя отводится роль постороннего. Эта же точно роль уготована всему неограниченному кругу лиц – потребителям массовой информации, которые, правда, потребителями в законе не именуются: – с опцией потребления и здесь разобраться не поспешили.

Проблема ещё более обострена тем, что свобода массовой информации гарантируется конституцией России. Об этом сказано в ч.5 её ст.29.

Что обозначает такое утверждение?

Выше мы уже останавливались на свободе, когда она способна оказывать воздействие на форму предмета или явления. Полная свобода целиком нивелирует форму, уничтожает её. Предмет или явление перестают существовать, превращаясь в ничто. Норма конституции, к сожалению, не уточняет, в какой мере свобода массовой информации прогарантирована.

Россиянам остаётся понимать её безо всяких скидок: речь идёт о мере исключительной, полной или даже – полнейшей.

За всем этим, как велит логика, должны следовать многие неувязки в толкованиях значимости массовой информации – как предмета и понятия современной «прогрессивной» юриспруденции.

Ведь полное освобождение даже по отношению к человеку невозможно, на что уж велики здесь бывают его претензии (не забудем о ст.22 конституции РФ, где закреплено: «...»

каждый имеет право на свободу...»).

Его освобождают из-под ареста, от чьей-то зависимости, от угнетения, от нищеты. Если же его освободить от его имущества, работы, от воздуха, от его собственного тела, от жизни, то он сам возопиёт от такой, с позволения сказать, свободы, не говоря уж о гарантии освобождения.

Полностью освобождённый человек был бы всего лишь фикцией, без каких-либо признаков не только человеческого, но и вещественного.

Если массовую информацию понимать как освобождённую ото всего, то это значит, что ею утеряна всякая стабильность. Нет никакой возможности разглядеть в ней форму, она – «разобрана». Это, «по результату», – «чистая» информация или информация «вообще», ничто. Кому она такая нужна? Что с ней делать?

Здоровые люди не могли бы согласиться на её такую жалкую участь.

Разработчикам конституции, если бы они знали цену своему решению о гарантии, надлежало найти обоснованное оправдание, прикрывающее незадачу. Как выходило, к этому обязывал закон РФ о СМИ, который в первоначальном виде был принят российским парламентом за два года до принятия конституции и уже тогда содержал норму о гарантии свободы массовой информации.

Безусловно, тут сыграло свою роль время, и сочинившие прикладной закон «досрочно» и в легко извиняемой спеш-

ке (при отходе от эпохи неудавшегося коммунизма) попросту доверились широко разглашённым установкам так называемой западной демократии. Злосчастная формула, если и не в буквальном изложении, то по «духу» – уж точно, была позаимствована оттуда. Видеть что-то в ней плохое не приходилось, поскольку её употребление говорило о признании Россией западноевропейского правового образца и в целом образа тамошней жизни, а заявить об этом признании всем так хотелось...

Разработчики нормы основного закона также не устояли перед соблазном выказать здесь усердие. Она, эта норма, представлялась им и нужной, и привлекательной. И ответственный шаг был ими сделан. Не учли только того, что массовая информация в её трактовке в законе о СМИ имела целый ряд присущих ей конкретных признаков. В частности, ей предписано проходить все необходимые стадии производства, получения и распространения.

В таком виде она, хотя, как и в случае с обычной информацией, – без опции «потребления», – обладала своей «вещественностью» и своим особым значением.

Каким?

Подвоха, наверное, никто даже предполагать не мог. В России в девяностые годы века, предшествующего нынешнему, разговоры о свободе и общая эйфория не способствовали тому, чтобы избежать худшего. Однако оно не заставило себя ждать.

На медийном конвейере массовая информация приобрела черты и свойства товара!

Этого законодатели предпочли не заметить. Причин же такого отстранения было две, и обе они весьма существенны. Первая: дремучее незнание сути вопроса, связанного с пониманием термина и предмета свободы; вторая: слово о товарности мгновенно отсылало бы и законодателей, и всё население страны к пониманию свободы в обыденном, практическом смысле.

Нужна ли она товарам? Движению товаров – да. Но не им самим!

Иначе надо было бы освобождать оконные рамы, домашние тапочки, танки, бронезилеты, мины, корабли, музыкальные инструменты, книги, сковородки, столовые вилки и ножи, чипы и гаджеты, ночные – извините – горшки, извините ещё – купленных и продаваемых спортивными клубами атлетов и тысячи других товаров, что стало бы праздником абсурда.

Ввиду неумеренных парламентских амбиций, а также, что совершенно не исключено, – отраслевого или иного, в том числе, скажем прямо: зарубежного лоббирования правовой нормы, российскому обществу преподнесён наглядный урок того, как можно по-чиновничьи, «просто», не считаясь ни с чем, взять да и на полную, «до конца» «освободить» предмет, как бы имея в виду сверхнеобыкновенную государственную важность этого «прогрессивного» юридического

актинга у себя в стране, а также, разумеется, в глазах мирового сообщества.

Живём по законам свободы!

Вникая в процессы сотворения и в содержание названных здесь законов, нам, как представляется, удалось установить, что и в конституции РФ, в ч.5 её ст.29, и в ст.1 закона о СМИ освобождённая массовая информация взята как бы сама по себе; – она как будто вовсе не относится к товарам. Иллюзию этой странной «игры» теперь можно, полагаем, считать устранённой, по крайней мере – в дискуссионном порядке, и в связи с этим уже определённо говорить о том, что свобода массовой информации как свобода товара провозглашена скрытно. Бесспорно и то, что она лоббировалась, – как показало время, в угоду чужим, не вполне благовидным интересам.

Если вспомнить о событиях первой половины девяностых XX столетия, когда президент России Ельцин измарал себя верноподданичеством и лебезой перед Америкой (США), а в его окружении и в правительстве РФ того срока работала не одна сотня иностранных советников, экспертов и консультантов «по развитию новой России» из ведущих западных стран, то становится понятным, откуда лоббирование могло идти основным «поток» и шло на самом деле.

История, однако, всё расставляет по местам. Нынешняя американская гегемония на земном шаре, стремление США и их союзников сотворить из России, а также ряда других

государств нечто вроде сырьевых колоний, территории без устойчивого государственного суверенитета, стремительно заканчивается. Вместе с нею должны угасать и принципы ложной западной демократии, её превосходства над миром.

Такое угасание нетрудно увидеть по эффективности правовых манипуляций с массовой информацией, на которую лоббисты могли рассчитывать. Их воззрения и соответственно консультации и предложения несли прозападную трактовку свободы этого предмета и термина и свободы в целом, но случилось то, что и должно было случиться.

Фальшивое не может быть подтверждено фактическим, реальным! Как не может и стыковаться, уравниваться с ними по смыслу.

Массовую информацию как товар хотя и возвысили бескрайней свободой, но тем самым только подтверждалось полное банкротство неуклюжих прозападных правовых представлений на этот счёт. Они, оказалось, годны лишь для произвольного манипулирования свободой где угодно, где что кому вздумается освободить.

Перед фактом очевидной фальши ещё не дошло до освобождения кем-то, скажем, луны или планеты Марс, но что опыт к тому у западной демократии накапливался, а она стоически мирилась, принимая рабовладение в США аж до второй половины XIX века, в этом сомневаться не приходится.

В её посрамление о многом должен был говорить хотя бы статус раба в древних племенах и государствах, в том числе

в Древней Греции и Римской империи. Там превращённый в раба человек мог быть продан или куплен, стало быть, он служил товаром. Свобода для него исключалась.

Замечал ли кто такую неумолимость раньше, до нынешних дней? Конечно. Тут ведь аксиома. Но демократия Старого и Нового Света с этим считаться не пожелала, как и её недалёковидные сторонники в других пределах земного шара.

В первой трети XIX века, на закате крепостного права в Российской империи, когда на её просторах ещё вовсю шла торговля принадлежавшими дворянам, чиновничеству и духовенству крепостными крестьянами, не иначе как на неё, на демократию западной Европы и США, опирался уже упоминавшийся нами Чаадаев, известный почитанием всего тамошнего. Он писал:

Посмотрите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы.

И ещё он же:

...хотя русский крепостной – раб в полном смысле слова, он, однако, с внешней стороны не несёт на себе отпечатка рабства. Ни по правам своим, ни в общественном мнении, ни по расовым отличиям он не выделяется из других классов общества; в доме своего господина он разделяет труд чело-

века свободного, в деревне он живёт попеременно с крестьянами свободных общин; всюду он смешивается со свободными подданными империи...

(П. Я. Чаадаев. «Статьи и письма». Москва, «Современник», 1989 г., в переводе с франц. Д. Шаховского и Б. Тарасова, стр. 202, 203.)

Никакие отговорки здесь не помогли бы: чёрное называлось белым. Эту устремлённость к фальши, повергающую логику и здравый смысл, не смущаясь, можно именовать как родимое пятно захваленной западной демократии, пятно, неимоверно разросшееся по её «телу» и охватившее её всю – как историческое явление.

Читатели вправе поинтересоваться: ну а что же с эффективностью? Не с той, на которую рассчитывали лоббисты, а – действительной, фактической, настоящей?

Скажем на это так: «одёжка» по «ихнему» образцу попросту не подошла к «фигуре».

Товарностью массовой информации её свобода отторжена!

Товарность остаётся с нею и продолжает быть. Никуда не подевались нормы, которыми в законе РФ о СМИ регламентировано «поведение» средств массовой информации и обращение ими с массовой информацией как товаром.

Провозглашённой же свободы нет, как нет и гарантии,

установленной конституционально. Они числятся, но их нет фактически.

И вроде бы ничего. Никакого урона ни для государства, ни для общества и народа из-за их отсутствия не случилось и ожидать не приходится. При условии их устранения из текстов правовых актов, они, акты, будьте уверены, продолжали бы работать! Не лучше, но и не хуже нынешних.

При тщательном редактировании законов не осталось бы также места подозрениям насчёт схожести массовой информации и обычной информации. Да, они схожи. А основное их различие в том, что обычная информация хотя и не всегда обладает товарностью, но в ряде случаев товаром, как уже говорилось, может быть, в то время как массовая информация представляет собою товар всегда.

Также не может остаться незамеченным то, что нигде, никогда и никем не делалось попыток дать свободу обычной информации, объявить её освобождённой. Это бы надо ценить особо. – Промашки с массовой информацией должны стать поучительными.

Незнание элементарных истин, касающихся манипулирования свободой, как видим, соседствует со здравомыслием, хотя в целом остаётся пока неустранённым досадное «проедание» официальной, государственной юриспруденции.

Вот тому пример: В ст.47 уже хорошо усвоенного нами закона РФ о СМИ о правах журналиста, сказано, в частности, вот такое:

Журналист имеет право:

искать, запрашивать, получать и распространять информацию...

(Статья приводится в сокращении.)

Невинное сходство с ч.4 ст.29 конституции РФ, не правда ли? Не сказано только того, что журналист имеет право свободно осуществлять перечисленные действия.

Здесь речь, конечно, – о его работе – с целью выполнить требование редакции средства массовой информации, где журналист состоит в штате или по её поручению как штатник, – о предоставлении ей нужного «сырья».

В данном случае право исходит из наличия производственного оборота, в котором журналист участвует, то есть из его служебных обязанностей. Какая же тут свобода? Он, разумеется, не лишён и права конституционального, которым наделяется каждый гражданин страны.

Смешивая оба вида права, законодатель допускает ошибку, и она легко обнаруживается: явно неуместным в тексте закона о СМИ является право журналиста распространять обычную, немассовую информацию...

Таких натяжек в действующем правовом поле можно обнаружить множество.

Что касается опции или процесса потребления массовой

информации, их отсутствия в наличном правовом пространстве, то в целом мы здесь предпочли бы исходить из тех же замечаний, которые сделаны в отношении обычной информации. Разница если и открылась бы, то совсем небольшая.

Нельзя, наконец, оставлять нераскрытым и вопроса о количественном соотношении двух видов информации – обычной и массовой. Которой из них больше? Ну, разумеется, – первой. Она существовала изначально, выражая собою в совокупности грани всего вокруг нас и в нас самих, всю структуру и многообразие известного нам мироздания.

Массовой информации, при её производстве (по меркам вечности начатом не так давно) хотя и нельзя обойтись без обычной информации как сырья, но претендовать на своё превосходство над нею по объёму она не может. Это вытекает из того, что очень многое просто не оказывается в зонах её освещения.

Так остаётся в залежах бóльшая часть руды, потребляемой металлургией, и даже при заявленной (позволим себе такое предположение) полной её производственной выемке из разведанных недр там всё-таки некая немалая часть её всё же останется, а, кроме того, недра постоянно насыщаются ею, принимая новые поступления из глубин земли под воздействие сжатия пластов и других гигантских природных сил...

7. СВОБОДА ПРЕССЫ И ГЛАСНОСТЬ

Употребляемые в обиходе, оба эти понятия легко ассоциируются с понятием свободы слова.

Хотят что-то сказать о свободе слова, но не впрямую, а с целью при конструировании предложений в устных речах или в письменных текстах выразиться «поярче», вот и говорят по-иному, синонимично. Не всегда при этом точно передаётся то, о чём хотелось поведать, но это и неважно, поскольку ни к какой точности «перевода», как правило, никто и не стремится.

Ораторы или авторы записей, будь то простые участники уличных или площадных мероприятий или персоны во власти, а также – в культуре, в устных «вольных» дискуссиях обычно попросту щеголяют избытком своей лексической избирательности, сознавая, что кто-то подобное делал уже до них и их все поймёт – «как надо». Семантика слов и понятий в таких ситуациях в расчёт не принимается, что вполне соответствует превратной значимости самой свободы слова, как исходной «величины», понимаемой опять же превратно.

Броское на вид словосочетание «свобода прессы» приобрело политизированный характер в связи с некоторыми препятствиями, которые чинились в отношении СМИ и журналистов за их воззренческие и творческие позиции, не совпадавшие с требованиями властей или в ряде случаев – с законами или нормативными правовыми актами. Могли быть и другие причины противостояния. Оно возникало ещё когда слово «пресса» употреблялось редко и обходились толь-

ко словом «печать». В период до изобретения радио им широко манипулировала оппозиция разных толков. Например, отец марксизма, ещё когда он только отходил от гегельянцев, считал:

...призрачны все остальные свободы при отсутствии свободы печати.

(К. Маркс. «Дебаты шестого рейнского ландтага», 1842 г.)

Уже в ту пору выбранная терминология «хромала» – из-за полнейшей неосведомлённости учёных, беллетристов и наблюдателей в том, что такое подлинная свобода. «Соединённая» с «печатью», свобода, по нашим представлениям, обозначала размывание формы у предмета «печати». Форма исчезала. Но не только та, которую «охватывался» печатный станок – символизировавший выпуск периодических изданий. В совокупности «печатью» именовались ведь и издававшиеся средства массовой информации, а также всё обширное сообщество журналистов – творцов массовой информации!

Этим архиважным обстоятельствам, конечно, никто не придавал никакого значения. Почему и стал возможен вот такой броский аншлаг, позаимствованный из закона СССР «О печати и других средствах массовой информации» – последнего правопродшественника нынешнему закону о СМИ РФ:

Печать и другие средства массовой информации свободны.

Это при ещё действовавшей в государстве цензуре – не только в отношении СМИ, но и многих других сфер общественной и частной жизни!

В полной красе здесь являло себя то абсурдное, что было закономерным при безграмотном, «слепом» обращении со свободой.

Традицию «освобождения» всего и «до конца» «успешно», что считаем важным отметить, переняли и законотворцы в новой России, сразу увязшие в сраме из-за некомпетентных воззрений по части массовой информации – как то-вара.

Приведённая формула из закона СССР была ведь, надо признать, неплохой идеологической приманкой для доверчивых политиков и журналистов, и она сильно кружила им головы даже после того, как Советский Союз перестал существовать. Многие периодические печатные издания того срока в России цепляли её на свои логотипы и в таком ностальгизированном «украшении» ещё годы спустя выходили в свет уже и при действующем законе о СМИ Российской Федерации от 27.12.1991 г № 2124-1!

Термин «печать» вследствие столь неуклюжих манипуляций с ним стоило выбросить и забыть о нём. Так и сдела-

ли. Равняясь на запад, постепенно перешли к употреблению вместо него термина «пресса». В XX веке там наравне с термином «печать» его использовали несколько шире. Замена, однако, ничего не могла исправить, поскольку речь-то шла, собственно, не о нём самом, в его предметной семантике, а об его «освобождении», то есть – о свободе прессы.

Сюда, в это розовое пространство, перемещались те же превратные и слишком вольные взгляды на предмет свободы, когда её видели такой, какой кому хотелось видеть. До сих пор такая тенденция сохраняется, в связи с чем значимость понятия «свободы прессы» постоянно нивелируется, теряет саму себя.

Здесь было хорошим разве лишь то, что его, это понятие, остереглись употребить при сотворении государственных, публичных законов и установлений. Не из-за того, впрочем, что в новую степень возводились общие представления о природе и предмете свободы. Причина гораздо проще. Она состояла в нежелании правотворцев при манипулировании свободой слова быть уличёнными в элементарной тавтологии.

Свобода прессы – тот же суррогат естественного, данного человеку от рождения права на свободные суждения, разве что она соотносима главным образом с массовой информацией. Как и свобода слова, её заменитель остаётся понятием нечётким, расплывчатым, дезинформирующим.

Несколько иначе обстоит дело с гласностью. Она тоже вос-

принимается как понятие, равное свободе слова, но со странной и нелегко разбираемой статьёй в её определении и в приложении к публичному праву.

Парочку эту часто пакуют в один мешок, до того они, кажется, близки и схожи. Такое, в частности, просматривается в названии Общественного Российского фонда защиты гласности. У него полномочия – звонить во все колокола при ограничениях или нехватке свободы слова – там или там. Однако, можно ли всерьёз вести разговор о защите разбираемого нами термина как направленном действии, если его воплощаемость не выглядит отчётливо? Ведь, как увидим далее, у гласности вовсе нет никакой предметности.

Её защита в таком случае «держится» только на голом политизированном интересе и применении.

В Советском Союзе краткая эпоха перестройки или назревшего обновления жизненных целей была эпохой одобряемого обществом притворнополитического популизма, прочно увязанного с опорой на целесообразное, «первичное» «правовое» основание в виде широчайшей гласности. Её часто уравнивали с открытостью.

По-своему задачи понимались правозащитниками – «узниками совести», как их тогда называли. В их среде было по преимуществу в употреблении словосочетание «свобода слова», хотя подразумевалась та же гласность. А когда в империи возникло новое, демократическое движение, то повсюду уже и не стремились быть щепетильными: лишь бы

шло на пользу.

Но – в самом ли деле всё то, что на практике бывает связано с понятием гласности, является её фактическим содержанием? В какой мере тут предполагается правовое и есть ли оно?

Вопросы подсказаны противоречивым, исходящим от привычного: гласность постоянно «берут» и используют вроде как штуку, данную в юриспруденции – с намерением обозначить её прикладной характер. Между тем уже в новой России родовое имя этой дамы поостереглись упомянуть разработчики и закона о СМИ, и – конституции РФ.

То есть это обозначало уже нечто принципиальное, а именно – непризнание за нею статуса, когда она увязывалась бы со свободой.

Каким-то корявым и далёким от обыденности воспринималось бы выражение «свобода гласности», в то время как гласность и без того есть ипостась, «наполненная» свободой. Той свободой, которая «предусматривалась» при возникновении естественного общечеловеческого права.

Её действие приобретает эффект оповещения или информирования, конкретно – оповещения или информирования «на слух», то есть – голосом, а также – изображением и записью. То, что оглашается или должно оглашаться, – востребовано – и кем-то одним, и многими, не исключено, что и – всеми на земле. В таком виде это понятие существует более на бытовом уровне, хотя его не прочь использовать и поли-

тики, что, как мы знаем, нередко становится участью отдельных элементов естественного права.

Возможность оглашения и реализация такой возможности есть, безусловно, фактор уже не только общественных отношений, но и – цивилизованности. Кажется значимой и любая помеха, за которой воспользование термином «гласность» и заключённой в нём сутью не представляется нам достаточно полным, каким, по нашим запросам, оно бы должно быть.

Как и «свобода слова», в её безмерной и безграничной информативности, чью функцию по нашим прихотям часто готова замещать гласность, она, гласность, будучи «выраженной» въяве (как уже выполненное «оглашение вслух», а ещё: «напечатание», «написание» и проч.), имеет строгую направленность в своём «движении» – в сторону получателя или потребителя.

В таком перемещении «от» и «до» она, разумеется, не вполне свободна. Однако в условиях жизни на началах гражданственности и использования естественных норм людям предоставляется право свободного получения или потребления того, что изрекается, показывается, печатается или пишется. Понятно, что право здесь ограничено содержанием той или иной информации – в зависимости от воли тех, кто её предоставляет.

Некто из числа индийских правителей, имя которого затерялось в дебрях древней истории, остался в памяти у по-

колений одним своим весьма оригинальным замечанием на этот счёт:

Каждое слово, вылетевшее из моих уст, уже не подвластно мне, – утверждал он, – а над тем, чего я не сказал, я властелин. Захочу – скажу, не захочу – и не скажу.

(А б д у р р а х м а н Д ж а м и. «Весенний сад»: «Заветы царей». переводе З. Хасановой. По изданию: «Антология мысли». «Суфии: восхождение к истине (собрание притч и афоризмов)». «Эксмо-пресс», Москва, 2001 г., стр. 233).

То есть – не могут исключаться положения частичной или даже полной закрытости того, что должно оглашаться, его ущемления через запреты, налагаемые от лица государства, разного рода инстанциями, руководителями или частными лицами, каждым, кто хотел бы о чём-нибудь сообщить другим.

Данное свойство к уменьшению или к свёртыванию действия оглашения широко известно главным образом как совершаемое отдельными людьми – в виде персональной внутренней цензуры или самоцензуры. Другие участники этого «процесса», корпоративные участники, упоминаются лишь изредка, и о них забывают – из-за предпочтений говорить уже не об оглашаемости чего-то, а о свободе слова.

В целом гласности, как ипостаси, впрямую обеспечивающей людское общение, оказывается, присущи признаки

очень ходового и сугубо специфического товара. Кажется, предпочтительнее было бы сравнивать её, например, с массовой информацией, свобода которой исходит, как это легко уясняется, из свободы слова. Или даже – с обычной информацией, поскольку она также может быть товаром.

И там и тут понятия даются в их обширности и запретельных объёмах. Но, скажем, если информация, в том числе массовая, в приложении к её форме делима на множество видов и подвидов (ощущения, тексты, иллюстрации, фактаж и проч.) и пригодна к восприятию лишь в таких частных («долевых») проявлениях, то для гласности какого-либо деления нет. Она остаётся в неизменной «природной» цельности, своеобразной коммуникативной «вещью в себе» и не как предмет, а лишь как средство оповещения и влияния, что навсегда и целиком освобождает её от перспективы быть кем-либо употреблённой в правовом значении.

Как раз поэтому ей и не находится места в законах, а если иногда и находится, то – по безграмотности сочинителей права.

...Но именно своей легко угадываемой нами сутью она способна быть привлекательной, поскольку нельзя отрицать, что это для обществ и отдельных людей всё же определённое богатство, такая заключённая в естественном праве ценность, для обережения которой надо, как водится у рачительных хозяев, постоянно тратиться – и в силах, и в средствах. Хотя по отношению к гласности такая одомашненная забот-

ливость и является необходимой, но правового аспекта здесь нет: товар, если он – фикция, не может ни с чем уравниваться по стоимости...

В таком случае как же бы им «пользоваться»? Здесь вряд ли найдётся ясный ответ. Неудача с наименованием Российского фонда гласности предосудительна не самим фактом, а спекулятивным подходом, когда одно с лёгкостью засчитывают за другое, схожее лишь в отсутствии конкретики и в неотчётливости, но разнящееся по существу. Спекуляций пока немало, они, можно сказать, преобладают. Вот пример:

...для нас, современников, особенно для журналистов, наступила всего лишь гласность, а не свобода слова.

(Интервью газете «Московский комсомолец» в Саранске», № от 09 августа 2001 г.)

Здесь обе ипостаси подразумеваются как бы «приставленными» к закону и как бы уравненными в их должном служении на благо кому-то. Вроде бы резонно. Нельзя ни одной пренебречь как очень важными, хотя и навязанными субстанциями общественного правосознания: без них на современном этапе не могло бы «состояться» то искривлённое фактическое правовое пространство, которое мы имеем.

Но как же тогда понимать утверждение, что свобода слова ещё не наступила (будто её и нет)? Содержанием права, то есть показателем «размещения» слова в правовом про-

странстве, является примыкающий к нему термин «свобода». Именно благодаря ему слово не остаётся нейтральным по отношению к пространству права, как это происходит с табуреткой, ложкой или подоконником.

Отрицанием «наличия» свободы слова затушёвано сожаление прагматика об её отсутствии в виде фактической выражаемости слова – в его начертании, в звуке и проч. Тем самым из правового процесс переводится в чисто физический. Где слово может быть «полновесным», «громким», «отчётливым», «еле слышным» и т. д.

Надо полагать, вовсе не в этом, уже совершенно другом смысле, отрезано, будто свобода слова ещё не наступила. Но даже такой суетливой оговоркой исправить отрезанное было бы уже нельзя: свобода слова в её «правовой» семантике остаётся непонятой и «употреблённой» не в соответствии с тем, что она есть на самом деле.

Также надо признать слишком запутанным и сказанное о гласности. Она, получается, есть, и на этом вроде как можно поставить точку. Но что означает – «наступила»? В каком наряде и где? Можно ли, ориентируясь на её искусственное «приставление» к неназванному закону, внятно говорить хоть о каком-то правовом результате, если сам предмет манипулирования ничего собою, как явление публичного права, не представляет, а из пределов права естественного по направлению к закону он передвинут совершенно произвольно? И почему – «особенно для журналистов»?

Кажется, тут уместно будет заметить, что есть ещё между нами отдельные заблуждения, равные полному проигрышу.

8. СВОБОДА СЛОВА И ВЫБОР

В духовном плане выбор есть такой активный процесс нашей мыслительной деятельности, когда практически очень трудно или даже невозможно обойтись без ранее накопленного материала, из которого следует выбирать.

Накопление нужно для обеспечения «качества» работы, и чем оно более весомо и обширно, тем плодотворнее процесс установления варианта и тем оно, установление, удаётся быстрее, что не менее важно, так как наилучшим должен быть, несомненно, выбор, выполненный не иначе как только мгновенно – со скоростью мысли.

В ещё не так уж давние времена накопление материала уже само по себе считалось делом достойным для всякого общественно мыслящего человека, поскольку это действие рассматривалось в нём как естественно желательное и, значит, определённо свободное; исходили здесь из того, что раз у человека в головном аппарате имеется и неизменно восполняется необходимый материал для выбора, то ему и пользоваться таким материалом уже не составляет большого труда, ввиду чего выбор мог даже оставаться обойдённым в интересе и внимании к нему, в том числе – в интересе научном; а основное внимание уделялось необходимости и способно-

сти накапливать и иметь материал, разумеется, ещё и – способности прочно удерживать его в головном аппарате и умело им распоряжаться в жизни.

Материал тогда называли убеждениями или системой (системностью) взглядов или ещё – мировоззрением, и каждый, обладавший этим богатством в соотношениях, близких к потребностям неизвращённого общества (если оно могло заявлять о себя таковым), заслуженно удостоивался признания и уважения сообразно тому, в какой мере мировоззрением определялся его поведенческий характер; было даже неприличным не иметь его, что придавало особый колорит общению и общительности да и всей той публичной деятельности, где для человека главной опорой должен был служить интеллект.

С того же момента, когда стали поговаривать о свободе выбора как о нормалии публичного права, положение кардинально изменилось. Скажем сразу: далеко не в лучшую сторону.

Задача изменения «хромала» из-за того, что выбор и без добавления к нему правовой свободы представляет из себя действие, свободное по своей природе. Это естественный акт, хотя и не абсолютный в его естественности, вызревающий на основаниях чувственности, желаний, воли и проч., как и многие, которые совершаются в головном аппарате, – не поддаваясь публичноправовому контролю и управлению; если же такого выбора нет, то нет и соответствующего

акта, а отсутствие последнего есть уже нечто иное, а именно: не-выбор.

Доводы такого порядка были, однако, безжалостно смяты под напором набиравшего силу политического и социумного «освобождения».

Что должно было произойти дальше?

Поскольку выбору следовало быть свободным как можно более, свободным «дополнительно», «повторно», «во второй раз», то есть как бы уже ничем не ограниченным или ограниченным только в какой-то, может быть, совсем небольшой и несущественной, скорее, в чисто условной части, то пусть он и будет таким, но зато теперь – не где-то в головном аппарате, а «в самом себе», вне связи с убеждениями, с резервом. Которым, в свою очередь, также надлежало находиться в полной независимости, то есть уже в более значительной мере свободными, чем раньше, – свободными «дополнительно», «повторно».

«Эффект» не замедлил сказаться. К убеждениям и мировоззрению интерес падал и падал. Точка здесь была поставлена заменой свободы выбора на свободу слова с одновременным закреплением этой броской свободы в государственном праве и непременно – в его конституциональной части.

Продекларированная там полная или даже точнее: абсолютная неограничиваемость предмета слова (его свобода) оказалась очень привлекательной. Прежде всего тем,

что убеждения, «утяжелявшие» выбор, «навлекавшие» на него зависимость, оказывались как бы лишними, ненужными. Они, конечно, отпадали автоматически, так как сие действие шло «вослед» и, значит, было – побочным. А основное заключалось тут в решительном «заботливо-намеренном» перечёркивании самой семантики выбора.

Он признавался неподходящим, поскольку в нём слишком проглядывал естественный, а не публичный правовой аспект. И это – вопреки изначальной природе выбора! Можно ли с помощью права публичного, государственного не допустить или ограничить его в головном аппарате? Вообще – как-то им управлять? Безусловно, нет, о чём мы уже сообщали, ссылаясь на стойка Эпиктета. В пределах естественного общечеловеческого права это признаётся неоспоримым.

Сначала популистское, а затем лоббистское и правотворческое манипулирование свободой слова как раз и было призвано прикрыть объективную невозможность управления уже вроде как былым естественным нормативом. В итоге на замену ему приходило надиктованное современной цивилизацией насилие неразборчивым и расплывчатым публичным правом.

Во имя свободы слова естественный свободный выбор, как и свободные убеждения, отправили на свалку. Однако в ходе «операции» устранялись не только они.

Ведь выбором у человека определяются не одни слова или мнения, но ещё и намерения и поступки. С их изъятием из

оборота никак бы нельзя не считаться. Особенно если говорить о поступках, значение которых каждым воспринимается в том смысле, что они «красноречивее всяких слов».

В чём изменения коснулись поступков?

Как действиям, подлежащим выбору, им вообще не оставлено никакого «своего места». Это хорошо видно хотя бы по отсутствию каких-либо соотношений между ними и свободой слова – как данностями новейшей правовой терминологии.

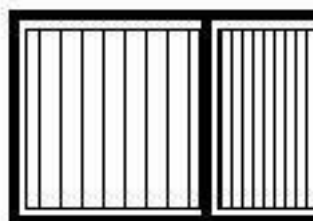
Для декларирования таких соотношений просто не подходили никакие манипуляции с правом, никакое «прогрессивное» понимание свободы.

Факт приняли «по умолчанию», между тем как зависимость друг от друга двух указанных «предметов» становилась нелепой и потому – невозможной: чтобы отдельные поступки всё-таки могли совершаться, им, видимо, нужно «быть» или «находиться» «в пределах» свободы слова, то есть – исключительно при слове, в его туманной свободе и – настолько же свободными, «развязными», полностью выходящими за рамки принятых в обществах условностей.

Графически все последствия, связанные с «установлением» свободы слова как заменяющей нормы права, можно изобразить в следующем виде:

ОО

Рис. 1



ОПС

ОО

Рис. 2



ОПС

ОО

Рис. 3

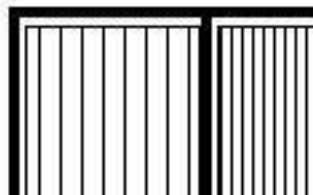


Рис. 1 – исходное положение, не затронутое влиянием манипуляций; рис. 2 – промежуточное изменение величин; рис. 3 — конечный результат изменений.

ОС – область сознания; ОПС – область подсознания; У – убеждения.

С левой стороны рисунков в сторону линии выбора АБ «устремляются» мысли, в которых содержится мотивация убеждений и выбора. Верхняя горизонтальная стрелка справа показывает «самостоятельное» «движение» реального поступка, нижняя – направленность уже реально выбранного слова (мнения).

На рис. 2 убеждения сокращены в объёме, соответственно уменьшена и линия выбора АБ.

На рис. 3 нет ни убеждений, ни линии выбора, – её заменяет точка АБ. Поступок теперь должен «раствориться» или «выразиться» всего только в слове или только через посредство слова, равно как и наоборот, что в любом случае есть абсурд.

Этим-то и завершается величайшее усмирение «плоти» выбора. – Отсюда и та совершенно «невинная» путаница в наиболее «деликатных» формах истолкований мыслительного процесса, запечатлённая, в частности, в российской конституции.

Ч.3 её ст.29 гласит:

Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

Здесь невозможно понять – что же всё-таки должно выражаться в условиях свободы слова: мнения или убеждения? И что имеется в виду под принудительностью?

Мнения – это результат проявляемости свободы суждений (когда за исходное берутся мысли), их (суждений) фактическая выраженность через посредство выбора. Принудить кого-либо к выражению мнений никак нельзя, поскольку действительность тут уже реализована; заставить отказаться от них (если иметь в виду, что при отказе от них они не перестают быть уже фактически выраженными) – тоже; можно идти вослед за свершением – например: бывает, что кого-то преследуют за какое-то конкретное выраженное мнение, то есть когда мнение кому-то инкриминируется как несообразный на чей-нибудь взгляд «поступок»; – или так же вослед из-за него (уже выраженного мнения) тому, кто по каким-либо причинам решился изложить его, опуститься до покаяния...

Что же касается убеждений, то, как и любые мысли, они естественны в условиях, при которых головной аппарат не выведен из строя или не повреждён и они должны выражаться двояко: или в виде мнений, или в виде поступков, но – опять-таки – через выбор.

Вне зависимости от «последствий» или, говоря иначе, без мнений и поступков, сами по себе, убеждения, любые, не опасны ни для кого, и принуждение по отношению к ним, насилие над ними в их «самости» лишено какого-либо смысла или интереса, а тем более – возможности.

Когда в преступных целях манипулируют сознанием и подсознанием, то преследуют цель изменить в нужную сторону не сами убеждения, а лишь поведенческие характеристики людей, «согласуемые» каждым сообразно личным убеждениям, – чтобы уже потом извлечь выгоду из получаемых изменений. – Только на такую опосредованную выгоду бывает рассчитана любая духовная или идеологическая пропаганда.

Наряду с этими пояснениями не лишне, думается, оглянуться и ещё раз уяснить, какой при свободе слова «получается» поступок. Выше мы сказали: он *теперь должен «раствориться» или «выразиться» всего только в слове или только через посредство слова.*

Было бы великой оплошностью расценивать такой «результат» как благостный или желательный. Хотя, кажется, что плохого, когда «слово» и «дело» «живут» в единстве?

Иным людям вовсе, дескать, не помешало бы «поступать» строго «по слову».

Иллюзия такой «оправданности» «результата» исчезает сразу – при необходимости его увязки с изначально свободными убеждениями. Без которых изначально свободный вы-

бор как часть интеллектуального мыслительного процесса не может быть признаваем как полноценный. Плюс к этому – полное «освобождение» слова, в котором «укладывается» мысль, а также – гарантирование его свободы.

Не принимая в расчёт этих немаловажных обстоятельств, можно вести речь о приемлемой эффективности «результата» лишь по отношению к механическому устройству, – к роботу.

Есть также необходимость повнимательнее рассмотреть убеждения или то, что от них остаётся, – когда они оказываются в «объятиях» свободы слова. В своей природной сути убеждения – это совокупность мыслей с устойчивой предрасположенностью быть выраженными в какой-то определённой семантической цельности. Если убеждений нет, то обходятся и без них. Но всё равно мысль должна располагать шансом пройти через этап выбора и воплотиться то ли во мнение, то ли в поступок. Новые условия, однако, создают противодействие этому.

В чём тут «соль»?

Если рассматривать конституционное гарантирование любой из свобод как таковое, то оно, казалось бы, должно быть направлено к обеспечению возможности выражения или проявления воли в неподсчитываемых вариантах, прежде всего – для гражданина как личности. По отношению к свободе слова об этом, например, можно сказать, что такому-то человеку не должен быть воспрепятствован выбор

им слов или целых речей для выражения мыслей (убеждений) сообразно его воле – вслух или в напечатанном или в письменном виде.

В цивилизованном гражданском обществе уже изначально такая щедрая многовариантность обязательно должна предусматриваться для каждого без исключения. Но – только для стадии выбора. На этом гарантирование свободы слова, свободы не иначе как в значении абсолютном, не подлежащей никакому и ничьему ограничиванию или контролю, должно бы и заканчиваться.

Как раз к необходимости понимать гарантию именно в таком, не расплывчатом, а в сугубо конкретном виде, то есть установленной для условий разумного практического (естественного) общения в людской среде, может быть сведено ироничное замечание талантливого родоначальника европейской экзистенциальной философии, брошенное любителям во вред себе же ни в чём решительно себе не отказывать:

...им дана свобода мысли, так нет, подавай им свободу слова!

(«Выдающиеся мыслители». С ё р е н К ь е р к е г о р.
«Наслаждение и долг»: «Афоризмы эстетика». В переводе П.
Ганзена. «Феникс», Ростов-на-Дону, 1998 г.; стр. 9).

Упрёк тут заключается в неумеренности желания – пре-

вернуть свободу слова непосредственно в слово или в слова, что, как уже говорилось нами, – невозможно. «Технология» превращения беспочвенна, поскольку нет превращения как такового. Всё сводится к тонкой софистике. Ту область, куда «попадает» слово, ложно предполагают чем-то вроде безмерного бродильного чана, в котором как по волшебству оно должно приобретать разные смысловые значения: будучи одним, превращаться во множество; ни с чем не состоять ни в какой связи и т. д. Что и следует понимать как безопорную и всепроникающую, абсолютную свободу.

Нельзя отрицать – направление тут берётся верное. Та область, куда желают переместить освобождённое слово, давно и хорошо всем известна. Это – пространство. Но то, что мы о нём знаем, уже не есть чудо, а только – знание.

В пространстве слово, как выражение мысли и одновременно как преобразованная в конкретность информация «вообще», не может не иметь того, чем всегда обладает любая кроха материального, – способностью быть и находиться в движении.

Чтобы слово изменилось, то есть приобрело другой смысловой оттенок (а это равно потере его прежнего значения и появлению нового смысла), нужна основательная причина. Пожелания тут не срабатывают.

Самой же существенной причиной или, как ещё выражаются, – «отправной точкой», можно было бы считать лишь выбор слова на «дистанции» свободы слова, исполненный

через возможность выбора, – как своеобразную «сердцевину» причинности. Свобода в виде множественности или, по-другому, – тиража, в данном случае неуместна, поскольку изображение множества (копирование) есть лишь интерпретация движения. Слову оно смысла не прибавляет.

Произнесённые, а тем более закреплённые в носителях слова или речи – это уже атрибутика «вещественная», – в виде чьих-то персональных или групповых мнений, точек зрения, «взглядов», соображений, «позиций» и проч., которые, изменяясь, опять представляют собою результат многовариантного выбора на стадии гарантированной свободы. В совокупности мнения, соображения и проч. образуют плюрализм. А при взаимном согласии людей (достижение которого часто, к сожалению, бывает делом далеко не простым) их для удобства можно скомпоновать или распределить на разряды. Из того же источника формируется и общественное мнение – как более крупная информативная «наличность» в отдельных обществах.

Прослеживая эту цепочку от самого начала, не трудно заметить: из гарантии свободы слова вроде как не могло бы истекать ничего принудительного: все, кто что-то выбирал и выбрал, целиком руководствовались только своими интересами, ни на йоту не задевая и не устраняя чужих; а из уже произнесённого или закреплённого в носителях (даже просто усвоенного), то есть – из множества мнений остава-

лось бы только умело отобрать более ценное, и оно в принципе не могло бы не быть благом или по крайней мере – желательным как для отдельных обществ, так и для их множества, в том числе – для всех их членов.

Головня головне
передать готова
пламя от пламени;
в речах человек
познаёт человека,
в безмолвье глупеет.

(«Старшая Эдда»: «Речи Высокого». В переводе А. Корсуна. По изданию «Библиотека всемирной литературы, т. 9. «Художественная литература», Москва, 1975 г.; стр. 194).

Вот как раз в таком общепольном конечном результате, в его возможности при хорошо отлаженном государственном устройстве и должен бы проявляться фактор непосредственной конституциональной действительности свобод, не исключая свободы слова, тот их не отражаемый в законах смысл (заимствуемый из естественного права), который предпочтительно иметь постоянно в виду при разработке и применении любых законов, в ходе вынесения судебных решений и в других случаях саморегулирования гражданских обществ.

Этот здравый подход, к сожалению, оказывается грубо нарушенным.

Повергая выбор, свобода слова «используется» исключительно во вред.

Как норма права, она распространяется над целой сетью сложнейших операций, призванных обеспечивать коммуникативность между людьми с надлежащим качеством и точностью, накрывая и закрывая их собою и претендуя на их вывод из реальной традиционной системы функционирования. – Конечно, это делается из благих побуждений, из устремлённости к верховной псевдодемократической «ценности» – «освобождению» «до конца». Но – что означает «исключение» выбора, нивелировка убеждений? Да то, что теперь и мнения и поступки не должны больше определяться не только естественным, но уже и публичным правом.

Поверженный выбор приводит к тотальной, крайней безответственности во мнениях и в поступках. Человеку становится не до убеждений. Там, где пьянит свобода, они «рассеиваются» и должны в целом восприниматься как не заслуживающие никакого внимания и не играющие какой-то значительной роли.

Иному в такой ситуации уже нелегко определить себя в убеждениях или в убеждённости (если он их имеет), и он называет себя в лучшем случае *как ему кажется*. Толковать о признании или непризнании чего-то в состояниях своих и чужих мыслей и чувствований ему теперь, конечно, проще, и не так уж редко он вынужден вообще не «состоять» ни в чём.

Об этом весьма, кажется, удачно выразился физик Гинзбург, академик РАН, лауреат Нобелевской премии, называвший себя атеистом:

Как вера в бога типа деизма, так и атеизм – это, – считал он, – «интуитивные суждения», которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть...

(Виталий Гинзбург. «Преподавать или проповедовать». – Газета «Поиск», 2004 г., № 11 от 19.03; рубрика: «Точка зрения»).

Мировоззрения стали простыми суждениями!

Выставил какое-то из них, и тут же передумал и с ним расстался, подбирая следующее, новое. Или хорошо подобранным, «лучшим» опрокинул, разбил то, что посчитал неверным. Конечно, полагая себя всегда правым...

А ведь так и происходит на самом деле!

Стороны, претендующие на компетентность при объяснениях мира и человека в мире, могут теперь выяснять правоту друг перед другом совершенно отстранённо. – Больше нет нужды в цельных и строгих воззренческих позициях, не надо руководиться ими в конфессиональных представлениях или в научном познании; – исключительно всюду становится возможным оперировать и всё вымерять «лёгкими», «ско-

рыми» и ни к чему не обязывающими «аргументами» – суждениями. То есть – целиком пристрастно, – в точности как то приходится делать зрителям перед цирковой ареной или покупателям перед торговым прилавком...

Новые «правила» означают, что теперь не могут существовать и обе «крайние», полярные формы самоорганизации интеллекта – светское и конфессиональное мировоззрения. Не говоря о чём-то более «мелком». И сожалеть об уроне тут уже поздно: убеждения стали не нужны и больше не могут «применяться» с какой-то сообразной пользой с тех пор как из естественного мыслительного процесса посредством сомнительных манипуляций с правом исключили возможность полноценного выбора, – с утверждением и с гарантированием свободы слова как нормалии публичного права...

И поступок, и мнение приобретают теперь полную неопределённость и как бы сливаются один в другом. – Чтобы тут мог наступить полезный эффект, нужна конкретность; – однако свободой слова (то есть – выбором безо всякого ограничения, да, собственно, уже и – не выбором) она исключается.

На практике такой «исход» оборачивается ни к чему не относимой «заумной» манерой козырять «убеждённостью». Из уст очень многих крупных и мелких управителей и функционеров, учёных и обывателей в разных странах уже несчётные разы вылетали слова: «Я убеждён...», «Я убежде-

на...», «Мы убеждены...», хотя за ними едва ли не всегда следовало самое обыкновенное, в чём совершенно не нужно демонстрировать никакой убеждённости: это обычное, «ровное», «общее», понятное всем восприятие реалий, не провоцирующее спора...

Частое употребление таких «убеждений» лишь опустошает содержательность речи или письменного текста, и тут надо уже прямо говорить о болезненном пустословии бряцающих убеждениями – родной матери демагогии...

Весьма любопытно, что уже и при некотором общем согласии землян по вопросу о недоказуемости «интуитивных суждений» в ход пускаются всё те же, хорошо «обкатанные», традиционные способы «доказывания».

Ими пока всю пользуются, в частности, исследователи, особенно в гуманитарии. В дискуссионном же порядке этот вопрос поднимается всё реже и неохотнее, поскольку в новых условиях уже не могут ничего значить любые суждения (не говоря уже о мировоззрениях). Они останутся «недоказанными», если даже по делу будет принято конкретное решение: «да» или «нет». То есть – и само доказывание начинает терять смысл...

Поставить точку может простое волеизъявление, но не по вопросам качества суждений, а в пределах «узкого» препирательства – меж- и внутригосударственного, регионального или даже местного, а то и – частного: кто кого сумеет «пережать».

В этом случае на замену суждений приходят омытые злостью и агрессивностью предубеждения – вещь опять-таки довольно сомнительная...

Уяснить, что «иного не дано», не так уж трудно. Зато намного труднее прийти к пониманию проблемы в её особой противоречивости. – Она существует в условиях свободы слова, и если принимать эту последнюю, то ей будет вполне соответствовать и манера поведения в искривлённом публичном правовом пространстве, где закреплено господствующее положение указанной свободы.

Впрямую недоказуемость «интуитивных суждений» проявляется ущербно в массовых мероприятиях и отношениях. Например, демократические выборы вовсе не увязаны с мировоззренческими особенностями электората. Обходятся только суждениями, не вдаваясь в их качество. Почему и становятся возможными «правильный» или – «неправильный» выбор, – как то не раз происходило в США, в России и других странах или в их внутренних регионах, – когда «соревнующийся» электорат практически уравнивался в численности по обе стороны от разделявшей его черты.

«Равенство» такого покроя может быть порождено только условиями иллюзорной свободы; выбор в этих условиях в целом должен признаваться «неправильным» всегда, поскольку новые пристрастия способны в одно мгновение «уронить» или вознести любую популярную или одиозную личность. При этом не исключается и появление оголтелого или – «чёр-

ного» большинства или меньшинства...

Мышление по принципу механистического действия есть, как видим, крайняя результирующая степень «освобождения» на площадке духовного. Должно быть также соответствующего «уровня» или качества и исходящее от него производное. Таковым является всё, что заключено в поступках и берёт в них начало. Где чисто мыслительная работа интерпретируется в формах реальной действительности каждой личности и целых обществ или их ассоциаций.

«Освобождённое» через насилие искривлённым правом, есть, разумеется, далеко не лучший по качеству интеллектуальный «продукт». Он обречён «проявляться» в поступках исключительно малосодержательных, «неколоритных», устремлённых нередко на полнейшую неопределённость, в никуда и ни во что.

Имеются все основания утверждать, что именно в таком блеклом «наборе» представлена сегодня деятельность той части людей, которые имеют отношение к управлению и политике и которые именуют себя прагматиками.

По-настоящему – это «объективисты», которых было много в самых разных видах во все предшествующие времена; отличие теперешних заключается разве лишь в их показной «опоре» на право с умыслом понадёжнее прикрыться.

Не имея представлений об ущербности современных публичных прав и свобод и даже не желая иметь их, они горазды

то и дело «подлачивать» свою сущность громкими рассуждениями о сиеминутной целесообразности «реального развития», из-за чего правовое, и без того хилое и случайное, повсюду приобретает ещё более выраженные несообразные формы или вообще выхолащивается.

Оно системно выхолащивается также и в законах и тем более в подзаконных правовых актах, где сущее прямо-таки должно приноситься в жертву грубой целесообразности.

Поскольку «слова» у прагматиков неотделимы от «дел», то их не может не отличать постоянная повышенная осторожность в принятии решений. Осторожность не из-за какой-то особой сложности решаемых проблем, а, так сказать, видовая.

Такие исполнители даже хорошо и всесторонне выверенный вариант не осмеливаются назвать последним и будут перебирать варианты дальше, затягивая время и тем создавая видимость «умной» работы, предельной деловой загруженности, «вечной» занятости и проч.; или же постараются увильнуть, переложив бремя ответственности на других, а то и безо всяких оснований неожиданно примут случайное и, не исключено, – худшее или даже роковое решение. И при этом свой стиль функционального поведения они, как правило, склонны считать «твёрдым», «не поддающимся», а то и единственно верным, что будто бы должно обозначать его высшее качество в областях как содержания, так и формы.

Особенно же они тверды перед оппонировавшими – как бы

те ни были правы. Тут нечему удивляться: проходя этапами «освобождения», они хорошо усваивают правила замкнутости и отчуждения.

Теперь интерес у них может возрастать разве что к обладанию новыми богатствами и благами. Да, возможно, ещё к ипподрому и другим игрищам, к обзаведению породистыми котами, собаками или другой надомной живностью и проч., – в порядке пошлой моды. – Отпадает надобность в интеллекте, а вместе с тем и в развитой чувствительности и чувственности – как в условиях для усовершенствования процесса выбора.

Насколько эти признаки духовной ограниченности присущи современным будто бы «деловым» людям, показывает их поистине масштабная отстранённость от художественного, научного и других видов творчества.

Например, за много лет практически ни один из хорошо всем известных верховных руководителей или более-менее крупных административных, партийных и прочих функционеров в своей или в других странах ни разу не сумел блеснуть на публике тонким знанием какого-то конкретного труда, литературного произведения, научной школы. Окружённые бесчисленными рядами советников, они прозябают в розовостях разного рода отчётов и докладных.

Воспринимается выходящим из этой «нормы», когда кто-нибудь из первых лиц, чиновников или предпринимателей очень редко, но вдруг заявляет о сочинённом или даже из-

данном сборнике новелл, стихов, мемуарном или исследовательском произведении.

Изначально такой «поступок» воспринимается очень многими недоверчиво: «Содержание – чепуха, и – так ли уж они сработаны лично «заявителями»?» – Не верят и в их диссертации. Надо сказать, не верят по основаниям весьма существенным: сплошь и рядом подготовкой диссертаций «в пользу» прагматиков заняты подчинённые им клерки или наёмные продажные борзописцы, не брезгающие любой спекулятивной или просто шелухливой темой.

Пусть не покажется читателям этого раздела, будто насилие свободой и форматирование ущербного публичного права в той мере, как это имеет место с учреждением и конституционной гарантией свободы слова, есть данность как бы всеохватная, под прессом которой оказывается всё в нынешнем дерзком мире на земле и – не только.

Это, к счастью, не так.

Давайте посмотрим на то, как мы вообще пользуемся инструментом выбора. Если не пренебрегать утверждением, что выбору непременно должно предшествовать установление цели, то легко обнаруживается поистине колоссальная сфера реальной действительности, где процесс выбора даже в малой части не подвержен воздействию правом государственным, перенасыщенным свободой.

Например, вы решили отправиться за покупками продук-

тов питания для своей семьи, но денег у вас мало, достаточно лишь на то, чтобы купить самое необходимое.

Вам, перво-наперво, важно установить, что вы пойдёте или поедете непременно в тот магазин или на ту ярмарку, где продовольствие предлагается дешевле. Если вы не знаете, где тот магазин или та ярмарка, вы изыщите возможность быстро узнать, где они расположены и есть ли там нужные вам продуктовые товары в данный момент. Остаётся поскорее туда добраться и закупить желаемое по доступной для вас цене. Всё. Выбор из намерения переведён в завершение.

Приходится ли вам при этом задумываться, будет ли проделанное вами соответствовать тому выбору, который вам навязан пресловутой и причудливой нормой свободы слова? Нет; в вашей голове даже мысли об этом не просквозит. И такой результат будет единственно верным, поскольку исходил он из естественной вашей свободы распоряжаться собою, своим временем и своими денежными средствами в соответствии с вашими естественными потребностями – независимо от каких-либо установлений государственного образца.

Тот же философ Кьеркегор, отдавший много творческих сил постижению и освящению природы выбора, словами одного из персонажей своих пространственных произведений на этот счёт высказывался так:

Я друг свободы, и то, что не дают вполне добровольно,

мне совсем не нужно!

(Из работы «Дневник обольстителя»).

Или – другая ситуацию. В вечернее время вы возвращаетесь домой с работы и, забывшись, оказываетесь на проезжей части, где движение транспортных средств не регулируется ни постовыми специализированной службы, ни техническими устройствами. Неожиданно вы осознаёте, что находитесь в зоне опасности и тут же принимаете решение покинуть эту проезжую часть, сойдя на обочину. Верное и необходимейшее решение. Его принимает человек, озабоченный сохранением собственной жизни. Не в силу знания каких-то государственных законов или распоряжений, касающихся его свободы, а – из естественной потребности быстрее обезопасить себя ввиду непростительной собственной оплошности.

Не думая о свободах и правах, каких в изобилии предоставляется гражданам в современных странах на заселённых людьми континентах, каждый непременно во мгновение зажмурит глаза перед яркой вспышкой света, отдернет руку, дотронувшись ею до горячей кухонной плиты, предпочтёт оказаться выше несущегося у его ног после дождя потока из воды, неких обломков и мусора.

Тут человеку не указ никакой норматив, изобретённый в том или ином парламенте. Свою прямую обязанность по сохранению жизни индивидуума в пределах его естественного выбора исполняют его инстинкты.

Выражая восхищение самой сутью естественного процесса выбора, когда люди хорошо осознают, что это такое, Сёрен Кьеркегор пишет, что он, выбор, —

...высоко подымает душу человека, сообщает ей тихое внутреннее довольство, сознание собственного достоинства...

(Из работы «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал»).

И ещё т а м ж е:

Борясь за свободу я борюсь за будущее, за выбор: «или — или». — Вот сокровище, которое я намерен оставить в наследство дорогим мне существам... Да, если бы мой маленький сын был теперь в таком возрасте, что мог бы понимать меня, а я был бы при смерти, я сказал бы ему: «Я не завещаю тебе ни денег, ни титула, ни высокого положения в свете, но я укажу тебе, где зарыт клад, который может сделать тебя первейшим богачом в мире; сокровище это принадлежит тебе самому, так что тебе не придётся быть за него обязанным другому человеку и этим повредить душе своей; это сокровище скрыто в тебе самом, это — свобода воли, выбор «или — или», обладание им может возвеличить человека превыше ангелов.

(Приводится с небольшими сокращениями).

Выбор на основе уже не разума вкупе с инстинктами, а – только инстинктов, играет существенную роль и в жизни животных.

Вам, наверное, приходилось наблюдать (хотя бы на телеэкране), как дерутся львы. Тот из них, который оказывается в единственном числе, при нападении на него нескольких особей укладывается на спину, чтобы иметь возможность одновременно поражать нападающих когтями всех четырёх своих лап.

Как изящно и точно бывают нанесены его удары по врагам (по их мордам), если те приближаются к нему и не рассчитывают допускаемого ими критического приближения! И это на протяжении времени, когда каждый удар защищающего себя – буквально в доли секунды!

Какой должна быть чувствительной и тонкой физиология животного, чтобы управляться с несчётным количеством эпизодических стадий одного, общего выбора способа вынужденной обороны, имеющего, конечно же, естественное происхождение!

Это в полном смысле слова торжество тех возможностей, какие диктуются естественными потребностями и никем не регулируются.

Нет, полагаю, необходимости перегружать наше повество-

вание бóльшим количеством примеров такой строгой закономерности и сути выбора в людской среде и в секторе земной фауны: каждый в состоянии без труда сам подобрать их и тщательно поразмышлять над ними.

Не обойтись, впрочем, только без ещё одного важного замечания. Оно касается проявляемости выбора в каждом отдельном случае.

Кьеркегор в его завещании сыну говорил, безусловно, о выборе как о явлении или процессе лишь обособленном, устремлённом на решение некой конкретной задачи при осмыслении предстоящего жизненного пути в целом.

Решение здесь предполагается исключительно верным, – когда оно полностью согласуется с правовыми нормами и публичного характера, и – этическими. То есть эти нормы берутся как ценности истинные, нисколько не ущерблённые, даже идеальные. В столь розовом виде они, разумеется, и должны бы приниматься и быть усвоенными сыном. Однако – возможно ли такое?

Выбор и необходим-то в силу наличия вариантов, которые возникают всегда. Если их нет, исключается основа для выбора.

Стало быть, с ним, выбором, люди (а также и животные) имеют дело лишь в конкретных обстоятельствах, никак не иначе.

Скажем, человек находится иногда в таком состоянии покоя, когда мысли у него пребывают без движения. Это воз-

можно в тех, например, случаях, когда он по своему желанию или медитируя по чьей-то команде как бы отстраняется ото всего.

Тут выбирать совершенно нечего, – пока его сознание не будет «встревожено» и не появится хотя бы единственная мысль, хотя бы о чём. «Прогнав» её, человек опять возвращается в прежнее состояние, но обходиться при этом без выбора ему уже нельзя. – К нему понадобилось «обратиться» под воздействием нового обстоятельства – в виде появившейся мысли, – серьёзнейшей альтернативы предваряющему ей покою в мозговой сфере.

Нечего и говорить, что альтернативным может оказаться и намерение человека не возвращаться в прежнее состояние.

Если возникает другая, следующая сразу за первой мысль, их обладатель волен ради того, чтобы испытывать состояние покоя, избавиться от неё (первая сама уступает ей место), опять же посредством выбора. Также и здесь ему не обойтись без него и при решении о выходе из состояния покоя. Это – строгая закономерность, и с нею не считаться никому невозможно.

Она подсказывает, что понимание нами сути выбора, как процесса, не должно зауживаться искусственно – через декларирование его «использования» лишь в некоторых, отдельных обстоятельствах, как при той же необходимости для ещё не взрослого сына известного философа самому по мере взросления сделать безошибочный выбор в отношении сво-

его будущего.

Приведённые образцы поступков, вполне для нас естественных, обязывают также заострить внимание на то неумолимое действие закономерности, когда мы вынуждаемся обращаться к выбору едва ли не на каждом нашем шагу, при каждой, даже крохотной перемене в процессе нашего мышления.

Он исключён и никоим образом не стимулируется только в те временные отрезки, где сознание по нашей воле «устанавливается» на одной «точке» и вовсе не движется.

В то же время было бы опрометчивым заявлять о полной «нейтральности» нашего ума в состоянии сна, – пусть оно, такое состояние, зависит только от нашей регулярной потребности в полноценном отдыхе или в редких случаях бывает навязано через манипулирование нашим сознанием в сеансах гипноза или им подобных.

Каждый ведь знает: наше сознание даже в снах бодрствует, в каких-то «своих» «интересах» перебирая и сортируя усвоенные из реальной действительности знания и впечатления или работает на опережение, создавая фантазии...

9. СВОБОДА И СУЩЕЕ

Обычно в явлениях и вещах, когда из них устраняют наиболее существенное, находит прибежище и «укореняется» та свобода, в связи с которой незаметно исчезает её обуслов-

ленность. Если выражаться проще, уже в самом наличии свободы есть то, из-за чего сущее в явлениях и вещах теряет себя и, – бывает, настолько, что оказывается неразличимым для сознания.

Подтверждением этому могут служить результаты проявляемости в социумах уже не раз удостоенной нашего исследовательского интереса и внимания свободы слова.

Будучи броской по звучанию и как выставленная на вид посредством неумеренной политизации, данная двухсловная грамматическая конструкция, казалось бы, должна в любой момент вызывать в сознании чувство некой неустранимой и осязаемой едва ли не на вкус реалистичности слова – того предмета, который призван быть воплощением мысли. Однако действительность опрокидывает столь трезвые ожидания. И не у кого-то, кто в силу своих слабых интеллектуальных возможностей просто не умеет решать задачи подобного рода, а – у всех.

Слово, «обложенное» свободой, нелегко воспринимается – и единицей словарного состава, и как термин, «призывающий» к общению. Что бы ни взять, как бы ни подступаться к его конкретизации, результат оказывается тот же.

Наше полное разочарование усиливается ещё более при «взгляде» на мысль, из которой слову предстояло «выйти». Не тот ли здесь обыденный случай, когда, став изречённой, она «передала» слову слишком много лжи? Об этом нет предположения у Тютчева в его широко известной сентен-

ции, на которую мы ссылались в одном из начальных разделов этих записок. Но – такое предположение уместно! Ведь и мысль тоже, как и слово, в избытке одарена свободой, и она, её свобода, также, как и по отношению к слову, прогарантирована во многих конституциях.

Таким образом, наше пожелание дойти до истины обречено оставаться неисполненным. И дело тут не в недостатке желаний или в ущербности нашего интеллекта.

Свобода – настолько мощное средство, что ему по силам разрушить самоё сущее, которым заявляет о себе любое из того, что становится нам известным в окружающем нас реальном мире и в нас самих. Став игрушкой коллективистского разума, она получает некий зловеший импульс и превращается в опаснейшее орудие, готовое истолочь и развеять всё, что попадает в поле его воздействия.

В полной мере представляются теперь очевидными заблуждения, согласно которым люди взяли и освободили такие близкие всем понятия, как слово и мысль, ориентируясь при этом лишь на политические амбиции, на свои лёгкие истолкования категории свободы, на собственную уверенность в том, что стоит захотеть что-то освободить и уже никто не должен этому препятствовать.

Постоянные и неубывающие «проколы» со свободой слова и свободой мысли, их остающиеся неуточнёнными и навсегда оторванными от практики сущности заставляют снова и снова обращать наше внимание к способам грубого ма-

нипулирования свободой, когда в её основу кладут соображения момента, чьей-то выгоды, а в конечном счёте, – замшелого прагматизма или – элементарной целесообразности.

Разве не может теперь не вызывать глубоких сомнений сам нелепый подход к «освобождению» слова – в то время как тем самым оказывается поверженной его природная суть? Если не забывать, что для него, слова, ещё до его «рождения», удобнейшим лоном должна была являться мысль, то становится легко различимым тусклое блудливое намерение манипуляторов: освободить его уже и там, в этом лоне. То есть – одновременно и вне головного аппарата, и внутри его!

Мысли «досталось» тут не меньше, чем слову: в ней, «освобождённой», также убыло её сущности, – до той убогой степени, когда, как и в случае со словом, она, утрачивая конкретные признаки и практически перестаёт восприниматься сознанием, то есть – оказываясь полностью потерянной. Вовсе незавидная участь!

Подтверждением этому является то, что даже при гарантировании со стороны публичного права свобода мысли остаётся, как и свобода слова, совершенно незащищённой. И к ней также невозможно подобрать никакой дефиниции.

Ни один независимый суд ни в одном государстве мира не рискнёт рассмотреть дело о чьих-то посягательствах на неё, её нехватке кому-либо и т. д. и даже не примет искового заявления, не забывая о правовой несообразности указанного термина. Помните – мы то же самое утверждали в отноше-

нии свободы слова?

Да и вообще – разве была хоть какая-то доля благоразумия в провозглашении свободы для мысли и слова? Той свободы, которая – абсолютна? Ведь упомянуть о каких-то её ограничениях законодатели попросту не имели в виду.

Их невнятный умысел здесь нельзя не рассматривать как очень странный. Ведь если взять слово, то ещё до его «рождения» оно испытывало определённую зависимость, находясь в лоне мыслительного процесса. Также не могло оно быть абсолютно свободным и вне головного аппарата, на что указывают хотя бы возможности широкого манипулирования его свободой в интересах политиков и прагматиков.

Массой зависимостей, в том числе тех, о которых наука ещё мало что знает, сопровождается также проявление и бытование мысли.

Имеет особое значение, в частности, «установленная» её размещённость в ряду других мыслей в головном аппарате: не может «выйти вперёд» и быть реализованной ни одна из них, пока здесь, «впереди», находится и «живёт» другая и единственная в данное мгновение; иначе говоря, сменять друг друга они обречены последовательно, ни при каких условиях не совмещаясь одна с другой.

Только в этом случае каждому из нас даются полноценное осознание себя в окружающем и обдуманые переходы к нашим индивидуальным намерениям и поступкам, в том числе к поступкам, обозначаемым как действия.

Как же при таких строгих нюансах воспринимать гарантирование их (слова и мысли) свободы?

Чтобы замять этот щекотливый вопрос, отделяются неуклюжими отговорками, вроде того, что, дескать, «вовне» (головного аппарата) предполагается правовая ответственность за отдельные (чьи-то) умышленные действия, препятствующие реализации полной свободы рассматриваемых здесь предметов, а внутри, в аппарате...

Но – чего могут стоить хотя бы какие предположения, отнесённые в законы, а тем более в такие серьёзные и фундаментальные, какими надлежит быть конституциям?

Процессы, которые касаются выбора мысли и слова в головном аппарате всегда как были, так и остаются естественными, они не подлежат и не поддаются урегулированию публичным правом, никаким, в том числе правом либерального демократического государства, – как бы того кому ни хотелось. Урегулирование, как осуществляемое де-юре, – чисто декларативное. Это всего лишь грубая попытка оберечь желаемое, отвлечённое условие, навеянное лобовым практицизмом, всё той же сухой целесообразностью. – Невелики правовые «достижения» и вовне.

И слово, и мысль, объявляемые свободными, «оборачиваются» к нам лишь в самой полной, крайней размытости их семантики. Должно же следовать нечто «обратное», противоположное, поскольку в действительности каждое слово

языка, да, разумеется, и предваряющая его появление мысль и так постоянно «дрейфуют» в нескончаемых изменчивостях их значений.

На этот счёт любопытно одно весьма тонкое замечание, оставленное Чжуаном Чжоу:

Говорящий, – утверждал он, – произносит слова, но то, о чём он говорит, совершенно неопределённо.

(«Ч ж у а н – ц з ы» («Учитель Чжуан»). Глава 2: «О равенстве вещей». В переводе Л. Позднеевой. По изданию: «Антология мысли». «Дао: гармония мира». «Эксмо-пресс», Москва – «Фолио», Харьков, – 2000 г.; стр. 158).

Свобода слова, равно как и свобода мысли, есть только формулы современной юриспруденции и публичной политики, выставленные опознавательные знаки, в которых, что ни взять, то – неопределённое и неуясняемое в уме. Небрежная работа прагматиков!

Таким же точно «целесообразным», то есть исходно безответственным образом, «слепо» выбирают, например, ту или иную расцветку государственного флага, рисунок или муляж государственного герба, текстовку государственного гимна.

Изложенным, думается, хорошо подтверждается следующее: как бы свобода ни была важна сама по себе, ещё важнее, чтобы у неё был какой-то предел. Понимается ли такое

требование, выражающее необходимость? Кое в чём наука тут преуспела только потому, что она справедливо считает практику на много больше оторванной от существа проблемы, чем она сама. Практика слишком агрессивна и неразборчива. Ей хорошо снимать выгоды в правовых тупиках. У науки свои «но». Чем больше вопросов, тем она меньше успевает давать ответов. А в таких обстоятельствах и запутаться проще.

В условиях свободы самое худшее – освободиться, полагая, что можно просто так освободиться в чём-то ещё дальше по отношению к уже имеющемуся. Дело при этом сводится ко всё той же устремлённости к абсолютному. В результате правовое пространство заполняется миражами. Уже только в том, что политической целью берётся установление нормативно-правового буквально для мелочей общественного бытия, можно разглядеть задачу неподъёмной тяжести, скроенную из обманчивых представлений о достижимости абсолютного.

Кто хочет всё регулировать законами, тот скорее возбудит пороки, нежели исправит их.

(Б е н е д и к т С п и н о з а. «Богословско-политический трактат», глава XX. В переводе М. Лопаткина. По изданию: Бенедикт Спиноза. «Трактаты». «Мысль». Москва, 1998 г.; стр. 239».

Принимая это оригинальное замечание великого мыслителя, мы, однако, обязаны помнить, что и он, как и многие другие подвижники разума его времени, был скован теми же зауженными представлениями о праве, когда к нему относили только право публичное, действовавшее «на потребу» тогдашних режимов государственности, совершенно отстраняясь от права естественного, общечеловеческого.

При условии, что учитывалось бы и оно, это последнее, иной, более точный окрас имело бы и приведённое философом суждение.

В целом, если говорить о сущем, то в условиях его «освобождения» оно уже перестаёт быть самим собой. Будучи желательна как абсолютная, свобода полностью его нивелирует, что понуждает всех нас неустанно изыскивать способы возвращения его исходной значимости к порогу реальностей.

Сущее постоянно приходится подправлять нашими пристрастными суждениями, разбавленными на прагматизме, иначе говоря – взнуздывать его там, куда устремляются векторы наиболее в нём значимого. Это, впрочем, вовсе не перечёркивает вреда от его произвольного, волюнтаристского, неумеренного «освобождения».

Лучший же пример тому, что усилия искусственно его подправлять и поддерживать не могут иметь надлежащей эффективности, даёт общее отношение к разработкам абсолютного материального и абсолютного духовного. При энер-

гичном усердном копании в частностях работы по исследованию этих «целых» «величин» уведены от научного интереса и попросту брошены.

Конечно, и здесь играет роль целесообразное, для теперешнего момента – демократическое, либеральное. Которое как только может отрешивается ото всего, что располагается в пределах здравого смысла в частности – от революционного, хотя, если говорить о значении последнего в системе правового устройства жизни, то оно также не должно исключаться в качестве одного из важных или даже, возможно, обязательных инструментов урегулирования человеческой жизни в обществах.

Настоящее революционное, как бы на это ни посмотреть, всегда имеется под скорлупой свободы и должно проявиться, «проклюнуться»; иначе, то, что находится под скорлупой живым, просто не сможет жить дальше. Об этом не следовало бы забывать прежде всего тем, кто по поводу любого революционного изрекает: «Мы это уже проходили!». Загвоздка в том, что «пройти», разминуться с ним – невозможно; «встреча» «предусмотрена» через обуздание свободного в сущем.

В том же случае, когда обуздание исключается, надо быть врагом свободы, а одновременно и – разглашающей её демократии.

Практика, стало быть, вовсе не равнодушна к издержкам, касающимся «освобождения» сущего. Тут становятся важны

любые нюансы.

Когда люди ежедневно окружены заботами о своей дальнейшей освобождённости на прагматическом поле, им некогда останавливаться для осмысливания абсолютного материального или абсолютного духовного. Теперь уже со школьной скамьи каждый может усвоить, что, к примеру, материя – это формула того, что является как бы вещественным и движется в пространстве, но как бы не само, а в абстракции. То есть – не будучи конкретной вещью и не имея цели, причины возникновения и т. д.

Порешили такое истолкование вполне достаточным и часто даже очень удобным. А как оно устраивает не только практику, но порой и науку, то куда же и для чего двигаться дальше? Тем более что до последнего времени фундамент оказывается надёжным: в познаниях частных явлений физического мира открытия сыплются как из рога изобилия, одно ошеломительнее другого; легко предсказываются и будущие. И незаметно пришло умиротворение поиска на главном поле. Он прекращён или – только «подразумевается». Вестимо, виновница вовсе не лень. Поиски в пределах самой материи, материи самой по себе лишены перспективы. Но почему?

Этот феномен капитулирования, как выясняется, плотно увязан с абсолютным духовным. Увязка имеет признаки тождества, поскольку так же, как и материя, абсолютное духовное выражается в отвлечённом. А именно: в первом до основания «растворено» материальное, во втором – поня-

тийное, смысловое. Но это не всё тождество. Поскольку и материальное и духовное, чтобы они могли быть представляемы, всегда выражаются одним и тем же – информативным. Нет информации – невозможно и представление о чём-либо.

Как бы кто ни старался, представить материю или абсолютное духовное, – не получится.

С точки зрения человека разумного (*homo sapiens*) окружающий мир даже в мельчайшем «пронизан» информативным, информацией. Но если допустить, что мир не воспринимается, то из него как бы «уходит», изымается информативное. И, значит, непременно «уходит» всё то конкретное, чего мы не знаем или что хотели бы знать.

Ситуация в общем хорошо понятна каждому: мы не знаем и миллиардной доли об окружающем, однако таким обстоятельством никто особо не огорчён.

Как и материя, абсолютное духовное «нераскрываемо», в связи с чем также нет необходимости исследовать его «в себе», в его замкнутости. Там, как и «в» материи, ничего нет. Оно лишено представляемости в сознании. Эта убогость высших субстанций – главнейшая из причин, по которой их, собственно, и следовало бы оставить в покое, «не докучать» им исследованиями. Что пока и делает современная блистательная наука.

Ей же принадлежит и тот большой просчёт, из-за которого абсолютное материальное и абсолютное духовное остаются до настоящего времени крайне разобщёнными, отделе-

ны друг от друга, хотя очевидна прямая связь между ними, связь, можно сказать, неразрывная и притом давно замечавшаяся.

Тождественное в обеих указанных «величинах» есть то их сущее, которое выражается в нулевом информативном, оно заслуживает особого интереса, поскольку «формируется» одним способом.

Можно очень просто «слепить» и материю, и абсолютное духовное, – оставив их без информативного. А делается это путём запредельной обобщённости (освобождения ото всего), разрушающей форму. – Если иметь в виду «неразличимость» материи, как абсолютного материального или «вещественного», и абсолютного духовного, то обе эти субстанции являются только «бесплотной» одинаковой «формой» – результатом полного и законченного освобождения.

Резонно, что запредельное не даёт покоя чувственному. Сознание жаждет его восприятия; но – результата всё нет. Притом сознание не может ещё удовлетвориться действием «в одну сторону», когда запредельное пытаются «обнаружить» через манипулирование «освобождением» – от конкретного к абсолютному и – «дальше». Возврат в конкретное «оттуда» уже «не предусмотрен», разве только при помощи чуда.

Можно объяснить это особенностью характера «освобождения».

Только воображению – праматери условного – дано «раз-

дробить» материальное мельче и мельче, «создав» материю, абсолютное, по крайней мере – в понятии. – Но «отсюда» или из «этого» уже никаким воображением не скроить чего-то конкретного. Представление будет бессильно воспроизвести из абсолютного некие признаки – элементы формы. Их удел – возникать в ходе перевоплощения (превращений), но только – от конкретного же.

Таким образом налицо извечное в действии «освобождения». И поскольку его направленность – исключительно в сторону к отвлечённому самого верхнего или самого нижнего «ярусов», то, оказавшись «там», оно должно непременно уничтожить и сущее, ничего в нём не сохранив. «Освобождение» – «беспощадно».

При исследовании этих «странностей» дело незаметно и неудержимо сводится к слиянию понятий абсолютного материального с абсолютным духовным. «Ничего», «пусто» – в обоих местах. Конечно, абсолютного «равенства» нет. Хотя обе «величины» условны, абсолютное духовное ещё и происходит из непосредственно условного. Коим является воспринятое «от» материального, то есть – от вещественного.

Но в рассмотрении свободного, «освобождённого» ни тождество, ни различие в двух высших, абсолютных «величинах» уже не имеют никакого значения.

«Восход» к абсолютному – это единственный надёжный способ «остановить» «освобождение» и, что называется,

«растереть» его в порошок. Тем самым можно считать в некоторой степени оправданной и осторожность науки перед исследованиями в областях абсолютного материального и абсолютного духовного. Свободное, «освобождённое» как будто и без того основательно «взнуздано»; – а – но вдрут это только кажется?..

При «конструировании» абсолютного нельзя не обратить внимания на противоречие между «помещаемым» туда «конкретным» и тем, чем оно, это «конкретное», там становится. Ведь, скажем, «вещественное», материальное, «переходя» «в» материю, уже полностью теряет само себя, и оно уже больше не есть материальное.

То есть даже и сама материя представляет собою уже лишь абстрактное понятие, «образ»; материального же в ней нет и не может быть ничего. Точно то же самое происходит с духовным, коль оно оказывается в области абсолютного. При этом приближение к абсолютному как для материального, так и для духовного сопровождается ежесекундным изменением сущего в них, то есть одновременно и их форм.

И если речь идёт уже о «фактическом» переходе «в» абсолютное, то это значит, что сущее, которое туда «попало», не могло больше догматизироваться, иначе говоря – находиться, «удерживаться» в собственной форме. Только разница в том, что для материального это должны были быть состояния «вещественности», а для духовного – «оболочки» понятий.

В том и в другом случае информативное ещё имело место

и служило «различению». Теперь же оно безвозвратно «теряется». Понятно, что такое «конструирование» полностью исключено как реальное, поскольку нереален и переход в абсолютное. Это не более как способ или приём абстрагирования; но ценность его не только в его назначении «отвлекать» от сущего.

Именно здесь в повестку дня ставится вопрос об измерениях, о параметрах «конкретного» «вещественного».

Постоянно перевоплощаясь, «обретая превращения», материальное, «вещественное» не может не проходить через «мучительные» этапы «дробирования» и «распада», вслед за которыми оно должно быть до основания разрушено и в таком «виде» в неуловимом отрезке времени «вброшено» в новое состояние, где ему уже уготована и новая форма.

Исходя из этого, поиски пределов, на которых заканчивается «исчезновение» «старой» формы, остаётся, пожалуй, увлекательнейшим разделом современного естествознания.

Существуют ли бесконечно малые величины «вещественного», на которых «деление» «останавливается» как бы «проваливаясь»? Говоря иначе – должны ли величины делимого быть определёнными, «установленными»? Молекулярные, волновые и другие теории отвечают на эти вопросы по-разному только ввиду невозможности выявления «точки», до которой «всё доходит».

С другой стороны, не поддаётся выявлению и «точка» вброса в новую форму. Тут кое-что можно узнавать по тому,

как ведёт себя вещественное; но в данном случае это лишь утилитарное познание, пригодное для обоснования производственных, возможно, совсем неплохих технологий, проведения экспериментов и проч. – Сама же стезя перевоплощений остаётся всегда неразгаданной и неизменно таинственной.

«Непознаваемое», конечно же, не может не быть прочнейшим образом связанным с «освобождением». Там, где действие этого последнего, как всепроникающего процесса, приходит в «окончательную» дискретность, прекращается и действие сил, которыми определяется развитие чего-либо. Но не менее важно и новое направление. Куда оно должно вести и можно ли всегда знать, что оно существует?

Ошибочны или нет были бы усилия, направленные к поиску в мироздании чего-то вроде скрытой универсальной энергетики «освобождения», ипостаси, наподобие той «тёмной энергии», которую ещё Эйнштейн обозначал в виде космологической постоянной? – Что если здесь материальное, «вещественное», будь оно волнообразное или какое-то ещё, «способно» «сваливаться» в какой-то другой ряд или даже, возможно, по стечению разных причин, не в один только, а в любой из нескольких, из множества «новых», а точнее: пока неизвестных рядов? Скажем, это одновременно с материей-1, известной нам как состояние и многообразие вещественного, материя-2, -3 и т. д., затем или одновременно, – антиматерия, ещё некая другая форма бытования «ве-

щественного»...

Изложенное позволяет, кажется, сделать вывод, что в каждом «вещественном» «непознаваемое» «таится» в виде мощного внутреннего удержания сущего в его конкретной начальной форме, проявляясь как ограничение свободы, а, в свою очередь, свобода должна также неизбежно перейти в своё «непознаваемое», чтобы там исчерпать себя и тем открыть дорогу новому циклу процессного развития.

Здесь нельзя обойтись без пояснения в том смысле, что «освобождение» чего-то материального, вещественного всегда имеет место между абсолютным в его начале и в своём конце. По времени первое абсолютное представляет собою «рождающее», поскольку некое предыдущее свободное дошло в его реализации до своей предельной черты – «до конца», образуясь в новую форму. А эта новая форма также неминуемо должна быть до основания разрушена, устремляясь, конечно, только к «своему» абсолюту, где его «содержанием» становится *ничто*.

Кажущаяся мистика с исчезновением субстанции свободы материального легко может быть использована в спекулятивных целях – как страшилка, будто бы доказывающая наличие высшей мировой силы или высшего мирового разума (воли, кармы и проч.), то есть – божественного. Но, как видим, тут нет ничего странного: свободным, освобождением сопровождается развитие, которое прекращалось, когда освобождение подошло к концу и себя исчерпало.

Здесь ещё важно и то, что обусловленность любого духовного его происхождением также накладывает особый отпечаток на его «освобождение», чего нельзя не учитывать в обстоятельствах общественной жизни.

Если материальное, вещественное сильно тем, что реально и многообразно в неизбежных последовательных превращениях, то духовное, являясь его «слепком» и как порождённое материальным, разумеется, берёт приблизительно тем же, но, кроме того, ещё и силой своей условности, которая всегда есть показатель более высокой многомерности неопределённого.

Последнее, будучи проявляемо в «конкретном», фактически, располагает и несравненно большей по отношению к материальному амплитудой изменчивости формы, благодаря чему оно приобретает огромную власть в человеческих отношениях.

Дело в том, что теперь можно на много эффективнее использовать «освобождение», придавая каждому фактическому произвольный смысл, а то и лишая его всякого смысла.

И речь идёт не только о лжи, обмане. Сознание «устроено», скорее всего, не так, как мы о нём говорим, докапываясь до его сути.

Обработка поступающей информации отяжеляет его, оно «утомляется», из-за чего затруднён выбор. Многое помеща-

ется в подсознание – «на доработку». А кое-что задерживается там навсегда. По этой причине возможно прекращение выбора. Тогда сознание на чём-нибудь «устанавливается», «фиксируется», предположительно, в том характерном виде, как это происходит с магнитной стрелкой, указывающей на «север-юг».

В первую очередь и в наиболее «плотном» исполнении такая фиксация проявляется на абсолютном. И, само собой, это абсолютное – не материальное, не материя, а только духовное, уже вызревшее до состояния полнейшей своей отвлечённости в условной среде, где определённое просто не может существовать.

Освобождение, благодаря которому возможны «итоги» подобного рода, – это развал до основания и «вещественного», материального, и фактического духовного. Или ещё иначе: как и материя, так и абсолютное духовное – это есть полностью «реализованная» свобода. И речь идёт уже только о тех «потерях», которыми должен сопровождаться этот процесс их наступления для обеих субстанций. О «потерях», необходимых, так сказать, при «конструировании» их «будущего», которое одновременно может являться и «настоящим».

И вот здесь выясняется, что «потери» в обоих случаях разные. Материальному, чтобы перестать им быть, нужно оказаться в полнейшем физическом «вакууме», «отвлечься» ото всего, что может связывать его с материальным же: от

притяжения, слитности (сцепленно-

сти), своего воздействия на окружающее, от способности передвигаться в пространстве и расположения в нём, от распада и т. д. В таком наборе трансформация, конечно, невозможна.

По-другому обстоит дело с духовным, если оно имеется в наличии – «конкретно», фактически.

Конструирование из него абсолютного не требует собственно «потерь», а заключается только в переходе к более широкому обобщению. Устраняется, как и у материального, лишь информативное, но за этим не тянется шлейф непреодолимых зависимостей. Проще говоря, к своему концу, в предел абсолютного фактического духовное может перетекать, не испытывая страдательности: достаточно чтобы головной аппарат не был лишён функции выбора, был занят выбором «цели» и «лишнее», «утягивающее назад», оно же – информативное, уступая дорогу, отпадает как бы само собой.

Именно эта особенность абсолютного духовного должна лежать в основе богостроительства. Поклонение божественному, будь оно в единственном числе (деизм) или в виде политеизма или пантеизма, хотя и возникает под влиянием конкретной чувственности (беспокойства, недоумения, страха, растерянности, умиротворённости и проч.), но оно всегда как бы взято готовым, благодаря чему создаётся впе-

чатление, что это готовое никогда не было связано с предыдущим.

Тем самым образуются предпосылки усиленного эмоционального «влияния» божественного.

Таинство «влияния» достигает наибольшей силы в единобожии, и это не случайно, поскольку такая форма верования имеет дело с абсолютным духовным в его субстанциальном значении, где образующее «конкретное» или фактическое полностью размыто и тем самым «очищено».

Это совершенно голый «предмет», всего-навсего идея, пригодная для обозначения безграничного, неосязаемого ни в чём. Как известно, только в пределах такой степени обобщённости она приобретает свойство «недвижно» и напостоянно закрепляться в сознании (идея-фикс); в ней удобно «размещать» непонятное самого бескрайнего масштаба, каковым и становится божественное, по утверждениям верующих, «повелевающее» и «владеющее» всем миром, включая и человека.

Само же «размещение» идеи-фикс, как и при формировании любых обобщений, не может быть субъективным или частным, – это производное от большого множества представлений, находившихся или находящихся в обороте в процессе духовного общения между людьми.

Касаясь наших представлений, их роли и огромной значимости в нашей жизни, очень важно разобраться также с

процессом «укрощения» силы освобождения в области духовного.

Если необходимо, чтобы свободное не «растворилось» в абсолютном (когда был бы уже и «чистый» хаос), ему не обойтись без ограничений. Другими словами, в чём-то конкретном должно быть наличие как «освобождения», так и противодействия ему.

Пояснить такую обязательную функцию ограничивающего свободного можно на примере работоспособности нашего мыслительного аппарата – того «естественного» «конвейера», где хаос в буквальном смысле слова оказывается прочно заблокированным ограничениями.

Схематично это выглядит так:

Информативное, которое «закладывается» в понятия из наших представлений, не может быть «вообще», «нейтрально» – вне своей формы. Но так как форма постоянно должна «растекаться», как бы тем самым давая дорогу «освобождению», то в таком «естественном» виде она непригодна к закреплению в понятиях, в сознании.

Чтобы «остановить» и «удерживать» «растекание», нет иного способа, кроме образования («изготовления») догмы, шаблона. В целях наглядности можно иметь в виду аналогию с удержанием раскалённой плазмы в магнитной «ловушке» или что-то подобное.

В акте закрепления представляемого должна, видимо, «умещаться» очень большая часть энергии мыслительной

работы, и она направлена, безусловно, к «выпеканию» догматического. Это заставляет рассматривать догму в области духовного как необходимейшее условие, при котором только и возможна инсталляция чисто физического в чувственное и, как в его наивысшее выражение, – в понятие.

Проявляясь как доминанта, работа по сотворению догматов не прекращается уже и в понятиях, – почему в них и возможны широчайшие градации обобщённости – как определённые, задогматизированные «ступени» представляемого.

При такой «технологии» образуется незаметная человеку «тихая» гармония его ума... Тут же происходят и разного рода уконцентрирования мыслительных действий, когда, скажем, некоторые догматы становятся как бы «отвердевшими».

Загадка здесь часто кроется в том, что «твёрдое», как понятийное, может быть и самостоятельным, а может и просто удобно «укладываться» в чём-то уже существующем, но – с более широкой амплитудой обобщённости. Ввиду этого любое понятие, если его переполнить смыслом или, наоборот, смыслом недополнить, способно оказаться «маленькой» идей-фикс и будет уже «затвердевшим». Что одновременно не мешает ему также быть «расташенным» под воздействием неоторимого «растекания» формы – того самого «освобождения», при котором смысловой наполненности понятия, а, стало быть, и – существу, не суждено оставаться неизменным.

В самом же широком значении догматизация есть тот процесс, без которого все прочие мыслительные действия становились бы не нужны, так как не могли бы возникать ни понятия, ни, конечно, слова. И по существу и те и другие, каждое индивидуально являют собою только «затверделости» приобретаемых и весьма искусно «удерживаемых» представлений.

Это, кстати, приложимо и к «остальному» миру живого (помимо человека), где информативное, как представление, как «знание», «продвигаясь» по физиологии, так же облекается в догмы, а далее – в различные формы общительности (коммуникативные или контактные звуки, шумы и т. д.).

Как производное от представлений, догматическое, – и это, полагаю, нисколько не противоречит формальной логике, – уже не может не иметь строгой своей направленности – быть превращённым в намерение и в конкретный поступок, но – только ещё не завершённые, «вызревающие», – в их самую надёжную потенцию. И хотя «реализация» намерения или поступка проявляется уже вслед за понятиями и словами, однако, поскольку раньше задачей было только «удержание» сущего и она сводилась лишь к «изготовлению» и накоплению форм, то на следующем, «восприимном» этапе (перед их «исполнением») процессу укрощения свободного уже невозможно обойтись без ещё одной разновидности догматического; и она – тут как тут, находя своё выражение в актинге выбора...

Надо, может быть, сюда же относить и действие ума «на опережение», когда результат возникает как бы из ниоткуда, становясь, как утверждал ясновидец Мессинг, «непосредственным знанием».

Выработка такого знания, пригодного для угадывания чего-то в будущем и часто посрамляющего наши самые здравые убеждения и выводы, хотя и должна происходить в особом состоянии каталепсии, но это вовсе не обозначает, что логическое тут устраняется в принципе.

Каталепсией, как разновидностью выражения субъективной воли, достигается необычная степень концентрации информативного – основы в представляемом; и уже из-за одного этого наречие «ниоткуда» требует лишь условного употребления.

Ещё несколько замечаний, касающихся того, насколько наши познания «сходят с оси», не будучи соотносимы с действиями и влиянием свобод на сущее. Свобод уже не только социального характера, но и тех, какие проявляют себя как состояния вообще всюду и какие можно бы считать заданными от природы.

Моменты равенства и тождественного в материальном и в духовном, о чём достаточно подробно мы порассуждали выше, создают, оказывается, немало трудностей при оценке окружающего в свете открытий неизвестных ранее состояний физического мира.

«Прогибы» времени, разного рода асимметрии, неравенства и другие «новые» явления, хотя и устанавливаются, как правило, посредством, казалось бы, точнейших вычислительных или сравнительных манипуляций, но даже самих открывателей нередко ставят в тупик, поскольку, бывает, тут же уводят в новые дали и в ещё более крайние несоответствия.

Всё труднее удерживается в рамках доказанного и общепринятого содержание «естественных» (природных) законов, математических формул и уравнений и других наработок, составляющих основу многих нынешних научных представлений о сути и объектах вселенной, о её макро- и микронаполнении.

Под большое сомнение берутся сами средства и методы определения «истины», в том числе – математические, расчётные.

Даже термин «открытие», как формулировка итога, результативности научного поиска теряет при этом своё былое значение. Ведь само по себе открытие, как результат или даже как процесс, является вроде как приобретением готового, ни для кого не скрываемого, и потому в первичном виде оно уже не столь важно и затруднительно, как то было раньше; – а наиболее важным становится осмысливание некоей конечной «дистанции» или «сферы», представляющейся почти таинственной, где будто бы и находится искомое, по-настоящему скрытое.

В таких обстоятельствах знание как бы превращается в инструмент «сопровождения» освобождающегося, с чем связано немало беспокойного для учёного. – Постоянно изменяясь, мир, безусловно, идёт «вразнос» («расширяющаяся вселенная»), поскольку все его нынешние наличные формы неминуемо должны быть «раскрошены» и размыты, чтобы могли появиться новые. И так как изменение форм не может происходить за их пределами, а переход формального в абсолютное в физическом (материальном) мире невозможен, то изменения уместны лишь «до того» – в самом формальном.

Освобождаясь от самого себя, а значит также – ото всего прочего, оно хотя и катится в абсолютное, но никогда не достигает его.

Этот процесс не может, разумеется, идти сам собой – нужны влияния внешние. По таковой причине он обречён затягиваться как угодно долго. «Сопровождая» его, знание ищет крайности и вроде бы их находит: ведь и материальное и духовное, взятые в абсолюте, – сущие близнецы, причём близнецы сиамского порядка.

Учёный, зачарованный убыванием формального, легко может по ходу исследований зайти «за край» – будто бы в абсолютное. А ведь как раз на том месте находится и то, что мы обозначаем как божественное или ему подобное, – идея-фикс. – И, таким образом, знание смыкается с верой. Итог не столько уж и желательный и благой, как может кому-то

казаться.

Без казусов не обходится и при манипулировании духовным.

Так, в демократическом обществе свобода или вектор на «раскрепощение», ввиду их огранки правом и пущенные как бы на самотёк, постоянно входят в противоречие с действующим государственным правом. И не может быть иначе, поскольку процесс обязательно должен идти к абсолютному. То, что он там «прекращается» «в самом себе», – слабое утешение.

Человек нашего времени, осознающий себя в сложной системе зависимостей, вроде бы не предрасположен обходить правовые ограничения (знает меру своей и чужой свободы); но в то же время он сам на основании данных ему прав неостановимо трудится над продолжением своего «освобождения» и, поскольку в том нет и не может найтись окончания, лишён возможности знать, на какой стадии его свобода должна в каких-то значительных обстоятельствах быть уменьшена либо приостановлена (в обстоятельствах, «требующих» этого).

Например, не иначе как несчастьем расценивается в обществах уход в бомжи. В основе этого поступка лежит преувеличенное (устремлённое к «идеалу») понимание (восприятие) свободы – как способа отграничивания себя от активного участия в жизни, в житейских делах.

Тут, как правило, фигурируют неудачники, а причиной

для ухода могут служить не только крупные неприятности в части карьеры или семейных отношений, но и простая неуживчивость человека, его неумелость в контактах или в спорах, нежелание нести хоть какие-то, иногда мелочные обязанности, и т. д.

В целом это блеклая, недейственная и совершенно опустошающая роль.

В противовес такому «низменному» стилю отграничивают себя люди, чувствующие себя в социуме и в окружении других людей вполне благополучно.

...В образованном обществе, – замечал по этому поводу известный российский беллетрист из XIX века, – люди вообще больше думают о себе... отчасти потому, что на это предоставляется больше средств и досуга, отчасти потому, что образование развивает и укрепляет самосознание. ...меры по отношению к своему умственному развитию и нравственному совершенствованию принимает человек, сознавший в себе... личность и заботящийся о нормальности своих интеллектуальных отправлений.

(Д м и т р и й П и с а р е в. «Идеализм Платона». По изданию: «Библиотека русской художественной публицистики». Д. Писарев. «Надо мечтать!». «Советская Россия», Москва, 1987 г.; стр. 40. – Фрагмент из работы приводится с сокращениями).

Критерии оценок своей сущности под воздействием «освобождения», как видим, утрачиваются, размываются, что делает любые усилия отдельного индивидуума или совместные – многих людей по части их закрепления и удержания крайне затруднёнными, не способными выразиться в каком-то ясном результате.

В этом случае часто не остаётся ничего другого как безропотно и усердно прилаживаться к нормам кружковой, конфессиональной или официальной морали, которые возникают и проявляются при разрушающем воздействии свободного на мораль общественную. Что и происходит на самом деле.

Появляются свои «особые» и притом, как отмечал Бунин, «противоестественные» пристрастия у молодёжи, подростков, у интеллигенции, у почитателей музыки, спорта и проч. В культ возводится мода, шумное одобрение «массового», что-нибудь малопонятное, вроде «Чёрного квадрата» Малевича; или наоборот – проявляется повышенный интерес к медитациям.

Не принимающие нормативов такой опустошающей морали «вытесняются» или беспардонно третируются...

Уводя общества от устоянных ценностей (освобождаясь от привычного, традиций и проч.), подобные явления правовой запутанности способны прогрессировать на очень больших скоростях. Пусть никогда и никого они не приводят в объятия абсолютного, но дойти с ними до абсурда – впол-

не вероятно. И праву (публичному) тут ничего не остаётся, кроме как с опозданием тащиться за уходящими далеко вперёд событиями.

Такое наблюдается, в частности, в системе оценок преступного.

Взять хотя бы уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уже при его вступлении в силу в начале текущего тысячелетия он представлял из себя малопригодный инструмент обеспечения справедливости, к чему он, собственно, был призван как правовой акт гуманистической пенитенциарии.

В нём освобождаемое, свободное, истолкованное конституцией, обязывало законодателя постоянно помнить об их непреложности; и, значит, нельзя было обойтись без «приукрашенного» общего исходного правового момента, в котором должно предусматриваться «освобождение» «до конца».

В российском обществе к тому времени образовались целые группы или слои людей разных возрастов, опустившихся, спитых, не желающих и подчас уже и не умеющих работать или учиться. Их выбрасывало из рамок обычной среды, и для них такое противоправное занятие, как воровство, становилось чуть ли не единственным способом добыть средства для их дальнейшего бесцельного существования «только в данный момент».

Названный кодекс учитывал этот ход событий, и в нём существовала норма юридической ответственности за кражу.

Между тем уже вскоре правотворцы, словно очнувшись, внесли в закон поправку, согласно которой нормативный уровень ответственности за украденное был понижен до одной пятой от прежнего, но с оговоркой, что как таковая судебная ответственность должна была теперь наступать за украденное по стоимости не до установленной одной пятой от прежней, а только при наличии «вершка» над ней, разумеется, вкупе с «нормой», исчисленной до него, до «вершка».

Последствия этого возникали прелюбопытнейшие.

Ворьё оказалось не только многочисленным, но ещё и грамотнее законодателей. Высчитывая «меру» своего преступления, оно стало брать чужое чуть меньше чем на сумму определённого законом «уровня»: можно было с такой «арифметикой» пойти и на вторую, и на третью кражу и т. д., – не опасаясь, что «проколы» будут «накладываться» друг на друга и приведут к наказанию за содеянное.

Тем самым новая норма, оберегая свободу граждан, спровоцировала воровство в масштабах ещё более широких, чем оно было раньше. При этом административные меры (штрафы) оказывались бессильны для восполнения потерь. А ведь потери, на что следовало бы обратить особое внимание, выражались тогда не только украденными ценностями. – «Предусматривалось» дальнейшее разложение общества, опошление смысла общественной жизни.

Неизбежно в таких случаях должны были пополняться ко-

лонны людей с разбитыми личными судьбами. Становилось печальной реальностью образование множества групп и ячеек, промышленявших мошенничеством.

Считаю оправданным не прибегать к упоминанию о дальнейших уточнениях текста удостоенного нашего внимания кодекса – дабы яснее была видна нелепость идеалистической ориентации государственного уголовного права на максимальное «освобождение», то есть фактически – на провоцирование массовой преступности.

Потерпевший в таких условиях ни в чём не получает никаких преимуществ: его свобода бытует за пределами случая, порождающего преступление; он «как все» – только там, за этими пределами. Зато в «выигрыше» истинный виновник.

Его свобода (свобода от заповедей «не укради», «не убивай» и т. д.) возрастает не сама по себе и не от плохого только воспитания, как об этом издавна и достаточно много и эмоционально пишется и говорится, а в значительной степени под влиянием существующего права на «освобождение» «до конца». И под ним же не может не находиться позиция прокурора, следователя, адвоката, судьи, присяжных, пристава. Особенно, конечно же, адвоката, для которого защита «убойного» права в подавляющем большинстве случаев не может не быть грязной сделкой со своей совестью.

Исходный правовой момент взят здесь, как видим, в такой гипотетической обобщённости (заранее абсолютизированной

ван), когда свободное чем дальше, тем более не поддаётся ограничивающему закону.

Освобождаясь по жизни «до конца», виновник ускользает из пространства публичного права, переходя на территорию права естественного, в ту его часть, которая не освещена идеалами справедливости и добра. Где уже очень часто не бывает и ответственности. – После этого нужно ли удивляться, что указанный законодательный акт вобрал в себя уже хорошо обтёртый в чиновничьих представлениях постулат сомнительной, «целесообразной» снисходительности и весь прошит робостью перед несоблюдением правового условия «освобождения» виновного от ответственности. Ввиду чего он должен нередко автоматически освобождаться и от справедливого наказания.

Установленный от лица государства мораторий на смертную казнь подтверждает, что особый вид (особая причина) снисходительности и робости имеют место быть.

Это по существу знак правовой растерянности, которую не скрыть никакими разглагольствованиями о гуманизме и о невозможности уменьшить размах преступности ужесточением наказаний. По поводу этого последнего «объяснения» растерянности хотелось бы сказать, что его теперь всегда стыдливо комкают, употребляя только мимоходом как аксиому. Мол, нигде никем не доказано обратного.

Пусть эта отговорка будет на совести её творцов.

Здесь нам важнее лишний раз убедиться в существова-

нии единственной причины лжи и «стыдливого» лицемерия. Она кроется в узаконении такого свободного, когда невероятно затруднены возможности его ограничивания, – поскольку оно взято в его абсолютности и в таком виде «профиксировано» не только в сознании, но и в публичном праве.

Положение оказалось не имеющим выхода – круг замкнулся. Выход из него практически недопустим – из «прагматических» соображений и пузырячатого фальшивого гуманизма.

Что же касается потерпевшего, то он как был бесправен, так им и остался. Он – «лишний» в буквальном значении. Его интересы никак не «вписываются» в работу судебно-правовой системы над преступлением с позиций «освобождения» «до конца». И теперь сколько бы ни вносилось в закон даже очень хороших поправок, они останутся только знаками растерянности и бессмысленной суеты; – подмогой делу справедливости это служить, безусловно, не может.

Да, к сожалению, при всём желании мне не удалось бы обойти эти грустные «итоги». За ними – разрушительное и беспощадное в «освобождении», которое должно раскрываться в результате его действительности.

И на отдельного человека – на личность, и на общества действие освобождения способно оказывать столь сокрушительное влияние, что в целом с момента его начала происходит едва ли не полный цикл деградации всего, в чём здесь могла бы состоять хоть какая-то существенная ценность.

С учётом рассматриваемой темы надо, разумеется, говорить более о ценностях, увязанных с организацией управления – общественного и частного, включая управление каждого самим собой (внутри себя); то есть – говорить о праве, о правовом (у терминов «управление» и «право» – один, общий корень).

Публичное правовое, как регулятор жизни в обществах, должно теперь системно выхолащиваться, вымываться и исчезать из обихода. В рамках цикла «освобождения» для него какой-то другой вариант, похоже, исключён.

Тем самым и общество и человек, оказываясь по их же воле и заблуждениям стащенными к порогу естественного права, худшего в нём, этом праве, делаются необычайно опасными, в том числе – для самих себя; гипотетичность опасного заложена и «движется» в «освобождении» по всему его циклу, тут и реализуясь на каждом шагу, причём чем далее от начала, тем радикальнее.

В связи с этим и государственная политика в области права также в целом должна признаваться очень опасной. Поскольку в ней преобладают ориентиры на абсолютность выбранной цели, на преувеличение возможностей свободного, на абсолютное отрицание в нём очевидного негативного. А также – на подавление свободного там, где оно могло бы служить с несомненной пользой, легко «поддерживая» существенное, сущее, выражаемое логикой реально возможного и необходимого одновременно.

Как ни странно, именно с представлениями о «лучших» свойствах тотального освобождения связаны изменения в общем понимании нами процессов развития нашей цивилизованности и нашего будущего.

К примеру, актом подавления уже на старте нового исторического периода явился выброс из обихода многих прежних, более раскрытых (прозрачных) по смыслу обозначений правовых и соотносимых с ними экономических и других категорий.

Неуместно было бы выдвигать этот вопрос в том плане, что, мол, прежние категории по их внешнему виду и семантике были будто бы лучшими; своё здесь обязана говорить только история – не спрашивая ничьих мнений. И однако же сам факт замены не есть лишь факт сам по себе. В нём выражена воля к тому же, к абсолютному.

«Рыночная экономика», вытеснившая «капитализм», убавила в этом термине жестокого и силового. Но таковые качества принадлежат ей всё так же и служат исправно, как это имело место когда-то.

Притом рынок как меновый процесс нельзя считать новейшим изобретением: он существовал издревле, хотя и не в столь развитых формах, как в настоящее время. Была в предыдущем и соответствующая рыночная экономика. Со своими степенями свободы для разных периодов и эпох.

Если в начале меновый процесс был выражаем по преимуществу назначением договорной цены товара «на усло-

виях» естественной или «общей» справедливости, как нормы чисто нравственной, и, значит, аспект публичного права ещё вообще не толковался, то позднее эти «позиции» смещались и совершенствовались. А особенность процесса в условиях нынешней современности состоит лишь в его всеохватном, всемировом действии и в освящении знаком социальной свободы. К большому сожалению, воспринятой и понимаемой абсолютно.

Мы, бесспорно, вынуждены считаться или даже мириться с тем, что наступление свободного в общественной среде и в каждом из нас происходит неостановимо и неизбежно. То есть – изначально в нём «предусматривается» результативность, «выскребающая» всё «до дна». Чтобы к тому не могло идти, существует лишь одно средство – у действия надо изъять начало, подобно тому, как пытаются предотвратить зависимость от наркотиков, уговаривая пока не приобщённых к ним «не пробовать» – не начинать».

Однако даже такая радикальная мера не способна обеспечить тормозящую или останавливающую функцию освобождению.

Ведь начало какого-то освобождения уже предполагает его продолжение, а, значит, и необоримую устремлённость к абсолютному, где его «ожидает» полный распад формы.

Тот же эффект неизбежен и для сущего...

Пусть последствия будут и меньше, чем в области абсолютного, даже – значительно меньше, но весь-то вопрос в

том, что подверженное освобождению портится и «разваливается». Пусть и не до самого конца, но даже при таком условии оно – вовсе не патока. Можно ли соглашаться на столь мрачную перспективу?

10. СВОБОДА КАК ЗНАК ОТТОРЖЕНИЯ

«Пренебрежение к остальному», о чём сказано у Платона, не есть только пренебрежение как лёгкая форма отторгаемости. В условиях свободы оно разрастается вместе с её «увеличением» и приобретает черты уже не отторгаемости, а крайнего отчуждения. Или ещё дальше, – где чуждое – удаляется.

Как раз об удалении распространялся Бродский, известный оригинальный российский поэт советского периода, эмигрировавший в США и оставивший там всю остальную часть своей жизни.

Из его воспоминаний можно понять, как он ещё до эмиграции постоянно впадал в депрессивные состояния из-за тех унылых накатов советского информативного, когда его реагирование было особенно острым и болезненным на что-нибудь самое обычное.

Угнетающе действовали на него «неотступная фотография домны в каждой утренней газете, неиссякаемый Чайковский по радио».

Ото всего этого, вещал он, «можно сойти с ума...»

Чертой бесконечной дроби, протянувшейся через всю страну, он называл горизонтальную «отбивку» синей краской понизовий внутренних стен в помещениях советских организаций и учреждений от их поверхностей повыше; также его не устраивал своей нескончаемой суммарной протяжённостью покрашенный в зелёное штакетник в сельских и городских поселениях.

Воспринятое в такой манере не могло, конечно, не простираться ещё дальше, переходя в неприятие и в отрицание. Для этого поэтом было сконструировано кредо:

Всё, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению.

(См. его эссе «Меньше единицы». По изданию: И о с и ф Б р о д с к и й. «Сочинения». «У-Фактория», Екатеринбург, 2002 г., стр. 699, 719).

В художественном творчестве такая постановка вопроса не лишена своих плюсов и просто необходима – как метод отбора и компоновки сравнений, образов и проч. Правовое здесь неразлично: оно «растворено» и облагорожено в устоявшемся нравственном, – когда поэт или писатель считает делом своей совести создавать произведения с отличным качеством и в отменной форме.

Без умелого отбора знаний и впечатлений об окружающем и учёта фактов исторического процесса творчество несосто-

ательно, ввиду чего «лишнему» приходится объявлять настоящую и беспощадную «войну». Оно удаляется – выводится из пределов создаваемого романа, стихотворения или рассказа.

Может ли оно быть или стать ненужным?

Будто бы нет, потому как хотя и допустимо некое действие, в результате которого имеющиеся мысли отдельного человека удерживаются, «запираются» в его головном аппарате; но ведь такие «предметы» общего пользования как язык и другие средства художественной выразительности и наполнения никак не перестают быть нужными и полезными для других.

Они и существуют-то как раз в их служебной повторяемости. – Пожелавший не иметь с ними дела волен, разумеется, поступать по-своему: начать излагать мысли на другом языке, использовать иной фактаж, изобрести сугубо личные выразительные средства, сменить район или страну проживания. В условиях даже совсем небольшой свободы это вполне приемлемо.

И всё равно то, чем названный мастер поэтического слова пользовался раньше или с чем часто сталкивался, оставалось для других. А чем же повторяемое могло не нравиться до такой степени, что его следовало бы именовать скомпрометированным?

Пусть тут – «принадлежности» художественного, «особого» ремесла. Но ведь не их же только имел в виду неравно-

душный поэт из XX-го века?

Закрепление, «фиксирование» крайнего неприятия, которое как бы само собой «перетекало» у него в эмиграцию и позже ею закончилось, он описывал так:

...я усвоил первый урок в искусстве отключаться, сделал первый шаг по пути отчуждения. Последовали дальнейшие: в сущности, всю мою жизнь можно рассматривать как беспрерывное старание избегать наиболее назойливых её проявлений. ...по этой дороге я зашёл весьма далеко, может быть, слишком далеко. ...Это относилось к фразам, деревьям, людям определённого типа... ...Всё тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду.

...

...Хорошо было покинуть этот... космос, хотя... уже я знал, – так мне кажется, – что меняю шило на мыло. ...Но я чувствовал, что должен уйти.

...

...то... было, судя по всему, моим... свободным поступком. Это был инстинктивный поступок, отвал.

(И о с и ф Б р о д с к и й. Эссе «Меньше единицы». По изданию: Иосиф Бродский. «Сочинения». «У-Фактория», Екатеринбург, 2002 г., стр. 699, 705, 706. – Фрагменты текста приводятся с сокращениями).

Для профессионального психолога или следователя та-

кие публичные откровения «удобны» возможностью прямого обоснования какой-то важной особенности в характере человека – как опоры, став на которую, легче понять мотивированность его поведенческих движений и в прошедшем, и в предстоящем; один тут будет исходить из аспекта социального, другой – из необходимости разработать наиболее точную доказательственную версию.

Профессионалы иных направлений, при условии какого-то их интереса, также использовали бы эти «данные» каждый в определённой специфичной трактовке.

Но в такой «зауженности» обычно до рассмотрения проблемы воздействия свободы дело раньше никогда не доходило и пока не доходит сейчас. «Упираются» где-нибудь на «психической неустойчивости» субъекта (или субъектов), на «среде», на «большом обществе» и т. д.

Между тем именно в отчуждаемости отчётливо видно в первую очередь свободное – как элемент безжалостного и методичного, неостановимого разрушения всего что вокруг, включая самого «носителя».

Скажем здесь так: представление о какой-то желательной сверхсвободе ставит человека в положение вечно раздевающегося. Нужно с себя (в том числе – в себе) снять всё, до последнего. Одежду, какие-то постулаты обязательного, чувственного, зависимого. Компрометация здесь – лучший способ. Но лучший не в смысле хорошего, а – по негативному результату.

Компрометирование идёт в обнимку с идеей, укреплённой в сознании от «ощущения» достижимости абсолютного. И уже нет разницы, что попадает в поле зрения и внимания «свободного» человека, – оно компрометируется и должно быть отчуждено, отторгнуто, удалено.

Если, например, массовая информация, как продукция СМИ, компрометируется в сознании едва ли всех пользователей ею – затёртыми словами и фразами, назойливым повторением подходов к событиям, плоской формой и содержанием в её цельности и фрагментах и т. п., то некоторые другие явления, факты и обстоятельства воспринимаются с «индивидуальных» «позиций».

Кому-то может не нравиться однообразие звуков музыкального инструмента при разучивании пьесы живущим по соседству. Кому-то – повторяемое изо дня в день: «Мой руки!». Во всех таких случаях речь идёт о неприятии и отторжении в связи с представлением о какой-то мере свободы, «принадлежащей» тому, кто настроен на отторжение – «сам по себе» или – вынужденно.

Спокойное, уравновешенное и ни к чему далеко не ведущее восприятие «лишнего» здесь возможно только ввиду нечёткости, недостаточной осознаваемости свободного, и часто такое реагирование действительно зависит от самого человека как индивидуума или – от многих людей, – через посредство усвоенного ими нравственного, имеющегося в обществе.

Маяковский, известный своей тупой провластной (про-большевистской) поэтической ориентацией, иногда позволял себе, перелистывая чужую, только что изданную и вручённую ему книгу, даже в присутствии её автора, демонстративно вырывать из неё листы и тут же по-хулигански расшвыривать их, подбрасывая, вокруг себя, если там могло что-нибудь ему не понравиться «с ходу».

Конечно, это был всего лишь наглый эпатаж, исходивший из недостаточной воспитанности и культуры общения «пролетарского» поэта, на что ещё в пору его нараставшего творческого «взлёта» с негодованием обращал внимание Бунин.

(См.: И в а н Б у н и н. «Окаянные дни». «Эксмо-пресс», Москва, 1999 г., стр.101, 102).

В данном конкретном случае «лишнее», как нежелательное и неустраивающее, отторгалось, можно сказать, «просто так» – ничего правового тут не наблюдалось. В том числе – правового свободного.

Вряд ли оно даже «витало» перед поэтом – современником «освобождения» по манифесту российского царя Николая II в начале XX века и по декретам диктаторской советской власти позже – с 1917 года.

А не осознавая свободы в праве, поэт был и вообще лишён знания, для чего он свободен, если даже считал себя таковым. В каком-то смысле это облегчало ему быть тем, кем он, собственно, и был. Просто поэтом. Не имевшим чётких

осознанных представлений ни о диктатурах и государственной политике, ни о характере своих связей с людьми, в том числе – связей интимных.

Здесь даже в неосознаваемости свобода приносила ущерб, так как будь иначе, виднее становились бы грозные взаимозависимости в окружавшем. Которые поэта «втягивали» и в конце концов погубили.

Недостаточное осознание и понимание свободы в праве «сопровождало» и Бродского. Будучи с размахом «разглашена» прежде всего в западном мире, свобода перед ним и в нём «вitalа», это бесспорно. Без этого не было бы и особенностей его отчуждаемости – «видения» бесконечной горизонтальной линии на стенах учреждений и протяжённых штакетных изгородей в жилых массивах, неприятия всей советской пропаганды, осуждения преследований в СССР по идеологическим мотивам и проч. И процесс отторжения, «выношенный» как специфичный акт оценки происходящему в связи с работой над образами, опять же не мог не сказываться благотворно на его творениях, пронизанных метафоричным и честным.

Также нельзя в связи с этим не упомянуть об использовании им матерного в его стихах. Вне всякого сомнения, это было упоздание в пошлое и в общем-то сама пошлость. Которая, хотя и бывает «извинительна» в видах таланта и «обосновывает» манеру «вопреки» кому-то, но в целом есть не осознаваемая в праве свободность – точно то же самое,

что выражалось в пошлой развязности Маяковского.

Бродский, однако, всё же, видимо, лукавил со своим «компроматом». Разве с уездом за границу исчезало для него и повторяемое, однообразное, а также и напрямую чуждое, и разве оно могло исчезнуть вообще, по чьему-то лёгкому желанию? Он такого (невозможности) не исключал и сам («шило на мыло»).

Не могут ведь, в самом деле, куда-то деться по чьей-то досужей прихоти параллельность расположения рельсовых путей на железных дорогах – вещь сама по себе не такая уж и «отрицательная», чтобы ею раздражаться и не принимать её; повторяемость ночи и дня, заход и восход солнца в течение каждых новых суток; повторяемость формы одежды на каждом другом военнослужащем или полицейском; утомляющее однообразие молитвенных текстов, произносимых по многу раз на одних и тех же богослужениях.

Великолепный пример того, как однообразное, повторяющееся может быть и полезным, и даже нужным, преподал Наполеон Бонапарт, который, найдя в романе Гёте «Страдания молодого Вертера» увлекательные смысловые глубины, перечитал это «захватившее» сразу при его издании многие европейские страны произведение, по его словам, «от корки до корки» восемь раз.

Аналогичное имело место у Льва Толстого: известно, что отдельные свои прозаические шедевры он переделывал (заново переписывал) не то что по несколько раз, а – по несколь-

ку десятков раз.

Да, разумеется, не исключается и иное.

В Нью-Йорке, например, любого способно вогнать в тоску уже одно только номерное название улиц. Если вернуться опять же к личности Бродского, то, между прочим, у него нигде в эмиграции «боязнь» (или – «болезненность» восприятия) повторяемого «не отмечена» – ни в творчестве, ни в публичных откровениях, чего нельзя сказать об его отношении к стране, которую он вынужден был покинуть.

Рассуждая в «Нобелевской лекции» о бегстве «от общего знаменателя», Бродский, похоже, не придавал значения сходству этого «понятия» с формулой Баратынского о «лица необщем выраженьи»* и просто не мог отказать себе в удовольствии лишний раз побыть на виду оскорблённым собственным изгнанием.

* (Е. Баратынский. «Муза». По изданию: «Библиотека поэта». Е. А. Баратынский. «Полное собрание стихотворений»: «Советский писатель», Ленинград, 1957 г.; стр. 142).

Бегство и в самом деле давало ему кой-какое «преимущество» при освещении темы СССР, что видно по стихотворению «Ответ на анкету» от 1993 года, где, в частности, сказано:

Но нестерпимее всего филёнка с плинтусом,
коричневость, прямоугольность с привкусом

образования; рельеф овса, пшеницы ли,
и очертания державы типа шницеля.

(И о с и ф Б р о д с к и й. «Сочинения». «У-Фактория»,
Екатеринбург, 2002 г.; стр. 681).

Это могло говорить только о своеобразном смирении перед реальностью, но в таком виде, когда личность ещё не успела набрать необходимой устремлённости к свободе в её правовом и притом очень расширенном значении, исключающем остановку или хотя бы оглядку на предыдущее.

То, что всё происходило именно таким образом, доказывается неисполнением «компромата», о котором заявлялось, или точнее – не очень активным участием в таком действе. – Однако это лишь редкий случай «мягкой» «развязки» со свободой.

Самостоятельно выставить ей преграды подавляющему большинству людей попросту, видимо, не дано.

Как мы не могли уже не заметить, обстоятельства нередко принимают совершенно нелепый оттенок, когда свобода «витают» перед людьми и в их сознании как выражение государственного, публичного права. Лишнее теперь отторгается по закону. И, безусловно, отторжение должно иметь предельно крайнюю форму при апелляции права к абсолютно-му.

Здесь компрометирование нередко «выходит» из опошлённого. Или также – из абсурдного. При этом играет роль

обуздание свободного, «предназначенного» для выражения в сущем, существенном: оно как бы увлекает это существенное за собой и как бы его испытывает, что, кажется, несколько не противоречит общепринятой логике. В том же случае, когда в существенном выявлялась бы алогичность, оно, существенное, должно бы «прекращаться», растворяясь в исходящем на нет, склонном к саморазрушению свободном.

Собственно, это – путь в абсолютное, и ради того, чтобы в сущем не происходило принудительного искривления или игнорирования логичного, его, сущее, и надо бы «испытывать», предоставляя ему возможность развиваться свободно.

Вся беда в том, что практика всегда имеет дело с приблизительным. Сущее в практике, особенно в управлении, есть и требуется на каждом шагу. Но многое не в состоянии сохраниться, будучи отдано свободе. Гармония нарушается. И тогда предпочтение отдаётся уже несущественному, но – якобы существенному.

Именно его «приспосабливают» к действию разрушающего свободного. Через идею, освящённую правом. Тот же путь к абсолютному. Но теперь всё то, что существенно, должно регулироваться принудительно, с «поправкой» (насильственной) на идею. Тем самым также должно быть искажено или выхолощено право. И поскольку принуждённое всегда претендует на свободу, она в нём – подозрительна.

Приходит пора игнорирования сущего, его отчуждения и удаления там, где только это удаётся, конечно, на основе об-

мана – обманной апелляции к добру через что-нибудь «возвышенное», «патриотичное» и проч.

Образ государства, где управление устроено по такому сценарию, не может не рисоваться исключительно в сумрачных, закатных красках. В искажённом свободном здесь видят именно возвышенное, патриотичное, национальное или уж и националистическое и проч. Остальное становится как бы «лишним»: им можно пренебречь, можно его «забыть», даже растоптать или изничтожить.

Тут как тут и пропаганда с обманным лицом – омытым в источнике верховной (или абсолютной) идеи. Найти компромат ей не составляет никакого труда.

Мы постоянно это наблюдаем сейчас, узнавая позиции США, Евросоюза, Англии и подчиняющихся их политике других государственных образований к действиям и заявлениям России, когда что бы с её стороны ни предпринималось, объявляется кознями Кремля и игнорируется в сопровождении быстро готовящейся лжи, исходящей из любых возможных официальных или неофициальных источников, не говоря уже о средствах массовой информации, где всесветская ложь в отношении России стала показателем их противоестественного шального идеологического единства в угоду своим хозяевам, а одновременно и – их тотальной продажности, – того, что легко допускается при любимой ими, туманной и дезориентирующей свободе слова.

К этому прибавим, что если при общей неполноценной

идея «дозволяется» полная свобода, то абсурдное становится очень быстро очевидным для всех. Кому в наши дни не знакомы мотивы безудержного развития алкогольной промышленности и тотального разлагающего воздействия такого развития для населения в том или ином обществе. Но при решении вопроса «как тут всё-таки быть?» абсурдное здесь «обходят».

В управленческие умы, кажется, навеки вбито целесообразное, состоящее в том, что доходы от выручки за алкоголь идут на пополнение бюджетов. И всегда, возвращаясь к этой болезненной общественно-социальной проблеме, управленцы, а заодно с ними уже и законодатели видят свою задачу только в урегулировании сбора доходов от продажи алкоголя – путём установления государствами акцизов, монопольных прав и проч.

Все знают, что проблема «загоняется внутрь». Но никто слова не скажет, что здесь тупик сооружён из представлений, не предусматривающих предела для развития алкогольной промышленности. Это – табу.

Которое «удерживает» в себе, не выпуская, только одну, но действительно целесообразную необходимость – свёртывание промышленности, причём если и не полное, то хотя бы до тех пределов, когда производство и потребление алкоголя сохранялись бы, скажем, лишь в медицинских (оздоровительных) целях (по назначениям врачей? А – что?).

Таким-то образом отчуждается сущее в явлении. Здесь

явление возобладает ещё на какое-то, может быть, даже продолжительное время. Но – как обусловленное свободой, оно будет нести и нести всё более мощное разложение вокруг себя – в данном случае

разложение и отдельного человека и обществ, – всего в них социального, и – не только.

Возбуждаемые от случая к случаю «авторитетные» мнения о пользе вина, водки и других крепких спиртных напитков, а также пива вроде как закрывают спонтанный спор о нецелесообразности производства алкоголя. И понятно, в чём тут главное. «Судьба» или «доля» сущего в таком виде (с предположением о запрете) должна быть уже, конечно, «смешной» и должна быть взнуздана, поскольку противоречит идее-фикс, оберегаемой с помощью табу...

Это при его «влиянии» на сущее беспомощно признаётся полная и как бы на все времена неспособность урегулирования его свободы с помощью публичного права. Взамен чего должно «работать» уже только право естественное, причём та его худшая «часть», которая, всё отчуждая, в конечном счёте также должна всё отрицать, – до полного удаления, то есть – до уничтожения всего.

Естественное в данном случае выбирается «по-удобности», то есть исходя всё из той же замшелой целесообразности.

Скажем, вас просветят тем, что, мол, народы меньше пить

не станут, уйдут в самогоноварение, в контрабанду и т. д. Как раз это и является следствием сохранения табу. Уже на протяжении веков. С одобрения всех существовавших властей. Показать, что «эстафета» «не принимается», современная демократия, как и режимы предыдущих веков, не может в принципе. Даже больше того – явлению придаются новые энергичные импульсы, усиливающие «целесообразное» отчуждение сущего.

Например, по закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (принят в 1995-м г. в РФ) не допускалась розничная продажа водки, вин и проч. вблизи детских, учебных, культурных и лечебно-профилактических учреждений и на прилегающих к ним территориях. Но, поскольку в разумном порядке по этому акту права оказалось невозможным определить в длине пути «до» тех самых учреждений, то ничего не нашли лучше, как переложить функции в таком «нормировании» на власти нижнего яруса, – как бы над ними надсмеявшись! И там, «внизу», действительно так всё тогда и «поняли», – мало что понимая и нагораживая одни нелепости на другие.

Не без «пользы», видимо, читали законодатели «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина, где писатель рассказывает о деспоте крепостнике «старого образца», который, не будучи ограничен во власти (в дворянской вольно-

сти) на территории своего имения, назвал двух своих близнецов-сыновей одним именем – Захарами, будучи Захаром также и сам; но особенно он напраказил с разделом его собственности, поделив, например, крестьянские дворы «через один» (один двор одному сыну, другой – рядом с первым – другому и т. д.), обойдясь так же с землёй, господским домом и т. п.; – то-то было хлопот разбираться в этой оригинальной издёвке самодура его затюканным отпрыскам, поскольку за небольшим отрезком времени каждому из них и жить приходилось постоянно тут же, никуда из имения не выезжая!

(См. об этом: «Библиотека «Огонёк». М. Е. С а л т ы к о в – Щ е д р и н. Собрание сочинений в десяти томах. Издательство «Правда», Москва, 1988 г.; том десятый, стр. 511, 512).

В целом, когда говорится о разрушении через увеличенную свободу, при оценке нежелательных результатов, наступающих в чём-то одном, обычные, простые люди, за редкими исключениями – снисходительны и терпеливы. Индивидуальную вину, к примеру, за отдельный бытовой проступок или за «оплошное» ненормативное поведение на обществе, если за ними не возникало ответственности по суду или – значительных материальных потерь, они часто склонны прощать, хотя бы эта мера могла кое-кому казаться слишком мягкой.

В обоснование используются доводы, что если тут была развязность, то вполне извинительная – как «лёгкая»;

также «в зачёт» могут приводиться объяснения «молодостью», «талантом», «характером», «склонностью к шутке», что тут просто «мелочь» и т. д. Провинившемуся в этом случае предоставляется возможность всего лишь извлечь необходимый нравственный урок – чтобы «не повторяться».

Как правило, «претензии» «без последствий» выражаются в пределах обычаев, народных традиций. Здесь мы имеем дело с тем сущим, которое, будучи в «свободном движении», так или иначе получает общественную «поддержку», а обвинения, если даже причинён некий вред, быстро «стираются» и сходят на нет.

Однако свобода в «частном» качестве может быть и другого рода. «Может быть» – потому что даже в единственном, как, скажем, в бомбёжках Соединёнными Штатами Америки городов с их гражданским населением то в одной то в другой стране («за отсутствие демократии» и в соответствии со своими гегемонистскими интересами) свободное «индивидуальное» поведение, исходящее из «целесообразного» или идеи-фикс, что называется, уже давно стало ощутимо для всех.

Самое лучшее как поступить с таким частным или «оригинальным» – устранить его или, по крайней мере, желать, чтобы оно не превратилось в массовое. Ведь будучи выражены многими (в данном случае многими государствами), проявления слишком свободного рассматривать как безобидные было бы и опрометчиво, и опасно, причём – даже в ме-

лочах.

Касаясь же индивидуумов, отдельных людей, всех нас, есть необходимость напомнить, что наше поведение всегда конкретизируется в поступках – при любой степени свободы. Если есть и даёт о себе знать мода или пример, неважно какие они – «хорошие» или «плохие», на них многие равняются. Если нет ни того ни другого, – идут «своим путём», как бы изобретая индивидуальное, иногда останавливаясь, но всё же постоянно двигаясь дальше.

В условиях либеральной демократии к этому каждого увлекает верховная правовая «ценность» – «освобождение» «до конца».

Однако правовое в таком крайнем виде на каждом шагу входит в противоречие с конкретным правом, которое в теоретическом плане уже давно воспринимается не иначе как обобщённое насилие.

(Об этом см.: В л а д и м и р С о л о в ь ё в. «Духовные основы жизни», глава II. По изданию: «Выдающиеся мыслители». Владимир Соловьёв. «Избранные произведения». «Феникс», Ростов-на-Дону, 1998 г.; стр.173).

Одно правовое, выходит, «борется» с другим. – Конечно, проиграть и «сдаться» обречено право конкретное, действующее в обществах. Поскольку обладающее разрушительным верховное негласное право тоже есть насилие, но только более мощное, не имеющее предела.

Проявлений отторгаемости у каждого из нас могут набраться, как видим, десятки, если не сотни за сравнительно небольшие отрезки времени. Это, если выразаться образно, есть та нежелательная цена, в которую обходится нам наша свобода. Не всегда умеющие управлять собой, мы, в порядке вещей, многое из этого «ассортимента» попросту упускаем из виду, не замечаем.

Снисходительно можно относиться, например, к тому, что, войдя в тесноватый проулок, вы вдруг ощущаете, как вам мешают идти редкие встречные. Многие идут прямо на вас, как бы не намереваясь разминуться. – Здесь незначительное раскованное, взятое от права на освобождение «до конца» и будучи массовым, мало различимо; далеко не каждый придаст ему хоть какое-то значение.

Разрушающую силу свободного в человеке невозможно оставить незамеченной, когда оно ещё и стимулируется – физически, физиологически, что бывает при употреблении алкоголя, наркотиков и проч., чего мы уже касались выше.

Становясь массовым, «индивидуальное» многократно увеличивается в его разрушающей мощи. – И причина тут очевидна: уже в самой свободе, которую обусловлено отчуждение, развиваются элементы силы, насилия; – их накопление где-то обязательно должно переходить в доминирование, в «захват», распространяемый на весь процесс...

Свою негативную роль может играть здесь и выбор. Он теперь, безусловно, очень широк, поскольку человек или

корпорации (а также, разумеется, и – государства), будучи «вправе» и «теряя» при «освобождении» многие «прежние» свои обязанности и обязательства, не намерены отказываться от их возрастающих, как правило, не всегда – лучших, даже одиозных, новых запросов и интересов.

Теперь интересы могут варьироваться в значительно большей степени, чем в «обычных» условиях – «до того».

А это значит, что могут иметь место и более выраженные формы отчуждаемости, вплоть до крайних, когда, скажем, среди конкурирующих наступает момент обоснования права сильного и на смену отчуждаемости приходит необходимость удаления или даже – уничтожения.

На такое «право» обычно претендует сначала не кто-то один из многих, а именно – многие или, по крайней мере, немалая их часть. При этом отход от существующих норм может всецело отразиться на выборе манеры поведения уже в тех случаях, когда ещё требуется учитывать позицию находящихся рядом или – общественное мнение.

Здесь оглядка на конкретные обстоятельства пока что способна сдерживать устремлённость на более скоростное освобождение. Но, поскольку пример уже подан, сам собой процесс движения вперёд остановлен или ограничен быть не может. Или же, если это должно быть сделано, то лишь с невероятными трудностями (в том числе – связанными с огромными расходами), из-за чего принятие контрмер уже окажется вне рамок целесообразного с точки зрения здраво-

ГО СМЫСЛА.

Для всех участников процесса, если он наблюдается даже в условиях «лучшей» цивилизованности, предстоят тяжёлые времена разборок и упований на толерантность, которой постоянно не хватает.

Солидарность и согласие нужны как воздух, ведь участники процесса, развивая свободное, во многом поначалу имели одинаковые или почти одинаковые интересы, что вело к сотрудничеству, к обрастанию взаимосвязями. Свобода же «требует» оборвать их, выйти из них, чтобы оказаться «впереди».

Выросшее количество взаимосвязей теперь должно этому препятствовать; в результате неизбежна дестабилизация в отношениях, которая быстро захватывает все поры общественной жизни и все общества, где проблемы с «освобождением» заходят за края; там ревизуются, пересматриваются непосредственные предметы, по которым устанавливались или укреплялись различные связи.

В пределах контактов межгосударственных это могут быть этнос, культура, товарообмен, традиции, вера – что угодно, – если к тому находят хотя малейшие поводы или амбициозные притязания.

Та же система разборок, а значит и соответствующих потерь на уровне корпораций и предпринимательства.

Здесь обогащение становится единственным «правовым»

средством оставить всех позади; оно не может заканчиваться ни на какой величине приобретённого, пусть это была бы даже бесконечная величина, на что устами Афинянина (Сократа) из уже цитированной нами работы «Государство» указывал ещё Платон:

...хотя, – говорил он, имея в виду тех, кто был занят выполнением работ и услуг по заказам частных лиц и полисов Древней Греции, – возможно извлекать умеренную прибыль, они предпочитают быть несчастными.

(П л а т о н. «Государство. Законы. Политик». «Мысль». Москва, 1998 г., стр. 666).

Во имя свободы, как видим, не может идти и речи об ограничениях в желании обогатиться. Это одно из «корневых» табу нынешней демократии.

А довольствуются при таких устремлениях лишь законами в виде правил «игры» (приватизация и проч.), в которой привольнее всего тем, кто обладает властью делить или просто по натуре мошенник. Как раз в таких обстоятельствах в обществах и в государствах возникают адовы круги неудержимой коррупции.

Подверженный накатам «освобождения», испытывает соответствующие деформации и сектор личностного, индивидуального.

Достаточно указать на ошеломляющие подвижки в раз-

рушении семейного уклада, что в последние времена выражается в росте числа разводов и соответствующего же роста брошенных детей, всё чаще обрекаемых на беспризорность и беспросветное нищенство, на болезни, преступления и проч.

И если когда-нибудь это скажется полнейшим развалом концептуальности всей современной либеральной демократии, как очередной формы цивилизации, то при этом, собственно, и упрекать и винить будет некого. Поскольку, избрав метод «освобождения» «до конца» в качестве своих правовых стратегий, и власти и общества должны чем далее, тем становиться всё свободнее от обязанностей за чьё-то последующее будущее, оставаясь буквально во всём ни при чём.

Если манкуртизация была плоха как состояние тотальной забывчивости о прошлом, то чем же она лучше в ипостаси, связанной с неудержимым слепым уклонением от ответственности за будущее?

Надобность в более глубоком осознании реального и возможного заставляет обратить наше внимание также на то, каким образом освобождение трансформируется в жизненный стиль, при котором люди могли бы не быть ущемлены негативными последствиями от своей свободы.

Итог здесь, как нам представляется, всегда надо принимать таким как он сформировался – «вылепился»; то есть речь должна идти о согласии многих, а со временем и – всех «освобождающихся» на такое абсурдное или скомпромети-

рованное, которое ранее казалось резко непривлекательным, но – неодолимо. Тут, хотя и к большому сожалению, не остаётся ничего другого как принять его таким, как оно есть.

Это обозначает «утверждение» освободительного этапа с переходом к новой, уже легальной «норме», имеется ли в виду этический постулат или регламент права. – Если хотят избежать слишком быстрого перетекания свободного в таковые нормы, должны действовать жёсткие факторы его сдерживания. Но всё равно «природа», как говорится, берёт своё...

Как сказано у классика:

...те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены...

(Ф р а н ц К а ф к а. «Голодарь» (четыре истории): «Маленькая женщина». В переводе М. Абезгауз. По изданию: «Классики XX века». Франц Кафка. «Феникс», Ростов-на-Дону – «Фолио», Харьков, 1999 г.; стр. 263).

И ещё несколько замечаний по теме настоящего раздела.

То освобождение, которое происходит вне осознания его последствий, не менее губительно чем революции. Ведь оно по своей содержательности и есть не что иное как действие именно революционное, взрывающее.

Очень часто процесс движения к свободе выражается будто бы в небольшом – в желании возврата к состоянию изна-

начально естественного. По той причине, что в представлениях кого-либо (не обязательно только одного) оно может ошибочно признаваться неким прошлым положительным опытом, – где больше раскрепощения, раскованности.

Но как раз на этом пути движение оказывается наиболее драматичным. Поскольку ограничители в виде обычаев или элементов публичного права предназначены в обществах по преимуществу только для отхода от первоначального, не оправдавшего себя естественного, – для разрыва с ним, ухода от него.

Сами же по себе они тоже приобретают признаки естественного, хотя уже и другого по содержанию, «отдельного», самостоятельного, этапного – «нормы».

И теперь, чтобы войти в «начало», нужно всё, что было предназначено для отхода от него, сокрушить или, в крайнем случае, обойти.

Но опасность тут не в одном этом условии.

В изначально естественном очень много такого «порочно-го», от чего уходили, изобретая ограничения и считая, что оставаться в нём дальше чревато. – Что можно получить, возвращаясь к худшему?

Когда в естественных условиях родового строя или даже родового человеческого жизнеустройства замкнутое в себе полигамное кровосмешение между родственниками стало прямой угрозой для существования и выживания, то был только один способ избежать всеобщей гибели из-за вы-

рождения – в переводе репродуктирования на начала свободы.

Поскольку же отрицательный результат от такой перемены мог тут же свести на нет всё «мероприятие», то вскоре в виде ограничителя был, как метод спасения, «выделен» институт семьи.

Но – чтобы функциональность этого института могла в те времена рассматриваться именно в его спасительном качестве, он, конечно, должен был хотя бы в зачатках или в общих чертах существовать и много раньше, представляя собою предмет наглядный и очевидный, пусть даже и на «низшем», инстинктивном или каком-то ещё другом подобном уровне.

В нашей популяции, в её очень далёком от нас и ещё диком состоянии элементы института семьи уже могли быть чётко обозначенными и проявляться такими, какие мы можем наблюдать в нынешнее время у животных, в частности, у ближайших к нам по физиологии – у приматов.

Здесь вопрос лишь в том, когда и при каких условиях наши предки выходили из дикого состояния и оказывались в состоянии *homo sapiens* – с его великолепными умственными возможностями, многократно превосходившими то, чем должны были довольствоваться предыдущие им поколения.

Логика подсказывает, что семейный брак (парный или гаремный), как ограничитель благ «не принятой» предками полной (бескрайней) свободы, непременно должен был

поначалу рассматриваться по большей части в его «естественном» виде, то есть как рассчитанный прежде всего на воспроизводство ячеек; в таком содержании он долгое время позволял более-менее удерживать общества (в виде родов, племён, государств и проч.) от разлагающих последствий «ненормативного» процесса взаимоотношений полов, становившегося необратимым.

«Первые» люди, как это нетрудно представить, уже по своему обустроивались в их мире, и им просто нельзя было не призвать к себе в помощники так высоко поднявшее их интеллект «освобождение».

Роль разрушителей старины, с её кондовыми обычаями и ограничениями, часто ещё – кровавыми, в значительной степени, вполне вероятно, могли выполнять «изгои» или «шатуны» – те молодые представители мужского пола, каких по их взрослении вынуждены были отторгать от себя в самостоятельную жизнь семьи или кланы, – как лишних (едоков, самцов и проч.)

В сочетании с открывавшейся перспективой активного мигрирования и смешения рас этот «инструмент» раскрепощения должен был напрямую служить ускоренному «развитию» половых отношений. Развитие здесь приводило к тому, что жёстко повергались прежние кондовые ограничения, и они заменялись крайней свободой, что, должно быть, расценивалось соплеменниками не иначе как величайшее достижение, но – уже грозило институту семьи. Здесь плюс вы-

ходил разве лишь в том, что резко отодвигались угрозы вырождения, о которых сказано выше.

О том, что в далёкие прошлые времена при возникновении института семьи был достаточно продолжительный период такого серьёзного пересмотра жизненных принципов и соответствующих «приобретений», подтверждают учёные из университета Аделаиды, Австралийского национального университета (Австралия) и университета Пенн Стейт (США), рассказавшие о результатах своих специальных исследований в журнале *Nature Ecology & Evolution*.

На основе данных об останках людей, живших в Европе и Азии в последние 45 тысяч лет, а также климатических изменений авторы публикации утверждают, что всего 10 тысяч лет назад генетическое разнообразие в людских анклавах было намного богаче, чем у людей нынешней современности. Иными словами, энергичнее шло их размножение и передавался лучший генетический фонд потомкам.

Мы можем уверенно утверждать, что выявленные учёными закономерности указывают одновременно и на ту заметную степень «освобождения», которую довелось испытать в своей истории многим народам и по которой их новые поколения могут до сих пор ностальгировать – как о естественном праве, с отчуждением воспринимая трудные обстоятельства нынешней жизни на земле. Где не может быть полной, исключительной, абсолютной свободы ни для кого – ввиду

необходимости укорачивать её ограничениями.

Былая великая свобода тех давних сроков представляла из себя, как приходится её понимать сейчас и нам, обусловленное природой «приобретение» огромной исторической важности не только по части убеждений общинных способов существования и гарантирования полноценной физиологичности, генного.

У человека при более высокой в нём развитости, в том числе – чувственного, эмоционального, с появлением избыточного и более комфортного досуга, более сытного пищевого достатка неизбежно должны были возрасть и возможности удовлетворяться чувственностью.

На этом этапе могла происходить стремительная переориентация в сущности полового спаривания. Поскольку репродуктивное обеспечивало в нём самую высшую меру чувственного, «выходившего» из либидо и непосредственно спаривания (секса), то здесь и следовало быть тому, в чём удовлетворённость чувственным могла достигать наибольшего.

То, чем удерживалось раньше репродуктивное, становилось теперь довлеющим, выходящим «за рамки», тем более что «освобождение» не обходилось без тех самых «изгоев» и нового ритма передвижения людей по материкам земли.

А главный результат состоял в том, что репродуктивное уже «использовалось» по преимуществу как нечто «вторичное»; – оно отодвигалось в сторону, уступая место удоволь-

ствиям, чувственному.

Это «новое» и до настоящего времени существует только благодаря «старому» – репродуктивному. Но так сложилось, что «отрыв» отсюда оказался настолько мощным, что репродуктивное всё чаще как бы игнорируется, не признаётся; – оно оказалось приглушенным даже в области этики и существовавших традиций.

Также, думается, не лишено смысла предположение о постоянном многократном «экспериментировании» с институтом семьи ещё с доисторических упований на свободу, прежде всего – личностную, поскольку не могло стоять на месте развитие «мощи» удовлетворения чувственным.

Ведь востребование всё более частых сближений (спаривания) вряд ли «умещалось» в рамки какого-то одного вида семейности; нельзя исключать, что их, таких видов или «ступеней» должно было быть достаточно для «закрепления» успеха «освобождения», которое проходило от одной меры («нормы») насыщаемости к следующей и т. д., – пока оно не достигло этапной «величины», сопоставимой с нынешней или уже близкой к ней.

Можно, видимо, говорить даже о том, что в отдельные исторические периоды такие процессы бывали, что называется, повальными, касавшимися всех, и часто они искусственно возводились в разряд повальных под влиянием силовых традиций.

Именно так, в частности, мог возникнуть обычай обрезания.

ния, который получил широчайшее распространение в коленах древнего народа Израиля и в сопряжённых с ним племенах.

Обрезание, как то подтверждают нынешние мусульмане и евреи, обеспечивает, кроме повышенной гигиеничности (что было очень важно для условий кочевого образа жизни, часто – в пустынных, безводных местах), бóльшую продолжительность акта совокупления, а также – дополнительные «нюансы» в самом акте.

Эта «норма» признавалась настолько значительной, что никакие меры по её запрету в рамках борьбы с очевидными половыми извращениями уже ни к чему привести не могли.

Сегодня институт семьи, прежде всего в составе двух супругов (мужчины и женщины), обветшал преимущественно из-за того, что в его рамках стало невозможным полноценное репродуктивное; – оно размыто под воздействием тотального «освобождения».

Поражающее действие отрицательного итога достаточно ощутимо здесь в виде бурного распространения инфекционных заболеваний и в мутациях (рождение уродов), в основе чего находится извращённое, а также – нарушения экосистем, которые в свою очередь исходят от «освобождения» в других сферах современной жизни человеческого сообщества или отдельных стран.

Даже образование семей на основе брачных контрактов уже не в состоянии исправить ситуацию, так как в целом

семейным правом урегулируются только чисто имущественные, вещные, «материальные» отношения. – От репродуктивного в его природном значении всё это далеко в стороне.

Надо полагать, напрасны были бы также упования на то, что освобождённые ото всего (почти в рамках изначальной свободы, в данном случае взятой, конечно, «от» абсолютного) и, стало быть, уже основательно «размытые» и роняющие перспективу отношения между полами имеют якобы нескончаемый «резерв» устойчивого равновесия (баланса) на фоне смещения миллиардных людских масс (свобода перемещения).

Медицинская наука и практика в этих условиях не в состоянии угнаться за новыми напастями – последствиями «освобождения», – как бы ни были велики на данном участке масштабы финансирования или развития оздоровительной и профилактической работы. Поэтому несомненно то, что резкое генное ускудение человечества, как производное от свободы, уже, может быть, надо считать фактом сегодняшнего дня, и, если это действительно так, то и ещё большее ухудшение ситуации – не за дальними горами...

И ещё к вопросу об отторжении и отчуждаемости как «средствах» неостановимой, методичной устремлённости к новым разливам свободы и существенно её портящих и перерождающих.

Движение к изначальное естественному, в ту сторону, где

в лучшем случае имели место лишь инстинкты или начатки обычаев, следовало бы рассматривать в его полнейшей реакционности. Ведь речь при этом идёт об устранении громадного материализованного опыта, в том числе в формах поведения и принятия решений. Повторимся: выбор тут устремляется «через голову» «нажитого» веками или в обход его. Но – всегда он стремительно скор (особенно в этом месте!) и содержит апелляции к естественному, как некоей благодати, принимать которую нужно будто бы за неоспоримую данность.

Отсюда особая нетерпеливая притязательность и агрессивность в актах «освобождения», если оно протекает в обществах и тем более, если оно – правовое: ему нужно представляться важным, «осмысленным» и как бы даже «красивым» уже на этапе движения к естественному – как таковому, безотносительно к содержанию последнего.

В обычных условиях гражданского социума это не может не выражаться обилием демагогии, словоблудия и сопутствующей им сословной мимикрии. – Того, чем постоянно довольствуется любой в статусе новейшего прагматика.

При наличии отчуждаемости становится очень важным и аспект недоверия в людской среде.

Где, на какой «площадке доверия» люди могли бы чувствовать себя более-менее уверенными в настоящем и в будущем, – умиротворёнными?

Ведь уже ни для кого не является секретом, что такие «вечные» понятия, как честность, порядочность, доброта и т. д. с течением времени всё больше «стираются», нивелируются, сходят на нет и нет им замены, по крайней мере, такого не приходится ожидать в условиях нынешней цивилизации. А что ещё хуже – они сплошь и рядом совмещаются с противоположными и не только в одной личности, а и в коллективах, группах, других образованиях, временных или постоянных.

Люди часто уже никак не могут доверять – друг другу, субъектам деловой активности, отдельным ведомствам, правительствам, партиям, нередко и самим себе. Этого нельзя не заметить по огромности управленческого административного аппарата, в котором как будто хотят видеть удобство и некую эффективность экономических, бытовых и прочих начал, а по сути тут решается вопрос о внутриобщественном, присутствующем во всех и в каждом недоверии уже едва ли не крайнего масштаба, требующем всё новых и новых мер его смягчения и снятия социумных перенапряжений.

Увеличение численности судей, полицейских, офисных работников и проч. – лишь прямое следствие извращённостей в человеке (убийства, кражи, взятки, мошенничество и т. д.), – когда их нельзя предотвратить меньшими усилиями.

В этом отношении в одном ряду среди новейших «средств» и мер против «порчи» человеческого сообщества можно рассматривать и фактор востребованной повышен-

ной опрозраченности нашего бытия – медийную отрасль. Появление СМИ связано и в целом с накатом прогресса (вос-
требованием новых знаний и впечатлений) и вместе с тем –
с недостаточным воздействием этики и публичных установ-
лений: их каждому бывает легко обходить, «не выставляясь»
и не будучи на виду.

Впрочем, как и всё, что вызвано прогрессом, и СМИ тоже
оказались не в состоянии надолго оставаться вне абсурдного
и опошления. Мы этого просто не могли не коснуться, ука-
зывая на причины проявления всесветской лжи в средствах
массовой информации стран так называемого демократиче-
ского Запада.

Состояние умиротворённости в целом есть, конечно, иллюзия,
но оно возможно как желательное конкретное – через
устопоривание абсурдного. По части же того, как тут свести
концы с концами, тяжело всегда не только пророкам; вде-
сятеро тяжелее должно быть тем, кто взялся бы за это уже
непосредственно...

«Освобождение», как мы убеждаемся, проходит своими
этапами, постепенно «разгоняясь» и выходя за рамки необ-
ходимого, а часто и – «дозволенного».

В наши дни ему нет преград. И оно пронизывает букваль-
но все грани общественного бытия, до самих его основ, до
мелочей.

Нет ему и приемлемой, говоря без обиняков, – «целесо-
образной» замены, альтернативы. – Если не считать одной

и последней возможности – перейти от витания в облаках к решительным осмысленным ограничениям.

Но – поскольку здесь речь должна идти о свёртывании свобод, то, вероятно, вкусившие их окажутся пока на тяжелейшем распутье, не допуская перспектив своего неизбежного реального и широчайшего уграничения.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ КАК МЕРИЛО СВОБОДЫ

Любому из нас всегда не мешает проявлять особую осторожность там, где неизбежным и дол́жным ограничениям при допускаемой свободе по разным причинам не придают сколько-нибудь серьёзного значения.

Для большинства людей интерес к ограничениям если и возникает, то преимущественно в том их содержании, когда они вводятся в публичном правовом пространстве. То есть – в тех нормах, какие при декларировании гражданских свобод и прав устанавливаются государствами или от лица государств – одного или их союзов.

Сюда, само собой, входят и ограничения, помещаемые в тех шатких и часто не соответствующих ухарским декларациям нормам, которые становятся государственными, будучи в частях или полностью заимствуемы, – из кладези естественного общечеловеческого права.

Также хотя и безотчётно каждый из нас устанавливает их уже лично для себя, находясь в положении субъекта, соблю-

дающего нормы и государственные, какие ему известны, а также и неизвестные, и те естественно-правовые, неписанные, какие он уяснял и уяснил со своего рождения

Поэтому оправданно рассматривать ограничения в большей части характера социумного, в строгом их соотношении как с публичными актами права, так и с этическими, оставляя в стороне аспекты их бытования, напрямую не связанные с государственными или персонифицированными интересами, – те из них, которые в изобилии имеют место в мире физическом, в самых разных процессах, например, при свободном падении или перемещении тел.

О том, что в неподконтрольной государствам сфере ограничения есть и даже – обязательны, кажется, никому в голову ещё не приходило спорить, поскольку факт их наличия никогда не отвергался ни философией, ни практикой.

В свете такого понимания вещей тем очевиднее должно представляться нам то правовое невежество, которое пока ещё царит в массе граждан, упрямо не желающих считаться с необходимостью увеличения своих свобод непременно в ограничениях, «сопровождающих» или умаляющих каждую из этих свобод.

Здесь надо уяснить прежде всего то, что ограничения, как важнейшая «наполняющая» любого закона или его отдельных норм, представляют собою прямую альтернативу свободе, и, занимая в законах своё «положенное» место, они переключивают её в тех сравнимых пропорциональных объёмах,

в каких бывают представляемы сами.

Допускать урона свободе при таком подходе никому не хотелось бы, – это совершенно ясно. Ведь речь в этом случае шла бы о её существенном ущемлении – как «вещи» неизменно высокой общественной ценности и как своеобразном показателе не только общественного прогресса, но и – цивилизованности.

И тем не менее нашим бытовым практицизмом (и той же цивилизованностью) нам диктуется жёсткая необходимость иметь в хорошо осмысленном раскладе оба указанных «наполнителя».

Представлениям о них при этом не грозит превратиться в оторванные и ни в чём не зависимые друг от друга обособленности; наоборот – оба «наполнителя» могут проявляться более отчётливо, как бы отражаясь один в другом.

Польза тут несомненная, и она в том, что свобода, каким бы почитанием к ней ни проникаться, никого бы не уводила в заблуждение насчёт своего «размаха». Он у неё ровно такой, каким его делают ограничения. Не более того, но и не меньше.

Соответственно в полном виде «поведение» или значимость каждой из названных выше составляющих публично-государственного права легко умещает в себе вот это простое уравнение:

Закон (равно как и отдельные его нормы) = ограничения

+ свобода.

Здесь было бы ошибкой поменять слагаемые местами, поскольку ими представлены не чистые цифровые величины, а строго правовые понятия. Каждое из них по отношению к закону занимает только своё место – ближе или дальше от его внутренней, «центральной» «точки». Безусловно, ограничения примыкают к ней плотнее. В чём не трудно убедиться, если понимать закон как необходимость, «направленную» к установке и «удержанию» запретов – на излишки свободы.

Без ограничений он собою ничего представлять не может. Хотя в условиях демократии его, закона, нет и при отсутствии в нём свободы; – но расценивать её роль надо здесь по-другому.

Ведь она «была» и раньше – «до закона». Собою он урегулировал определённые отношения в обществе, к примеру, деятельность СМИ. Эта деятельность какое-то предыдущее время специальным законом не управлялась и была свободной. «Рамками» ей служили в совокупности правовые установления в государстве, а также устоявшиеся обычаи в виде морали и нравственности. Взяли эту наличную часть и «поместили» в закон, наделив «обязанностью» помогать ему.

Стало быть, слагаемые отличны одно от другого в том, что ограничения являются плотью от плоти закона, а свобода в нём – гостья. И не сказать, что она приятна во всех отношениях.

Наделённая функциями, укороченная, неразборчивая к похвалам, – уже только по этим очевидным признакам юридической неполноты она соотносима с ограничениями. Поскольку же в закон могут входить новые и дополнительные запреты, свобода вынуждена оберегаться от соперников на своей «территории» по методу ящерицы: при любом посягательстве часть её сама собой отпадает.

Из-за такой постоянной «оглядки» на убыль ей, собственно, и нужно то более для неё подходящее место, которое указано в уравнении.

Из приведённых пояснений вытекает следующее: не могут оправдываться никакие и ничьи «целесообразные» понимания свободы, – когда ей никто, мол, не может ставить никаких препон.

Чего скрывать, устойчивое, нередко почти болезненное пристрастие к ней в её как бы абсолютном качестве и «размахе» в наши дни есть пока фактор преобладающий. И что ещё хуже – о нём, как факторе негативном, на обществе не принято ни говорить, ни писать, ни слушать.

Вот почему лукавство посредством недовнимания к ограничениям, небрежного сталкивания их в некий побочный, почти как «срамный» резервуар нашего бытования не может не вызывать обеспокоенности и тревоги.

Ведь здесь приходится говорить уже не о чём ином как о стерилизации свободы, её отрыве от правовой основы и истолковании в том «представляемом» только высшем значе-

нии, которого за нею никогда не случилось и нет сейчас.

Если взять даже лучшие законы о СМИ в разных странах, то, к сожалению, толкование ограничениям даётся в них именно в таком тоне. Они представлены как бы в виде исключений – по хорошо всем известному «остаточному» принципу. И говорится о них в целом сдержанно и скупно, хотя их набирается много.

Существенные объёмные ограничения можно увидеть почти в каждом из дополнений в законодательные акты, какие по необходимости вносятся в такие акты после введения их в действие. Что, конечно, представляет собою фактическое урезание поля свободы уже в дополнение к тому, что было урезано раньше.

Выталкивание ограничений на обочину часто имеет результатом уже не стерилизацию свободы, а нечто более каверзное, в виде обтрёпок, только отдалённо схожих с ограничениями. Им суждено играть по сути новую роль, а точнее – уже не играть никакой роли, так как из под них на свет появляется их антипод – свобода, но вовсе не та, которая желанна и полезна обществам. Помните: – которая сродни беспардонной вольности?

Почему же нас как магнитом тянет поступать «наоборот»? Знаем ли, что нам надо? Готовы ли были бы мы соблюдать запреты, если они ко благу? Пожалуй, лишь изредка. И там, где сказано «нельзя», но не висит дубина, перенимая друг перед другом худшее, удовлетворяясь безнаказанностью, про-

таскивается «можно».

У России по этой части, как выразился поэт Тютчев, «особенная статья». С нею очень просто обойти любые существующие запреты, в том числе – закреплённые в государственных законах и подзаконных правовых актах.

В наибольшей степени в нашей стране попустительство нарушениям законов имеет место, пожалуй, в той их части, где сосредоточены требования корректного и уважительно-го обережения прав и человеческого достоинства в области межнациональных отношений.

О том, какие здесь бывают «уклоны, далеко за примерами отправляться не надо.

Откровенным шовинизмом пропитаны многие телевизионные юморины Задорнова («Я – не понимаю!»). По всяким неосновательным поводам, а то и вовсе без них пользуемся такими словесными значками превосходства русских над всеми «остальными» в своём отечестве, как «русская душа», «русский характер», «русский дух», «русская тройка», «русский лес», «русская берёзка», «русское поле», «Волга – русская река», «исконно русская земля», «любить по-русски», «новые русские» и т. д. и т. п.

Нельзя в связи с этим не отметить, что высокомерие или даже враждебность по отношению к «иным» входили в Россию в традицию при участии не в последнюю очередь «высшего» или образованного сословия.

Гоголь, этот вдохновенный певец православия, был, разу-

меется, не первым, кто поставил на поток широкое бездумное употребление оскорбляющего слова «жид» – как средства художественной выразительности. В том же замечены и не один раз Пушкин (чего мы уже касались), Тургенев, Горький и другие писатели.

«Традиция» въелась так глубоко, что становилась как бы частью национальной русской культуры: за последние двести с лишним лет никто ни разу так и не упрекнул в назывном оскорблении еврейства ни сам себя, ни кого-либо другого...

Вы разве с этим не сталкивались?

Из лукавства, а вовсе не из соображений большой культуры «иные», а это прежде всего народы или народности нашей федерации, оставляются, конечно, не названными – вслух или в письменах. Но и на слуху, в речах и докладах, как соответственно и в письменности (в литературе, учебниках, на витринах и проч.) указанные выше значки, выражающие «высший» статус одной нации, присутствуют в невероятных количествах, и время, к большому сожалению, оказывается не властно поставить серьёзную преграду этому хулительному «припасу».

И разве хоть кто-нибудь из очень многих, кому позволено совершенно беспрепятственно употреблять приведённые здесь выпренные обозначения, задумывался или задумывается, в какой мере они оскорбительны для «иных»?

Разве не должна никого беспокоить ситуация, когда при явном игнорировании правовых запретов резко понижается

уровень действенности законов, то есть, говоря проще, – их цена?

Для изощрений в бытующем сейчас «русском» национализме, о котором из того же лукавства ни словом стараются не обмолвиться, кажется, нигде, ни на каких общественных и государственных этажах, даже в бытовом общении, изобретено и быстро пошло в ход словечко «русскость», аналогу которому в языках остальных народов и народностей федерации, а равно и зарубежья выглядели бы простым чудачеством и нелепостью одновременно: балкарскость, гольдскость, чувашскость, татарскость, комичность(?), голландскость...

Не менее изобретательны по части возвеличивания нациями себя и всяческого третирования других в зарубежье – ближнем и дальнем.

Достаточно вспомнить, как на протяжении веков устраивались гонения на евреев, в чём наряду с европейскими странами и Оттоманской империей замечена и Россия.

Все виды неприятия этой многострадальной нации, а заодно и всех, кто становился на пути людоедских амбиций фашистов, казалось бы успела продемонстрировать миру Германия в годы, когда она управлялась Гитлером и его приспешниками, в частности в годы Второй мировой войны. Но нет же.

Новый, нынешний век, несмотря на провозглашение общемировых юридических норм, направленных на соблюде-

ние принципов гуманности и суверенных прав в отношениях между государствами, дал образцы невиданного доселе всплеска агрессивного тупого национализма и соответствующей ненависти к «иным». Это стало очевидным на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине, где путём госпереворота власть узурпировали неонацисты.

«Демократический» Запад в лице главным образом Соединённых Штатов Америки и Евросоюза поддержал их в защите ими своих «ценностей». То, что провозглашаемые ими «ценности» легко уместаются в понятии «фашизм», не смущает ни украинских неонацистов, ни их покровителей.

В результате предприняты огромные поставки современных вооружений Украине и развёрнута по-настоящему лютая, патологическая русофобия – как в этой бывшей советской республике, так и в поддержавшей её фаланге стран, похваляющихся своей «демократией». Похоже, маски с «физиономии» её радетелей окончательно сброшены и даже – за ненадобностью – отброшены прочь.

Таковы лишь отдельные интерпретации свободных, а по сути вольных, волюнтаристских действий в защиту квазисвобод и тех искривлённых пониманий своего места на земле и в общей истории народов поборниками «демократии», когда ими нарушаются установленные законами ограничения, призванные не допустить посягательств на достоинство наций и рас, каждого их сочлена.

Но если, как мы видели и видим, права наций и рас так бесцеремонно попираются во внешнем и в наглядном, то не лучше обстоят дела и на уровне подсознания.

Для ряда медийных программ законами о средствах массовой информации запрещается использование скрытых вставок, воздействующих на подсознание или оказывающих вредное влияние на здоровье. Однако сказать хотя бы о том, каким образом и кому надлежит определять нарушения такого запрета, просто пока абсолютно нечего – ни законодателям, ни тем, кто исполняет и охраняет законы.

Эта важная сфера на протяжении долгого времени обречена оставаться вне интересов обществ и государств – «нераспакованной».

Всем хорошо известно, в чём тут дело.

Над тем, как реально обеспечить ограничения и усилить их действенную мощь, никому не хочется утруждаться. А сторонникам очень большой свободы несть числа.

Если же бы существовала возможность измерить её в конкретном, а не в сравнительном объёме, то не исключено, что в наличии, согласно содержанию целого ряда законодательных актов или их статей, несколько её не больше, а то, может, и на много меньше установленных ограничений.

Тех, которые часто позарез нужны во здравие перво-наперво ей же – свободе. Предусмотренных, скажем, для средств массовой информации в федеральных конституци-

онных законах России № 3-ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении» и № 1-ФКЗ от 30 января 2002 г. «О военном положении».

И у нас от стыда за такую выхоленную свободу хватило бы решимости это признать?

Сделать это пора бы. Если медлить и стараться ничего не замечать, то, как было и раньше, останется только изображать святочное, «благородное» недоумение насчёт того, откуда берутся скинхеды, экстремисты, другие разного рода политиканствующие или до времени аполитичные «бузотёры», фанаты, террористы, фашисты и их прямые последователи наконец.

Прочь лицемерие! Они появляются прямо из нас. Из наших ущербных общих пониманий свободы, порою никак не соотносимых с обилием узаконенных обязанностей и ограничений...

12. ЦЕНзуРА

Это те запреты, которых в обществах, имеющих блага в виде возможного (разрешаемого) или фактического участия граждан в широком потреблении и распространении информации, неотчётливо боятся и притом иногда боятся больше всего.

Такая боязнь имеет свойство приобретать повальный характер особенно там, где возникает плотное предложение

результатов интеллектуального творчества и труда или же очень недостаёт управленческого плюрализма.

Главной причиной для опасений цензуры в нынешнем её понимании называют обычно то исходящее от государственной подконтрольности жёсткое запрещение форм и содержания большого числа сведений, выражаемых в литературных произведениях, в кинофильмах, театральных постановках, произведениях живописи и графики, в области художественной критики, в научных разработках, а также в публичном общении и частной переписке, соответственно чему она, цензура, может проявляться в виде запретов на проведение демонстраций, шествий, пикетов, коллоквиумов и других массовых мероприятий.

Говоря иначе – её вредоносное действие в таком её виде рассматривается в отношении едва ли не каждого индивидуума в том или ином обществе. Мириться в случаях, когда она вводится, не принято. В наши дни она нередко воспринимается как прямое посягательство на свободу слова, даже как запрет этой общемировой «ценности».

Всё ли тут на своём месте?

Вопрос возникает из-за того, что и при отсутствии цензуры, при её запрете в законодательном порядке находится великое множество поводов для дискуссий о ней. И не только в смысле её изобличения и запрета. Не убывает, а становится, пожалуй, всё больше голосов не за её решительное запрещение, а о ней самой, о её, если позволено так выразиться, до-

подлинной природе.

Чем она является? И должно ли считаться достаточным решение проблемы в свете того факта, что государствами запрет цензуры провозглашается не только в законах о СМИ, но ещё одновременно и в конституциях. Именно так с нею «управились», в частности, в России.

Проставив кавычки в слове *управились*, мы исходим из того, что сомневаться в полном искоренении цензуры, когда принимаются лишь государственные, публичные законодательные нормы, нисколько не зазорно, а, наоборот, оправданно. Ведь как бы кому ни хотелось, нельзя не считаться с бытующей в обществах традицией расширительного, «простого», «неофициального» истолкования цензуры.

При котором предпочитают активнее выявлять характерные особенности в этом непростом «предмете», не упирая только на ограничения. Даже больше: ограничения далеко не в отдельных случаях расцениваются как недопустимые и ненужные.

Хотя на этот счёт практически никому ещё не удавалось пока высказать свою точку зрения сколько-нибудь со знанием дела, наличие «обратных» мнений заслуживает, как я полагаю, всяческого внимания, поскольку в них угадывается нечто совершенно отличное от устоявшейся *будто бы истины*.

Вот некоторые из наиболее радикальных подходов к пониманию «предмета». Как утверждает российская еженедельная газета «Собеседник», главный редактор телеканала RT Симоньян

...призвала вычеркнуть из Конституции запрет на цензуру.

(№ 14 названного еженедельника за 2022 г.)

В том же издании можно прочитать:

...у каждого своя цензура. Если бы её не было совсем, то был бы хаос.

(Из интервью актрисы Елены Борщёвой. – «Собеседник» № 43 за 2021 г.)

В периодических изданиях, телевизионных и радиальных передачах, в интернет-сетях подобных интерпретаций – не счесть. Почему они появляются, этого их авторы, к сожалению, не объясняют и объяснить, прямо скажем, пока не смогли бы, да и не стремились.

Их удерживало незнание сути. Цензура в представлениях подавляющего большинства – всегда только «от» властей, «от» государств. Иначе говоря, её считают феноменом исключительно государственного, публичного права. – Тот же, к сожалению, досадный случай уже освещавшегося нами иг-

норирования права естественного, общечеловеческого. Игнорирования, «раскрученного», как мы выяснили, с подачи официальной юриспруденции.

Искусственно лишённое своего значения и массового признания, наше естественное право как бы вообще никакого отношения к нам, а значит и к «нашей», общей для всех цензуре, о которой мы здесь намерены сообщить, не имеет.

Но и в государственном понимании она тоже раскрыта недостаточно. То, как цензура трактуется, к примеру, в законе Российской Федерации о СМИ, это подтверждает. Там в ст.3 записано:

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций... предварительно согласовывать сообщения и материалы... а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – не допускается.

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, – не допускается.

(Текст приводится с сокращениями).

Вполне очевидно: запрет распространяется исключительно на массовую информацию, не более. А главной уликой

при осуществлении цензуры является создание специальных организаций и подразделений и установление специальных должностей, чьи служебные действия не остаются без постоянного финансирования со стороны государства.

Разбирая задачи и средства, «необходимые» для установления «образца» нежелательной нам цензуры, отметим, что в нашей современности нормы для этой части правового пространства взяты из определённого времени, уже оставшегося позади для большинства стран на земле. Начало ему, как известно, положено в 1650 году Францией, где впервые цензура вводилась для пресечения крамольных мнений в гражданской сфере. Тогда её так и называли: гражданской.

Окончательно она не изжита до наших дней, но, как и всегда в течение последних веков, законодатели при обращении с нею обходились без чёткой формулировки, что она такое, то есть – без полновесной дефиниции. Из-за чего?

Объяснение видится в предыдущей истории цензурирования.

Например, в древней Римской империи, где ему был дан первый старт, его понимали как оценку имущества граждан, контроль за поступлением налогов и за нравственностью. А в преддверии нового времени куратором и проводником цензуры выступала христианская церковь, ставившая целью жестокие преследования за уклонение от веры.

Имея в виду эти два прошлые варианта, отметим, что в

обществе римлян вопрос о запрете цензуры не мог возникать в принципе, так как её «развернутое» использование и восприятие было обосновано специфическими задачами её введения в государстве, вследствие чего запрещение выглядело бы совершенно ненужным и не могло даже предполагаться.

А что касалось христианства, то в его практике не употреблялось само слово «цензура», хотя она имела место де-факто. Её использование сводилось к запретам на языческие книги и гонения на их авторов, а также к запретам на апокрифы и еретические писания и опять же гонения – на их сочинителей (обычно путём сожжения).

Так, известно, что «назидательное» сожжение сочинений еретиков предусматривалось уже решениями Халкидонского, Никейского и других стародавних вселенских соборов церкви, во исполнение которых уничтожались труды Евтихия, Ария, Нестория и целого ряда других талантливых писателей и мыслителей, не согласных с поучениями Христа и с его «твёрдыми» последователями.

Книги «своих» богословов и ортодоксов предназначались для прочтения лишь служителями культа, а не прихожанами, что также представляло собою своеобразное запрещение – для верующих. В церковных и монастырских библиотеках, там, где книги выкладывались для ознакомления и для работы над их текстами, их крепили цепями к столам, кафедрам и пюпитрам.

Понятно, в таких условиях ниоткуда не могли появиться

и требования запрета цензуры. Само это слово по отношению к конфессии христианства начали употреблять вскоре после того же 1650 года, когда богословский факультет Парижского университета попытался оспорить право на изображение столь значимого института обуздания интеллектуального плюрализма, заявив, что католичество ранее всех, уже почти двести предыдущих лет пользовалось таким «правом».

Здесь небезынтересно также указать на разновидность цензуры в виде института шутовства при дворах правителей прошлого. Шут (а в его роли приходилось бывать «домашним» философам, литераторам и проч.) мог буквально уничтожать правдой того, кому служил, и она была самой настоящей; но это позволялось только ему, обладавшему по выражению Паркинсона, привилегией – своего рода дипломатической неприкосновенностью.

Другие подданные находились в таких условиях подчинения (запрета), при которых им надо было «воспринимать» правду исключительно молча и лишь как «шутовскую»; не могло быть и речи о том, чтобы она становилась основой хотя бы каких неподконтрольных сюзерену суждений, намерений или действий придворных или – кого угодно, разумеется, в пределах территорий, на которые распространялась власть сюзерена.

В конечном счёте этим достигалась немалая «польза». Поскольку правда шута была хорошо известна всем, правитель

имел возможность по ней «определять» степень преданности к себе окружающих, разгадывать, откуда могли исходить возмущения; а подданные оберегались от «игры с огнём».

При очевидном большом разбросе функций, которыми цензура в разные эпохи наделялась как понятие, работа по формулированию дефиниции для неё, если она, такая работа, где-то и проводилась, была обречена оставаться безрезультатной.

Прибавьте сюда то, что, как правовое требование последних столетий, двухсловная грамматическая конструкция «запрет цензуры» представляет из себя такой редкий в лингвистике оборот, где для прояснения сути прибегают к её запутыванию: второе слово и без первого обозначает ограничение, запрет; но – не лишнее и первое, поскольку запрещением стараются предотвратить резко осуждаемое в обществах запретительство в интеллектуальной человеческой деятельности – в политических целях.

Это – серьёзный повод рассматривать цензуру как предмет, по отношению к которому должно возникать активное сомнение: то ли она есть, за что мы её принимаем? Спорное, если опять же иметь в виду её запрет в России, заметно прежде всего по основному закону нашего государства, где запрет зафиксирован в его ч.5 ст.29.

Есть веская причина повнимательнее взглянуться в это место в правовом акте, поскольку здесь же прописана гарантия для свободы массовой информации, и она, эта гарантия, уло-

жена в одном пункте, рядом со словами о запрещении цензуры, причём не после, а – до них. Не правда ли, явная наводка, вроде как обязывающая считать, что второе выводится из первого и в охранение этого первого?

Да ещё нельзя не учитывать и уже отмечавшегося нами несообразного в сроке введения конституции РФ в действие – вдогонку закону о СМИ.

При таких особенностях норма из основного закона воспринимается осязательно текучей, зыбкой, неотчётливой, «нездорово-набухшей», что, как мы знаем и с чем вынуждены соглашаться, есть её недостаточность и, стало быть, слабость.

Не выражается ли в этом её своеобразная «уступчивость» – перед более мощным воздействием необходимого? Того, перед чем должна сникнуть также и норма о запрете цензуры из закона РФ о СМИ.

Ситуация складывается двойственная, если не сказать опасная. Редакции, студии, сайты и проч. оказываются не в полной мере защищены от посягательств на их права, связанные с запретом цензуры, что значит также и – на свободу массовой информации вместе с гарантиями для этой свободы.

Этим, хотя в большинстве и скрытно, пользуются государственные органы и формальные структуры, их служители и представители, да в том же практически постоянно уличаются и неформальные структуры, а также – частные лица.

Ими накоплен немалый опыт «воздействия» (в их прагматических, «внутренних» и прочих интересах или – из амбиций) на тематику СМИ и на творчество отдельных журналистов или простых авторов.

Жизнь показывает, что искоренить такое воздействие не удаётся никаким образом, поскольку изобретаются всё новые способы, как «обойти» СМИ и их актив. Также печально и то, что при больших количествах подобных отстранений от государственного правового поля не представляется возможным каждый раз наказывать виновных, – они искусно и едва ли не всегда уходят от ответственности. Само наказание за игнорирование запрета цензуры нигде не декларируется как неотвратимое.

Вот пример, когда отход от правового поля представлен не только не заслуживающим судебного преследования, а и вообще – внимания или какой бы то ни было реакции:

...Константин Эрнст и Олег Добродеев были вызваны в Кремль. Руководитель президентской администрации Волошин и его заместитель Сурков устроили телебоссам трёпку за полный провал пропагандистской работы. ...Мол, вы пропагандируете Путина совсем как Леонида Ильича (Брежнев – бывшего генерального секретаря центрального комитета коммунистической партии Советского Союза. – **А. И.**) Ещё немного – и информационные программы будут вызывать у телезрителей... – и т. д.

(Газета «Московский комсомолец», номер от 23.05.2002 г. – Фрагмент приводится с сокращениями).

С подобной практикой хорошо знакомы и в других странах:

Как и любой бывший американский госслужащий высшего ранга, Тэлботт должен был отдать рукопись своих мемуаров на цензурирование по месту своей старой работы. ... цензоры (безусловно, – не подзаконные. – **А. И.**) работали над книгой не покладая рук. Все самые пикантные моменты были безжалостно вымараны.

(Газета «Московский комсомолец», № от 23.05.2002 г. – Цитата приводится с сокращением. – В публикации имелись в виду изданные воспоминания Тэлботта о чудаковатом поведении Ельцина при его встречах в «неформальной» обстановке с Клинтоном, когда оба они были президентами – соответственно России и США).

По-настоящему проводниками и стражами цензуры надо бы считать всевозможные пресс-центры и службы для контактов с общественностью и с СМИ. В законах функции их не раскрыты совершенно, и они там упоминаются только в простой назывной форме, а не как правовые обозначения.

Что собою представляют пресс-центры и родственные им службы, если не учреждаемые внутренними положениями

органов, организаций, ведомств и предприятий бюро и отделы для воспрепятствования выходу отсюда сведений, в значительной части не подлежащих утаиванию?

Тут и финансирование имеет место в чистейшем виде, и оно нередко предусмотрено уже в самих положениях или в других соответствующих внутренних документах.

В немалой части работающие в пресс-службах имеют статус госслужащих. К ним предъявляются особые требования, о чём сказано, в частности, в указе президента РФ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» от 12.08.2002 г. № 885.

Вот фрагмент из него:

2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:

р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и предоставления служебной информации.

(В редакции указов президента РФ от 20.03.2007 г. № 372 от 16.07.2009 г. № 814 и от 25.08.2021 г. № 493).

Уже само слово «поведение», как представляется, должно каждого госслужащего наводить на грустные мысли о том, как бы оно, его персональное поведение, не оказалось «плохим» в оценке органа, в котором он служит. Соответственно – ему, видимо, не обойтись без оглядки по меньшей мере не

раз и не два за день на «правила», установленные органом для себя.

Что за этим должно следовать?

Делегирование госорганам права самим сочинять правила в отношении запретов есть «невинный» факт прямого возврата к цензуре в том виде, в каком её многие в России и в республиках бывшего СССР сумели запомнить, поскольку речь тогда шла, безусловно, о предварительном «просеивании» или выверке сведений перед их оглашением или предоставлением кому-либо, таких действиях, для которых не ставилось никаких вех. В новой России чиновники из сословной осторожности или даже боязни вольны предоставлять информацию участникам брифингов и пресс-конференций уже «выжатой», а простым посетителям офисов или по запросу – вообще отказывать, просто так, «на всякий случай».

Понятно, с их стороны это становилось лишь актом служебного исполнения правовой нормы, «добросовестным», «похвальным» актом.

Если же говорить об информации, нужной средствам массовой информации и населению (не только России, а и любой страны в мире), часть которой удерживают чиновники, то без неё неполным или даже неверным может оказаться публичное освещение той или иной важной темы или события.

Скверной (по духу) иллюстрацией этого нашего комментария является эпизод с отстранением от должностей Влади-

мира Волкова, главы республики Мордовии, и председателя правительства этого же региона Владимира Сушкова – сразу при назначении врио главы республики Мордовии Артёма Здунова в 1921 году.

С момента, когда оба чиновника лишились занимаемых постов, ни региональные, ни общероссийские пресс-центры госорганов, равно как и тамошние средства массовой информации не обронили, что называется, ни одной буквы об этом важном факте.

Что с отставниками, где они сейчас и по какой причине отстранены, жители Мордовии, да, кажется, и всей России и всего мира в полнейшем неведении; это, без сомнения, должно служить показателем слаженной грубой закулисной возни вокруг перемещений в чиновничьей среде, а также – возможного давления на местные СМИ и на тех должностных лиц, которые попросту были обязаны не обходить состоявшееся важное событие пошлыми умолчаниями.

Кто скажет, что пресс-центры и другие службы с аналогичными полномочиями во властных структурах мордовского региона и России выполняли в данном случае свои функции добросовестно? А ведь подобное, хотя и в разных вариациях, вовсе не редкость, причём то же самое необходимо сказать и о пресс-службах при экономических, промышленных, сельских и других предприятиях и учреждениях, а также – общественных объединениях и их многочисленных филиалах и пунктах.

Так что, если в полноте представить, какому потоку информации и мнений пресс-центры и родственные им спецслужбы в настоящее время сообща ставят заслоны перед СМИ, а также перед населением, то, думается, вряд ли большими были информативные ограничения в период всевластия коммунистических режимов – как в Советском Союзе, так и в других странах, где цензура существовала и её оберегали в правовом порядке.

И давайте поудивляемся: странная у теперешних СМИ и у правозащитников привязанность к отвлечённой свободе слова и к плюрализму, если имея перед собою столь мощную машину из пресс-образований для проведения хотя бы и «неофициальной», ниоткуда и ни в чём не испытывающей ограничений цензуры, они считают невозможным не то что хотя бы изредка рассказывать о ней, а даже – не замечают её.

Также странно и то, что с этим уклонением от реального положения вещей, похоже, целиком согласна и так называемая широкая общественность. Как будто никому не дано увидеть в упор очевидного.

Нигде ни слова, ни изображения, ни звука!

Здесь уместно ответить на возражение: дескать, через пресс-образования проходит или не проходит информация, в то время как они не ответственны за массовую информацию, по отношению к которой и вводится правовая норма о запрете цензуры.

Эта лукавая позиция легко уязвима.

Ведь цензура, когда она инициировалась государствами для «очищения» массовой информации, проводилась в основном ещё на «замкнутом» или производственном, а то и допроизводственном этапах работы СМИ, когда массовой информации ещё не могло быть в наличии, поскольку её сход с конвейера только ожидался; в этом случае запрет мог устанавливаться именно на информацию, на «обычную» информацию.

Так, в частности, было в достопамятном Телеграфном агентстве Советского Союза при Совете министров СССР (ТАСС) – одном из крупнейших информационных учреждений в мире и притом ещё с репутацией наиболее правдивого и объективного; ныне – ИТАР-ТАСС (хотя по принятой условности агентство по-прежнему подписывает свои сообщения как и при советской власти: ТАСС).

Из-за боязни выставиться хотя бы в чём неприлично за рубежом (да и в своей империи тоже) оно проводило сплошную очистку информации ещё даже не собираемой – посредством служебного истребования заявок на события и факты (темы) от своих корреспондентов и сотрудников с последующим утверждением перечня годных к разработке и выпуску материалов главными подразделениями рабочего конвейера, а также, само собой, и – цензорами.

Творческий персонал ставился тем самым в очень тяжёлое и унижительное положение. Чтобы заявить материал, служащим нужно было, во-первых, в предварительном порядке бо-

лее-мене основательно уяснить и проработать его «для себя». Во-вторых, в случае непринятия и незачёта предложенной темы не возвращаться к «запретному» никогда.

То есть в обоих случаях речь шла о резком сужении поиска на информационном поле и, кроме того, к бездумной растрате профессиональных сил.

Этот бусурманский стиль «очищения» успел «затвердеть» как на деле, так и в словах: отказ на предоставляемую заявку был выражаем одной чеканной и грозной фразой: «ТАСС об этом – не пишет», – она становилась крылатой.

Из числа работников агентства тогда никто, разумеется, не мог претендовать на какое-то материальное возмещение за выполнение каждым пустой черновой работы.

В условиях, когда в огромном по территории государстве агентство являлось монополистом в поставках официальной массовой информации прежде всего для «верхов» (как «своих», так и зарубежных), подобный стиль выглядел явным позором для страны, и не случайно ещё за десятилетия до известной теперь лишь немногим и то преимущественно по документам перестройки и новейшего (последнего) её этапа советский режим вынужден был сделать уступку мировому сообществу в виде созданного в альтернативу, «параллельного» информационного учреждения с ориентацией его работы на границу – Агентство печати «Новости» (АПН).

Понятно, что административное «очищение» и прямая

цензура не могли обойти и его, да, собственно, и всех производителей массовой информации в СССР и странах, где практиковалась государственная цензура.

Надо ли говорить, что «бесценный» опыт такого манипулирования ею годен к использованию и в наши дни?

Возвращаясь к замечаниям о всеобщей как бы паралитической немоте перед умолчаниями о роли пресс-центров и образований, им аналогичных, скажем (не считаясь даже с возможными резкими осуждениями), что если у кого восприятие этого феномена вылилось бы в искреннее негодование, то, вопреки всему, надо бы поостеречься столь благородного чувства, пусть бы его выразил не какой-то отдельный человек, а целая массовая общественная или политическая организация.

Умолчания (даже самые «простые»), как мы все хорошо знаем, часто говорят о многом. Здесь они указывают на существование в нашем бытии той его части, которая остаётся вне воздействия государственными законами. И не потому только, что законы не всегда сработаны как нужно. – Обессиленным предстаёт публичное право в целом.

Перед нами тот причудливый образец «уступки», на которую вынуждено идти публичное право перед лицом права естественного, общечеловеческого. К цензуре и к запрету цензуры у них, оказывается, есть общий «интерес».

Соккрытие функций и «аналитической» деятельности пресс-центров можно в принципе рассматривать не более

как заурядное явление в том смысле, что по нормам естественного права запрету должен подвергаться «запрет цензуры». То самое, о чём, обойдясь без углубленного рассмотрения проблемы, с долей глухой догадки и своей несомненной правоты высказалась главный редактор телеканала RT Симоньян (см. выше).

Такой оборот не может не идти вразрез применению государственного права.

Теперь цензура уже по форме как элементарное массовое недоедание прямо исходит от потребителей, имеющих дело с любой информацией, не только с массовой, а ещё и – с поступками и поведением людей или групп людей.

Частью в том даёт о себе знать усталость потребителей информации от ненужных им «чужих» мнений; или близкое к тому понимание, что и без таких мнений, без этих оставляемых как бы взаперти в учреждениях сведений, в обществах имеется её переизбыток; не исключено также сочувствие хозяевам пресс-образований ввиду необходимости для них отгребания в сторону или оставления у себя сведений, возможно, и в самом деле мало что значащих для общественности или даже чреватых для восприятия ею; что-то, по всей вероятности, должно учитываться ещё, притом всякий раз – неотчётливо, без какого-то вселенского спора или апеллирования к оглашению и согласию.

Ясно, что при таком подходе мы имеем добровольное, произвольное, никем практически не осознаваемое выра-

жение воли. Итогом будет опять же неосознаваемый и ничем и никем не ограниченный «договор» на умолчание. Причём по известной причине ничьей конкретной «вины» здесь нет.

Разумеется, с помощью законов провозглашать запрет в таком виде и в таком отличии от государственного стандарта значило бы компрометировать публичное право. И как раз в этом месте, словно в эстафете, на свою дистанцию выходит право естественное. А с ним уже всё проще: не надо изыскивать формулировки дефиниций и содержанию отдельных положений, обозначать масштабы нормированного их воздействия, сроки или периоды применения и т. д.

Как будто по какой-то закономерности сами общества, а за ними и все на нашей планете, при поддержке в том числе и СМИ (с тех пор как те стали фактором повседневной жизни), увлечены некоей таинственной и неудержимой любовью к цензуре.

Которую, цензуру, как уже говорилось, в массе воспринимают гораздо шире, чем о ней записано в законах о средствах массовой информации и в конституциях.

И раз такая мощная любовь к ней, что называется, налицо и о ней, возможно, никто в мире ещё не прознал, то не была ли бы оправданной хотя бы робкая попытка в ней объясниться?

Здесь каждому из нас свобода слова и плюрализм не могут не показаться худосочными, блеклыми отражениями на-

ших восторженных о них представлений, если только попробовать «опереться» на них в точности таким же образом, как это может быть допущено нашим здорово одемокраченным (условно будем считать – незамутнённым), «прогрессивным» пониманием.

Утром ваша референт-секретарь, когда вы появляетесь в своей приёмной, вопреки тому, что она всегда предельно корректна, вежлива и к вам неизменно доброжелательна, на ваше приветствие «Доброе утро, миссис!» вместо привычного: «Доброе утро, сэр!» вдруг вам говорит: «Вы, право, старый хрыч и дурак. Мне противно слышать, как вы обращаетесь ко мне, как замужней женщине или вдове, зная, что мужа у меня нет и ещё не было. Да, вам невдомёк, насколько такое грубое отношение оскорбительно для меня. Я вас презираю, и то же, скажу вам, вызывают ваши издёвки над другими молодыми девушками. Не дожёмся, когда сам чёрт уберёт вас отсюда!»

Когда бы такое хотя бы раз позволила секретарь только ваша, можно бы заподозрить, что у неё не всё в порядке с этикой или она действительно в силу каких-то особенных причин очень болезненно настроена против вас и вашей приевшейся ей иронии. Но – такому, скорее всего, вообще не случиться, тем более в одно утро и сразу в десяти, в ста, в тысяче, во многих тысячах приёмных. Не будет этого множества и завтра, и в последующие дни, месяцы, годы.

И утверждать обратное не возьмётся никто.

Здесь проявляется такая любовь к цензуре из арсеналов естественного права, которая взлелеяна и насыщена ярким ореолом личного человеческого достоинства: «Я никогда не скажу вслух и в глаза своему боссу того, что о нём думаю и знаю; иначе я потеряю работу или в оплате работы».

Ваша референт, как видим, забыла о себе, допустив непростительную вербальную оплошность. И ваше доверие к ней вряд ли останется прежним.

Кажущаяся простой «индивидуальная» любовь к цензуре, как нетрудно заметить, возникает под влиянием страха – чувства естественного и неподвластного никакому запрету. Есть тут и ещё более важный момент.

Мы не поддаёмся искушению открыто (гласно) или в носителях – в записях выражать всё то, что постоянно возникает в сознании по любым конкретным поводам, не говоря уже о состояниях некоего нашего духовного забвения, созерцательности, «внутренних» раздумий и т. д.

Этим нам удаётся оберечь и окружающих и себя от «разговорных», а значит и информационных излишков; если бы они находили место в процессах общения, то люди бы наверное захлёбывались в нескончаемых постоянных препирательствах между собою, – ведь правда, как можно судить по реакции шефа приёмной на странное поведение его референта да, чего скрывать, и по реакции на этот случай всех и каждого, не обязательно всегда должна восприниматься однозначно.

Например, можно вспомнить, как своей рафинированной и даже смелой правдой («Я честный человек, моё дело вступиться и открыть глаза слепым») молодой провинциальный доктор из чеховской драмы «Иванов» настроил против себя всех, кто его знал (они его ненавидели и считали вреднейшим, пустым, никчемным), а главный персонаж этого произведения не в последнюю очередь под воздействием правдивых, но провоцирующих у людей раздражительность и стрессовые состояния, муторных докторовых словоизлияний решился на самоубийство.

(См: по изданию: А. П. Ч е х о в, собрание сочинений в двенадцати томах. «Правда», Москва, 1985 г; том 10, стр. 65).

Наличие боязни ощутимо каждым человеком без исключения, и об этом следует говорить прямо – уже как о любви к себе. Проще и точнее, пожалуй, сказать, что в каждом из нас удерживается опасение перед роковыми, грозными и неизбежными последствиями межличностных или иных конфликтов.

Устрашающее, однако, не выступает каждый раз впрямую; оно растворено во всеобщей вынужденной и вместе с тем как бы не имеющей причин и объяснений целесообразности.

Мы истину, похожую на ложь,

Должны хранить сомкнутыми устами,

Иначе срам безвинно наживёшь...

(Данте Алигьери. «Божественная комедия»: «Ад», песнь шестнадцатая, 124-126. В переводе М. Лозинского. По изданию: «Библиотека всемирной литературы», т. 28: Данте Алигьери. «Художественная литература», Москва, 1967 г.; стр. 144).

Перед нами в нерушимости своего «природного» величия, блеска и простоты предстаёт цензура как естественное право.

И невозможно здесь ни на минуту усомниться в её теснейшей, нерасторжимой связи со свободой суждений. При которой, несмотря на вызревание множества мыслей, к реализации «вне» головного аппарата из них каждый раз предназначается всего одна и та – не всегда. Выбор идёт не только от количества, но и – от качества.

Лишь ради того, чтобы при общении нам было поуютнее от сознания устранимости конфликтных ситуаций, мы несчётно, иногда сотни раз на дню прибегаем к умолчанию сущей, «сермяжной» правды, предпочитая обходиться ложью.

Тем самым слово, как неспособное воплощать в себе всей, абсолютной значимости мыслимого, то есть будучи ложным само по себе, является также носителем необъятного количества лжи, исходящей из неистребимой нашей потребности

умолчаниями третировать ту значительную долю окружающей реальной правды, которая в понимании всех не может никак считаться терпимой.

В данном случае запрет, несомненно, есть благо («ложь – во спасение»), потому что если бы не существовало его возможности, правдой пришлось бы на каждом шагу оперировать в натуральной действительности. Даже трудно представить, как бы это могло происходить без того, чтобы общение между людьми сразу бы не угодило в тотальный хаос («Правда бы нас погубила!»)

В указанном значении проблема замалчиваний, собственно, и есть проблема цензуры.

Когда утверждают, как это позволил себе Спиноза, что «воздержания от суждений – редкая добродетель», то, конечно, это глубоко неверно.

(См.: Б е н е д и к т С п и н о з а. «Политический трактат», глава VII, 27. В переводе С. Роговина и Б. Чредина. По изданию: Бенедикт Спиноза. «Трактаты». «Мысль», Москва, 1998 г.; стр. 312).

Нисколько не редкая!

Будучи выражаема в естественном праве, цензура по масштабности явление глобальное и безмерное (конечно – не «вообще», а в системе обществ); запретить её всю не могли бы никакие установления; пока только её небольшую часть удаётся ограничивать и пресекать публичными правовыми актами, и в своём огромном большинстве под такие запре-

щения подпадают лишь запреты, которыми в обществах, исповедующих демократию или к ней лояльные, могут ущемляться предусмотренные их законами права и свободы.

Узостью «набора» ограничений цензуры, прописанных в законах о СМИ и в конституциях, это подтверждается. В них, кажется, неплохо бы чего-то добавить (нашлось бы не одно хорошее предложение!); но – будет ли нужный эффект? Не ясно ли, что и от ныне действующих отдача невелика, во всяком случае она – неполная и общественных потребностей не закрывает.

Убедительные примеры тому отыскать не составляет труда. Вот из них наиболее, пожалуй, примечательный. Рассказывая о цензурных излишествах в СССР, публицист Андреев писал:

Запрещалось почти всё. В том числе нельзя было ни прямо ни косвенно упоминать, что есть такая славная организация (с функциями сплошной цензуры. – **А. И.**) – Главлит». – (Полностью это ведомство называлось так: Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. – **А. И.**)

(Николай Андреев. «Прощай, цензура». Газета «Известия» от 02 августа 1990 г.)

А в одном из интервью телеведущий Сенкевич пояснял, как удавалось «приоткрывать железный занавес» в передаче

«Клуб путешественников» при засилье в СССР КГБ (в дополнение «главлитовскому») и притом не бояться этого монстра:

... – Насчёт опасности вы сильно преувеличили. Мы знали, о чём можно говорить, о чём нет. «Клуб» не был политической или новостной передачей. ... Поэтому мы не испытывали давления со стороны органов госбезопасности. ... цензуру мы ощущали редко и практически всегда показывали то, что хотели.

(Газета «Столица С», № 473. – Текст приводится с сокращениями).

Как видим, испытаний реальностями не выдерживали даже самые строгие запрещения. И дело тут вовсе не в каком-то знании «чего нельзя», которое хорошо усваивали подцензурные.

В слове «ощущали» путешественником очень точно выражены хилые возможности «укрытого» государства: у него их не набиралось для всеохватного запретительства – как абсурдной политической цели. И никогда бы не набралось. Поскольку для этого нужно было бы ни много ни мало как целиком положиться на тогдашнее очень скверное (по нашим теперь более зрелым представлениям) публичное право. То есть пойти на полную замену им права естественного.

Принципиальная невозможность этого обязывает обще-

ства относиться к требованиям запрета цензуры в определённой мере снисходительно. Спорить здесь нужно, может быть, только из-за того, как бы снисходительное не слишком возобладало. На примере с пресс-центрами мы не могли не убедиться, что чрезмерная снисходительность обычно становится решающей в оценке запретов при обращении к цензуре.

Само собой, тут и обществам, и властям не обойтись без повышения грамотности и культуры по части осмысливания существа запретов и запретительства. Пока её, такой грамотности, не наблюдается. И порой запретов желают, может быть, больше, чем следует. Не только в населении, но и в органах государственной власти.

Как воспринимать, скажем, благословения церковных иерархов на издания книг и периодики богословского содержания? на проектирование и закладку храмов? на возведение монастырей, часовен и приютов? Цензура это или что-то другое? А прикрытие ответственных за чудовищные политические репрессии?

Цензурные «установления» и барьеры в своих областях частично или по-полной вынуждены использовать даже разного рода конкурсные комитеты, жюри и комиссии. Без них не обойтись при принятии важных для обществ административных решений, в обучении и воспитании молодёжи и т. д.

В конце концов ограничения, в совокупности образующие стержень любого закона или этической нормы, о чём мы уже

сообщали, также есть не что иное, как та же цензура.

Элементов запретительства и поводов к нему очень много в самых разных по значению действиях общественных и властных образований, должностных и частных лиц.

Ввиду того, что в большинстве случаев использование естественных запретов нельзя представить лишённым определённого житейского расчёта или «смысла» (на сей раз в обоих этих словах можно, не смущаясь, усматривать целесообразность и принимать её!), а их не скованные законами пресечения постоянно как бы ускользают от неких ожидаемых наказаний, надо бы, кажется, поспокойнее воспринимать и дискуссионные истолкования в необъятной сфере цензуры. Хотя обстоятельствами нередко диктуется иное.

Совершенно, думается, напрасно организаторы диспутов часто предлагают название темы «цензура необходима обществам» непременно с вопросительным знаком.

Уклончивостью тут будто бы делается приглашение к спору без каких-то ограничений для участников, – приглашение к «свободе слова», а на самом деле за нею видится лишь дремучее отсутствие грамотности или точнее: знаний – о существенном в запретах, в запретительстве и в запретах на них. Причём организаторы, всякий раз демонстрируя невежество собственное, добиваются ещё и его прикрытия, – тем предположением, что в невежестве должна обязательно пребывать и публика.

Закономерно, что при подготовке обсуждений в столь

блудообразном ключе ни о каком плодотворном их результате не может быть и речи. И спор становится неинтересным. Ради убогих «правил» тут порой выбрасывается даже то ценное, что наверняка могло бы служить если и не на пользу делу, то хотя бы для украшения «игры».

В качестве примера, когда самоцелью было «просто поговорить», сошлёмся на передачу по программе «Культурная революция», проходившую на российском государственном телеканале «Культура» 28.02.2002 г. с 22.35 по московскому времени (повторно 07.07.2002 с 15.30).

Хотя в пояснениях ведущего тема обозначалась не под уклончивым знаком вопроса, общее понимание смысла и сущности цензуры осталось для участников шоу «традиционным».

У главных оппонентов – театрального режиссёра Волчек и журналиста Минкина – мнения, каждое поотдельности, сразу же устремились на взаимное исключение: «против» – «за».

Первая сначала выразила к предмету отношение отрицательное в целом («я никогда не скажу, что цензура нужна!»), но при этом уточнила, что имеет в виду её лишь как явление, которое «раньше толковалось очень расширительно», а также – что необходима самоцензура; второй тоже говорил о своей убеждённости в недопустимости цензуры, по его словам – политической, хотя вместе с тем утверждал, что для обществ очень нужна сегодня так называемая мораль-

ная цензура, – это когда овладевают умением себя постоянно сдерживать, не выражать словами или внешним поведением ничего «лишнего», – причём журналист настаивал даже на том, чтобы эта последняя вводилась немедленно.

Как можно заметить, формулировки обеих индивидуальных позиций не были оппонирующими: «за» и «против» оказывались одинаковыми. И что же? Разговор хотя и был жарким, но он не выявил необходимости продолжать его. Иначе говоря, пришли к тому, от чего шли и что уже давно имеет место в неполноте и зыбкости положений публичного права.

Иначе и быть не могло.

Тема звучала бы по-другому, если бы рассуждали о сути. Можно без ошибки сделать вывод: у Волчек точка зрения была «выношена» с учётом прошлой российской «беды», а также с учётом того, что цензура в жандармированной оболочке могла исходить исключительно от советской власти и ниоткуда больше. У Минкина своя оплошность; – из его требования проглядывало отчаяние перед «плодами», которые на виду у всех созревали из-за неумения разумно пользоваться свободами.

Что же касалось «необходимого» и уже как бы всеми востребованного права на самоцензуру и цензуру моральную, то, как нетрудно заметить, они выражали всего лишь ту самую формулу всеобщего умолчания, но только – в оттенке силовой навязанности!

Само по себе их введение было бы категорически невоз-

возможным, так как нельзя урегулировать публичным правом той огромной массы человеческих и общественных отношений и потребностей, где властвует право естественное.

Что на самом деле происходит с тем естественным, которое в действительности должно считаться не подлежащим «разделу» с помощью права государственного, публичного или его замене им?

Мы уже знаем, как всё оказалось вывернутым наизнанку при замене права на свободные суждения свободой слова. Чтобы понять данную проблему во всей полноте, ещё раз обратимся к тексту конституции РФ, к той её части, где размещена норма о запрещении цензуры.

Там, как мы уже отмечали, нам было затруднительно постичь формулировку запрещения, поскольку она отнесена вроде бы и к массовой информации, а вроде и не только к ней. Ситуация противоречивая, а из этого должно вытекать, что допустимо расширительное толкование нормы. То есть запрет должен распространяться на цензуру в её совокупности – и в представлении государственного права, и – права естественного.

При этом «возникает» корявая и в целом недейственная запретительная норма, устремлённая к абсолютному и абсурдная по своей «всеохватности». Ориентируясь на неё, можно запретить, скажем, запрет на матерщину, что, к большому сожалению, случается в России всё чаще. Речь идёт об употреблении солидного по объёму и многообразию матер-

ного ресурса не только в простой обыденности. Его допускают, как нам уже приходилось об этом говорить, в театральные постановки, в ленты кино, при ведении дискуссий, в обмене мнениями и проч.

Да, нынче при манипулировании цензурой, когда норму государственного права устанавливают вместо нормы права естественного или сливают с нею, обходятся без официального цензурирующего органа, каковое условие есть лишь рычажок примирения с абсурдом. Но это слабое утешение для желающих поосновательнее разобраться в правовом значении цензурирования.

Власти и законодатели пошли здесь упрощённым, обманым путем: нет органа, значит, нет и цензуры.

И в данном случае от обмана уйти было бы невозможно, поскольку он оказывается пока единственным средством для продолжения замалчиваний о непрояснённой правовой сути пресс-центров, пресс-служб и прочих подразделений «по связям с общественностью».

Безусловно, будь оппоненты из телевизионного шоу на телеканале «Культура» знакомы с принципами не традиционных, а более раскованных истолкований запретного и дозволенного, их мнениям не нужно было бы искусственно придавать различительного характера, и сама собой отпала бы даже охота заводить спор перед широкой соперееживающей аудиторией.

Надо ли теперь подчёркивать, как необходимо лояльное

отношение к цензуре – по «справедливости»? Так ли она страшна, и надо ли её всегда бояться? Ведь место ей не где-то в зауженном частном или общественном обиходе, а повсюду, куда проникает интерес человека. Она – составляющая всех нас, где бы мы ни находились.

Этого не могут не учитывать и средства массовой информации. Их ориентирование на запрет цензуры, предусмотренное законами, конечно, является вынужденно-обязательным, поскольку в законах, как уже было сказано, закреплено сдерживание главным образом такого запретительства, где интерес выдвигается преимущественно в чиновничьем истолковании, вследствие чего ополитизированное в государственном праве почти всегда идёт рядом с корыстным.

Как и свободам, запрещениям никогда не может быть ни определённого числа, ни точной меры. И подобно свободам их «производимость» или – необходимость должна выражаться через их достаточное, чёткое осознание людьми. Осознание не только всегда всецело общественное, но часто и «выделенное» из общественного, «относительное» – корпоративное или даже частное.

Что дело обстоит именно таким образом, подтверждается следующим фактом из истории России: до принятия основного закона в новейшие её сроки на её территории не существовало и конституционной нормы о всеобщем запрете цензуры (ещё в 80-ые годы XX века в СССР имела место её отмена в её коммунистическом, «старом» виде, а – не запре-

щение); «будто бы» обходились установкой из теперешнего закона о СМИ, но и то – не после его ввода в действие, а уже с августа 1991 года, значит ещё при действовавшем тогда советском законе «О печати и других средствах массовой информации», – то есть, выходило, что в стране цензурой можно было в тот период совершенно «в законе» «пользоваться» («разрешено всё, что не запрещено!») в общей сложности более двух лет.

Создавалось впечатление, что за шумными разговорами о свободе слова и гласности было тогда вроде как «не до того». И что ещё более удивительно, – какого-либо вреда ни государство, ни общество при этом не испытали, и по такому серьёзному поводу нигде не возникало даже сколько-нибудь ощутимой тревожности.

Больше и возбуждённее рассуждали в то время, как помнится, не о цензуре и о таящихся в ней угрозах, а о другом, что было связано только с необходимостью добиться независимых статусов для СМИ.

13. ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Индивидуальная человеческая любовь, та, которая извечно объединяет людей разных полов по их выходе из детства, представляет собою безотчётный позыв плоти к видовой репродукции. Это свободное внутреннее чувство в каждом. Оно естественно как потребность и не может перестать быть

такowym, наподобие потребности осязать, видеть, слышать или говорить, и это та причина, по которой оно не подлежит управлению чьей-то посторонней волей или быть отторгнутым.

Вполне объяснимо и то специфичное, из-за чего в каждом человеке ему, этому чувству, «предписано» утоляться через ответное, встречное, взаимное его проявление со стороны избранника или избранницы. У которых оно также естественно, неотторгаемо и неотвратимо.

Отсюда проистекает главное в природе любви – её свобода. Вовсе не отвлечённая. Свободным должен быть выбор и полюбившегося одного партнёра и ответный встречный позыв другого. Логика тут уводит ещё дальше – в область неограниченного количества избираемых для каждого, отдельно взятого субъекта. В этом случае речь идёт, безусловно, об избирательности как действию, каждый раз имеющем свою временную дистанцию – свой «календарь».

Уже наших далёких и во многом ещё диких предков, живших замкнутыми родами и племенами и создававших свои неписанные поведенческие установления, сильно озадачивала ситуация с наличием и статусом «такой» любви.

Ведь и в те доисторические времена каждый, кто вырос и становился взрослым, хорошо понимал, насколько она привлекательна и прекрасна – как составная мира чувственности и наслаждений. В какой мере она должна была допускаться и ограничиваться? Этого никто не знал.

Между тем по мере удаления человечества от состояния своей дикости сферу своего «воплощения» свободная любовь стремительно расширяла. Постоянно умножались варианты сексуальных отношений, воспринимавшиеся как извращённые и развратные, в том числе те, где допускались совокупления прямых родственников или партнёров одного пола.

Такое развитие события получали вовсе не случайно.

Они были следствием стремительного преобразования человека в осознававшую себя свободную личность общественного, коллективистского типа, с её устремлениями к прогрессу, к будущему. Ведь на том, давнем этапе своей истории люди настойчиво учились пользоваться и другими свободами, с чем, кстати, как и в дни нынешние, уже тогда не всё обстояло благополучно.

Свобода в половых отношениях слишком часто и плотно бывала связана с ущербом тому образу жизни людских объединений или их ассоциаций, который устаивался и требовал своей дальнейшей стабилизации.

Вопреки пожеланиям стабильности, гарантировавшей прежде всего материальное благополучие, развратом и извращениями словно тараном повергались обычаи, традиции и другие важнейшие общественные ценности, тот свод непрерывно копившихся неписаных правил поведения, какими, чтобы не происходило их «порчи», свободу в любом её виде требовалось «пускать в оборот» уже не иначе как с

определёнными условиями для каждого индивидуума – в виде личных или групповых обязательств и обязанностей перед «остальными» людьми.

При отсутствии понятий о юриспруденции свободы и ограничения в тот период ещё не были «скреплены» письменными декларациями и законами. В такой «упаковке» ими начнут пользоваться при возникновении государственности. Пока же, неоформленные в записях, они представляли собою ту сложнейшую сферу человеческой духовности, которую, в её основной, «верховой» части позже поименовали естественным правом.

Зарождалось оно, как это приходится его понимать сегодня с учётом присущей ему цельности, хотя и в разные исторические сроки, но по единому образцу на всех континентах земли, в связи с чем, не впадая в ошибку, можно говорить об его одномоментном появлении в одной, хотя, может быть и весьма обширной, местности.

Далее, при возраставшей потребности племён и иных объединений в экспериментах кочеваний, оно неизбежно должно было распространяться по другим территориям, где разные объединения могли расселиться.

Никогда ничего возвышенного оно, естественное общечеловеческое право, не выражало, несмотря на наличие в нём признаков непреходящих желаний, надежд и расчётов – идеалов. Позади и впереди людские сообщества вынуждались противостоять рутине, обыденностям, лишениям, обходить

их или бороться с ними. Причём столь унылая картина будущей нередко менялась вовсе даже не к лучшему.

В том, если иметь в виду невозможность управления чувствами и – ограничивать индивидуальные, личностные свободы, прежде всего в областях межполовых отношений и в особенности – в любви, в немалой степени проявлялся противоречивый характер естественного права.

Здесь позарез нужны были эффективные сдерживатели – нормы. При их отсутствии положение становилось чреватым, поскольку житейский опыт сообществ указывал на необходимость как можно более строгого охранения такой их важнейшей ценности, как генный потенциал, а с ним были теснейшим образом увязаны основные для выживания каждодневные заботы: о поддержании уровня рождаемости, физического здоровья каждого из сочленов, трудоспособности, простой уверенности в завтрашнем дне и т. д.

Перспективы ухудшить «показатели» на этих участках бытования не могли не беспокоить в первую очередь авторитетов или старейшин, которым сородичи или соплеменники доверяли вести и разрешать возникавшие межличностные и другие конфликты и устанавливать «нужный для всех» порядок.

Между тем, будучи свободной, любовь демонстрировала нечто до невероятности каверзное и вызывающее, – она оставалась законом сама себе! Укладывать это в сознании в качестве аксиомы, нормы «от» природы, хоть и пробовали, но

и – противились. Из-за чего?

Когда-то, ещё в пору своей подлинной дикости, у прото-существ, из которых «получались» люди, потребность полового спаривания подлежала строжайшим ограничениям и совместному, почти тотальному контролю. Не соблюдавшим запретов и ритуалов грозили всяческие кары, вплоть до умерщвления, что характерно для животного мира в любых его видах.

Понятно, что то ещё были сексуальные «правила» чисто животного свойства.

Переход к началам осмысленной, разумной жизни, заслонившей бывшее жёсткое нормирование и открывавшей шлюзы ненормированной свободе, то есть полнейшей вольности, должен был предполагаться и как соответствующий уже другим поведенческим нормативам, удобным, простым и лёгким. При которых вроде как следовало целиком и без потерь отказываться от кондовых традиций и привычек прошлого. Будто бы никаких помех тут не должно было возникать. Но жизнь показывала иное.

Мы уже знаем, что с расширением свобод и с увеличением их количества неизбежно прибывает и проблем с их урегулированием и укрощением. Достойными разумного человека средства для манипулирования свободами без границ если подчас и находились, то – неустойчивые; они быстро себя дискредитировали и изживали, перечёркивая лучшие надежды.

При таких обстоятельствах идеалы должны выглядеть сомнительными и восприниматься с подозрением. История здесь никого не обманывает. Оглядываясь на далёкое наше прошлое, на первые опыты людей, обретавших неумеренную свободу, можно, пожалуй, говорить о том, что уже в те времена идеалами изрядно приукрашивался чопорный постулат о предопределении человека, как венце природы, а одновременно обнажалась мера недостижимого по этой части, что обязывало воспринимать отдельные, даже отрадные перемены без особого пафоса.

Ведь прежние нормы и традиции, соблюдавшиеся тысячелетия, ещё долго могли продолжать своё воздействие в человеческих сообществах.

С одной стороны, это уже тогда указывало на необоримую силу общего и единого для всех естественного права людей; никакой реформации оно не требовало, и в нём продолжала кристаллизоваться обойма тех идеалов, какие вошли в систему этических ценностей человека, познававшего свободу в её лучших качествах.

С другой стороны, – люди, развивая чувственность и устремляясь к более насыщенным и доступным ощущениям от сексуальных удовольствий, произвольно рушили стиль укреплявшейся разумной их жизнедеятельности, причём всё чаще заходили здесь слишком далеко, в том числе нарастало их самоотстранение от их обязанностей, совокупно обозначаемых понятием долга.

Уже вскоре в качестве «выхода из положения» был введён институт семьи, действующий поныне; но из-за свободы в любви, когда она «выплёскивалась» в её неустранимой и огромной разлагающей мощи, к этому вынужденному защитному новшеству с самого начала не могло не проявиться массового устойчивого неприятия и предубеждения, не иссякших до наших дней.

Легко поэтому представить, каких трудов стоила выработка «любвиной» нормы и какой норма выходила хрупкой и ненадёжной.

Ханжеский идеал «чистой» или «непорочной» любви и притом исключительно в рамках супружества даёт наглядное представление тому, насколько институт семьи уже при его зарождении мало соответствовал социальным пожеланиям занять наивернейший рычаг укрощения не подвластных ничему позывов человеческой плоти – того, в чём совмещены и неразрывны как облагораживающая возвышенная чувственность, так и «низменные» половые инстинкты.

Соответствующим должно было стать и реагирование на «нечистоту», выражаемое большей частью молвой. Здесь критерии всё чаще приобретали расширительное толкование, размывались, тем самым круто деформируя фон общественного бытия и общественной духовности. Сила молвы здесь, надо сказать, была всегда осязаемой, поскольку многими своими «краями» она входила в соприкосновение и во взаимодействие с естественным общечеловеческим правом.

Ситуация не менялась и позже, когда в практику входило государственное управление и отношения среди людей уже в значительной степени регулировались нормами не «от» обычаев и традиций, а – законодательными актами или даже целыми сводами писаных законов.

Могло ли хотя бы это стать преградой неизбежному?

Что, например, должен значить норматив естественно-го сексуального поведения для молодой девушки, неважно, рассматривать ли его как требование во времена оные или в наши дни? Целомудрие? Напускную невинность? А – дальше?

Того ли нужно ей, когда ради продолжения рода созревающая плоть прямо-таки повелевает ей не отказываться от соитий, не уклоняться от поиска партнёра. Или тот же норматив – для супругов, только что ими ставших? Полнейшее совпадение в чувствах и восторг от ощущений эротической близости? Верность? Этому ведь не суждено оставаться неизменным.

Само течение обыденной жизни «предусматривает» помехи: возрастное обоюдное или индивидуальное охлаждение, болезни, расставания, усталость от невзгод и материальных трудностей, в том числе связанных с появлением и воспитанием детей и внуков, гибель кого-то из супругов, искушение красотой и обаянием другой женщины – для мужчины или мужскую «порядочностью» и «благородным» обхождением – для женщины.

Причин, когда идеалу – «неуютно», появлялось и появля-
ется великое множество.

Соответственно не ослабевали и попытки облечённых
властью или ответственных за «порядок» удерживать, огра-
ничивать или даже запрещать «неподходящие», «вольные»,
«греховные» поползновения.

Частые неудачи на этом пути вынуждали их иногда идти
против собственных убеждений, и тут нередкими были даже
случаи их прямого искусного лукавства, когда предлагаемые
правовые нововведения преподносились ими как будто бы
ни с чем из прежних обычаев и традиций не связанные.

Ветхозаветный Моисей, как религиозно-государственный
деятель с высоким авторитетом у соплеменников, заботясь
о процветании израильтян в условиях веры в единого бога,
вовсе, надо полагать, не допускал, что с их половой распу-
щенностью, пришедшей от предыдущих колен, можно легко
и быстро покончить на свежих организационных началах.

Насущное требование «Не прелюбодействуй!» он попро-
сту позаимствовал из их же стародавнего, ещё дикостного
прошлого и, распропагандировав как установление, данное
свыше, записал его в числе прочих норм социального бытия
на известной каменной скрижали в виде божественной запо-
веди.

Факты и явления половой распущенности и сегодня не
оставляются без внимания к ним. Вопреки очевидному
очень быстрому «освобождению» в этой сфере они на раз-

ные лады осуждаются, в том числе – молвой. Вполне понятно, почему. Разве сексуальность и половые связи безо всяких границ и без разбора не могут не вызывать беспокойства у наших современников?

Ведь даже с учётом огромных достижений в областях медицины и охраны здоровья неуправляемостью отношений между полами, или, если угодно, – интима, и сейчас, как и в прошлые времена, определяются серьёзнейшие провалы в наследственности, в деторождении и в других сферах нашей физиологии и жизнеустройства, о чём непозволительно забывать ни правительствам, ни гражданам.

Да, конечно, не практикуется теперь изгнание уличённых в ненормативном, слишком вольном «использовании» интима за пределы привычного обитания, как у древних, что в условиях невозможности выживать обособленно было тогда почти равносильно смерти. Но что касается жесточайшего физического воздействия, образцом чего явилась расправа бога Иеговы над извращенцами из еврейских поселений Содомы и Гоморры, то ему оставлено место даже теперь. В частности в отдельных местах исламского мира «полагается» общественное побивание камнями за измену супружеской верности и за прелюбодеяния.

Так что вопрос об «укротении» половых страстей вовсе не праздный. Однако человечеству, видимо, не дано иметь по нему сколько-нибудь устойчивые, справедливые и приемлемые решения.

Это связано с тем, что интим, как «территория» чувственности и свободы, является одновременно и «территорией» права. Подобно тому, как это сложилось у человека с другими, данными ему от рождения свободами и правами, право на интим неотчуждаемо по закону. Иными словами, «укрощающий» закон, будь он даже принят и введён в действие, в любом случае должен признаваться мерой насильственной и противоестественной, а значит и – преступной.

Точно такую же ауру насилия могло бы иметь, если бы начали «укрощать» «отклонения», скажем, на «пространствах» совести, справедливости, добродетели, достоинства, чести.

Нетрудно заметить: это вело бы к уничтожению идеалов, цементирующих этику. Тогда как бы люди жили? Ну, разумеется, изношенность норм-идеалов или их потускнение в процессе длительного и не всегда бережливого использования есть очевидная истина. Но никогда и никому даже в голову не могло бы придти кого-то и как-то наказывать «за» совесть или «за» честь, какие б они были «не те» или плохи в отдельных случаях.

Причина здесь ясна: ими выражаются ценности в высшей степени обобщающие и размещённые в границах естественности или точнее и конкретнее – в границах общечеловеческого естественного права. Это категории неподсудности абсолютной и всевременной.

Воздействие судом или осуждение допустимы лишь за по-

ступки или вернее: проступки «вещественные», узнаваемые по конкретным фактам и обстоятельствам, а не просто понятные по смыслу или кем-то названные.

Отклонения от идеалов «через интим», осуждаемые молвой, есть, разумеется, поступки не отвлечённые, реальные. И покушение на идеалы тут, что называется, налицо. Однако, будучи свободным от рождения, изначально, и значит – поступая вправо, человек, мужчина это или женщина, наказываться не должен. Как раз в этом состоит его право на свободу в интиме.

И нужно поизумляться величию и значительности такой свободы!

При всех возможных лишениях и напастях любой индивидуум связывает с нею самое, может быть, лучшее в себе и расстаться с нею не мог бы ни на каких условиях. Тем не менее столь знаковый феномен до настоящего времени осознаётся слабо, что, заметим особо, вносит немало неровностей в общественные отношения.

Негативными факторами, которые сопряжены с понятием «разбухающей» свободы, интим будто бы навсегда скован и, как право, вынуждается существовать полускрытно, как бы постоянно прячась, находясь в тени.

Даже в тех случаях, когда он «бросает вызов» окружающим (сообществу, клану, семье, государству) и его «соучастники» предпочитают умереть, чем оставаться без него, их доля хотя нередко и вызывает сочувствие окружающих, но

такое уместное реагирование всё же, как правило, бывает менее выраженным по сравнению с тем, когда люди «взвешивают» потери свобод политических и гражданственных. Больше того: испытывая ущемления свобод в областях политики и публичной деятельности, борцы за них, люди, даже порой достаточно искушённые в юриспруденции и в обществоведении, доходят, бывает, до того, что позволяют себе заявлять о полном отсутствии свобод вокруг себя и для себя, о чём, конечно, можно только пожалеть.

Не будь свободы интима, свободы индивидуума, неборимой ничем и ни в какие века, да также и других не отторгаемых от него свобод, пользуясь которыми, он ко времени удовлетворяет свои естественные потребности, возможно, никто не знал бы настоящей цены и всем прочим свободам, с каким бы старанием их ни афишировать.

Разумеется, нельзя отрицать важности и значения тех свобод, которые исходят из демократических представлений и фактов текущей политической жизни, но цена им, как мы все убеждаемся, и в самом деле часто оказывается едва ли не сомнительной.

Хотя их можно записывать в конституциях и в соответствующих им рядовых законах, но, по большому счёту, они в таком виде почти всегда остаются лишь декларациями, так как на свет «появляются» не «сами по себе», а – будучи предложены и приняты к использованию по волевому акту – искусственно, стало быть, могут не только оспариваться, но и

отменяться.

Сопоставлять их с великим и свободным чувством любви, – стержнем интима, — данностью в полном смысле слова правовой и высвеченной общим для человечества идеалом свободы, значит оставаться в плену дремучего заблуждения.

Разве не проникаемся мы полным и чистым пониманием того небезразличного ни для кого взволнованного состояния души, которое раскрывает в себе, к примеру, возлюбленная из древнеегипетского стихотворного текста под названием «Сила любви»? Там есть такие строки:

Твоей любви отвергнуть я не в силах.
Будь верен упоенью своему!

Не отступлюсь от милого, хоть бейте!
Хоть продержите целый день в болоте!
Хоть в Сирию меня плетью гоните
Хоть в Нубию – дубьём,
Хоть пальмовыми розгами – в пустыню
Иль тумакими – к устью Нила.

На увещанья ваши не поддамся.
Я не хочу противиться любви.

Себе кажусь владычицей Египта
Когда сжимаешь ты меня в объятьях.*

* Перевод В. Потаповой.

И не менее бывают проникновенны и обнажены в своей потрясающей искренности действия и откровения в защиту любви у мужчины.

Вот в каком редком словесном наборе слетели они с языка незадачливого выпускника бурсы, молодого запорожского казака Андрия, сына полковника Бульбы, участвовавшего в осаде крепости Дубно, куда он тайно проник для свидания с красавицей полячкой, дочерью тамошнего воеводы, сторяя желанием услышать от неё признание, что любим ею:

– Царица! – вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. – ... прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, – я побегу исполнять её! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, – я сделаю, я погублю себя. ... и погубить себя для тебя... мне так сладко... У меня три хутора, половина табунов отцовских – мои, всё, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, – всё моё. Такого ни у кого нет теперь... оружия, как у меня; за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только вымолвишь одно слово...

(Н и к о л а й Г о г о л ь. «Тарас Бульба», из главы VI. – Извлечения из текста приведены с сокращениями).

И когда дева, сокрушаясь, что он и она – враги, говорит ему, что у него есть отец, товарищи, отчизна, которые позовут его, вследствие чего ей с ним, вероятно, не быть вместе, у него мгновенно вызревает суждение, начисто выметающее всё, чем он жил прежде и чем, казалось бы, должен был жить дальше:

– А что мне отец, товарищи и отчизна! ...нет у меня никого! ... – Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне её в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для неё всего. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моём, понесу её, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь... вырвет её оттуда! И всё, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!

(Н и к о л а й Г о г о л ь. «Тарас Бульба». Т а м ж е. – Извлечения из текста приведены с сокращениями).

Что тут сказать! В любовной стихии крайности – обычное явление. Сочинитель, предложив столь эксцентричного героя, не ошибся в принципе: люди такого характера и таких воззрений могут в сообществах быть! И могут так поступать в конкретных обстоятельствах. Имеют на то право. Только другой вопрос: имеют ли они право всегда пользоваться им, таким правом?

Ведь заявлениями от лица Андрия автор перечёркивает

не только всю разбросанную в его обширной талантливой прозе и публицистике риторику, призванную обосновать и утвердить его собственный, личный патриотизм, национализм и приверженность лучшему, по его мнению, вероисповеданию – православию, но и едва ли не любой патриотизм и связанные с ним другие строгие понятия, где бы и в ком бы они ни проявлялись.

Здесь позволим себе заметить, как цивилизации последних тысячелетий, обременённые бесчисленными пороками, в том числе в интима, умели всё-таки щадить, защищать и возвышать свободную человеческую любовь, когда в ней укреплялся её идеал.

Сравнительно невелико число апелляций к ней в самом её высоком качестве и значении – перед огромной массой истолкований, касавшихся «противоположного», «испорченного» интима. Вместе же и тот и другой открывали широчайшие возможности подправить и упрочить общие представления о «предмете». К нему обращались как к источнику и эликсиру вдохновения, наивно полагая обнаружить в этом месте ключик, повернув который, можно войти в мир заманчивой изначальной справедливости, добра, чести и всего лучшего из арсеналов мировой этики.

К сожалению, подобрать такой ключик удавалось далеко не всем и не всегда. Почему?

Уже запрет кровосмешений становился вызовом свободе, так как провоцировал серьёзнейшую драму для индивиду-

ма. У него, индивидуума, ограничивали право естественного выбора, право быть в интима полностью раскованным. Свободные чувства попирались.

Можно по-настоящему искренне посочувствовать первым жертвам этого эксперимента, противоестественного для некоего очень давнего исторического времени. Хотя он и диктовался жёсткой целесообразностью «для всех», тут всё же действие – «на грани». Ведь чем бы целесообразность ни диктовалась, она, как об этом давно и хорошо знают законотворцы, – худший помощник праву.

Скепсис в отношении «не того» интима, в какую бы ни-жайшую степень его ни опрокидывали, не должен игнорироваться просто так. Ведь именно здесь нередко ущемлялась личная чувственная свобода и ни от кого не отчуждаемое право на неё.

К величайшему огорчению всех, кому дорог институт семьи, место в одном ряду с акциями, подавляющими свободы, занимал и занимает даже он. Частью это уже отмечалось выше. На его изначальную «неправомерность» указывает отсутствие судебного преследования за уход из семьи кого-то из супругов. Также судебного преследования нет и не может быть за выбор нового супруга или супруги при оставлении прежних, следовательно, и – за измену, или ещё более того: за череду измен. Даже по фактам кровосмешения, инцеста – подход тот же.

Древний этот порок, приводивший к вырождению не

только семей, фамильных корпораций, но и целых родовых общин и даже народов, ещё, как всем известно, не избыт и сегодня. Его поборники не перевелись и в населенных, и в анклавах знати, особенно верховной, где традиционно инцест использовался как наивернейшее средство опротозировать и закрепить за определёнными лицами права унаследования династической власти в узких пределах единой – «голубой» крови.

Ответственность по суду в этих расчётливых обстоятельствах может наступить лишь при наличии физического насилия над личностью, когда оно, как действие, преследуется государственным уголовным установлением. Нет насилия по такому установлению – нет и ответственности.

Например, читатели набоковского романа «Лолита» воспринимают развитие интимных отношений между его главными героями точно так же, как они это делают, склоняясь и над другими сочинениями о «не том» интимае.

Хотя инцест их и озадачивает, но возмущений почти не вызывает. Даже больше: как факт цивилизации новейшего образца, стремительно и во многом прямо-таки дерзко «освобождающей» себя в интимае от каких бы то ни было ограничений, он совершенно легко и просто укладывается в её ложе.

Принципиальных ограничений ему не выставлялось и в сравнительно давние времена. Ужасные сцены из трагедии Софокла «Эдип-царь» хотя и указывают на то, что интрига

там частью обусловлена кровосмешением, но – как действие осуждаемое оно в сюжете не значится.

Фиванская греческая община, где происходило событие, унаследовав многие традиции древней Беотии, имела уже богатый опыт обуздывания целого ряда диких сексуальных вольностей с помощью как моральных норм, так и публичного, государственного права; за несоблюдение ограничивающих установлений полагались кары. Но – кровосмешение запрету не подлежало.

Эдип, как убийца Лая, своего отца, ставший по тамошнему закону и по воле случая супругом его вдовы, то есть – своей родной матери, хотя и осознаёт себя преступником, однако вины в порочной связи ему никто не вменяет; также вина не переходит и на его детей, прижитых с матерью, о чём ослепивший себя из отчаяния перед произошедшим царь стенает, говоря, что злая молва, преследуя дочек, вероятно, помещает им выйти замуж.

Без молвы, разумеется, не обходилось, но и особых оснований такие опасения не имели, что подтверждается уже в другом произведении Софокла: одна из дочерей царя Эдипа – Антигона – была просватана за её кузена, причём по взаимной любви – чувству, подтолкнувшему жениха – из-за несправедливого смертного приговора его избраннице – также лишиться себя жизни в момент её гибели.

Авторский гений драматурга здесь, безусловно, на верном пути: художественное истолкование им свободы в интиме

полностью в русле здравого понимания природы этого великого феномена.

Если обратиться к ещё более древним письменным источникам, то и там случаи инцеста не приобретали трактовок, по которым его следовало бы считать запретным. Эпизоды с кровосмешением приводятся уже в Торе.

Так, рождение Моава и Бен-Амми, от которых, как утверждается в Библии, произошли общины моавитян и аммонитян, связано с «неприличным» поведением их матерей – родных дочерей Лота. Проживая с отцом в глухой пещере и не имея контактов с кем-либо из мужчин на стороне, они забеременели, пойдя на половую связь с Лотом, которого будто бы опоили вином.

Легко смахнуть помещённую в тексте оговорку, что отец якобы на протяжении многих ночей не знал и не догадывался, с кем делит ложе, – настолько, дескать, он был дезориентирован винным напитком. И ему и его дочерям, успевшим пожить в известном поселении Содоме, рассаднике бескрайнего распутства и блуда, трудно приписывать некое непонимание смысла их сексуального поведения.

Здесь библейский летописец, скорее, пытался хоть как-то заштриховать значение самого факта порочной связи, как пережитка отдалённого периода необуздываемой вольности в интиме, видимо, бывшего пока терпимым соплеменниками, но уже взятым под подозрение при явном господстве института семьи.

Время, однако, показывало, что и в условиях семейного уклада пережиток своих позиций не сдавал никогда, и препятствий на его пути так и не было выставлено. Сочинитель Торы, переходя к более отдалённым событиям из истории Израиля и касаясь, в частности, родословной Моисея, уже без оговорок, совершенно ровным тоном сообщал: величайший из иудейских пророков был зачат Амрамом, женившимся на своей тётке Иохаведе.

Давно уже «искривлениями» характеризуется и сам институт семьи. Функции этого образования не могли вырабатываться по шаблону. Разные модели даны уже в библейских преданиях.

С одной стороны, записавшие их знатоки и толкователи показывали семью как пару из мужчины и женщины, что в переводе на язык нашей современности понимается как наиболее «подходящая» по структуре и давно оправдавшая себя ячейка общества, и она, как образец, афишируется и рекомендуется как государственными властями, так и многими религиозными конфессиями, в том числе христианской, церковью.

Но те же летописцы и знатоки не однажды повествовали о семьях с большей численностью супругов, например, не одной, а нескольких жёнах при одном муже, и такой опыт постепенно укоренился настолько, что признаётся непререкаемой данностью в населенных, исповедующих мусульманскую религию.

Также никогда и особенно в древности не исключался тип семьи, в которой несколько мужчин могли быть мужьями одной женщины, причём здесь давался простор и вариантам. К примеру: женщину брал в жёны старший из совместно проживавших у родителей братьев, а младшие могли, начиная со старшего среди них, поочерёдно жениться лишь на супруге самого старшего, при его смерти, то есть – на его вдове; если же такой возможности не оказывалось, то для них невозможной становилась и женитьба.

Возникал и обычай, когда равные права на одну жену получали сразу несколько мужчин. Описание такой ячейки приводится в «Махабхарате» – в сказании о приключениях пяти братьев и их жены Драупади.

С прибавлением в человечестве свобод и вольных представлений об интиме не могли оставаться неизменными и традиции выбора суженых. В той же «Махабхарате» рассказывается о царице Савитри, смело отправившейся в странствование – искать себе жениха, причём в тексте этого любопытного повествования не звучит ни одной ноты неприемлемости такого обычая.

Женская инициатива при выборе суженых до сих пор не угасла в некоторых анклавах Индии и африканских стран.

Понятно, что широкий «разброс» в типах и способах организации семейного уклада в целом зависел от обстоятельств, в каких приходилось жить людям. Это, в частности, могли быть ситуации, когда в сообществах возникал и счи-

тался нежелательным на будущее дефицит в составах мужчин или женщин и возрастал или понижался «спрос» то на тех, то на других.

В целом, однако, было бы ошибкой не учитывать того, что экспериментирование, на которое шли тут сообщества, до сих пор не закончилось, и ясного ответа на вопрос: каким быть составу семьи в его, так сказать, «истинной» пронормированности? – нет. Почему?

Целостная конструкция, если понимать её как получившую завершённую «форму», не в состоянии выдержать воздействий и влияний интима, где «заложена» естественная мера высшей свободы для индивидуума.

«Накладываясь» на свободы прочие, каких теперешняя цивилизация чуть ли не с каждым днём провозглашает всё больше, интимная «составляющая» попросту не допускает никакого шанса на чёткий благостный исход эксперимента. И ждать его бесполезно, особенно в том отношении, что декларациями и законами интим уже прочнейшим образом увязан с устремлениями на собственность и на величайшие вещные богатства, говоря по-другому, – с корыстью, что способствовало только его дальнейшей непрекращаемой порче.

Именно здесь, на этом «плацдарме», миллионами и миллиардами вызревают спекуляции на любви, с которой, если рассматривать её как чувство «от» человеческой природы, ни богатства, ни собственность несовместимы.

Провозглашая незыблемость права собственности в рам-

ках института семьи, правительства, кажется, лишь усугубляют злосчастную драму, нависающую над доверчивыми людьми.

Она, такая драма, непременно должна вести в омуты непредсказуемого и ещё более уязвляющего человеческие начала, поскольку не может быть ничего хуже упований на стабильность, если она поддерживается правами и свободами, угнетающими права и свободы верховенственные, личностные, никакую силу не управляемые.

И вовсе не должно восприниматься странным, что в условиях прободения прав и свобод, исходящих из неотторгаемой сущности живого человека, до неузнаваемости может перекорёживаться понимание корневого смысла чувственной любви, запечатлённой в идеале.

На месте, где ей надлежит находиться, то и дело взбухают чёрные облака извращений, якобы также равные великому светлomu чувству. Их целый ряд: лесбиянство, ското- и мужеложство, массосоития и проч. Донесло их к нам из тысячелетий, от старта разумной общности, когда мысль осветила свободу в поступках и суждениях, а знать, как ею, этой свободой, пользоваться и как её ограничивать, было ещё не дано никому.

В том тут и беда, что и в суррогатах находятся элементы любви настоящей, высокой. И ещё горше беда от того, с какой лёгкостью, при отсутствии наказания по законам, преодолевается их (таких законов) неодобрение, практически

всегда массовое.

Государственные или публичные нормалии в данной сфере принимаются, как это приходится их понимать сегодня, исходя из конкретных реалий, явно – из отчаяния и в пикку здравому смыслу, когда демонстрируется злая воля следовать принципу уже закрайней либерализации, того «освобождения» «до конца», о котором мы имели возможность порассуждать в подробностях, на самом же деле – уходя в чёрный, глухой абсурд.

Именно к такому результату пришли в США, где вступил в силу закон об однополых браках, а ещё: под знаком свободы давно проводятся уличные демонстрации, шествия и пикеты геев и лесбиянок и не прекращается возня с искусственным изменением мужского и женского полов в подрастающих молодых поколениях.

Подобных решений проблем, возникающих вокруг свобод «не того» интима, уже достаточно и в других странах так называемой западной демократии.

Надо ли говорить, что вольница на этом житейском поле стала там частью общего процесса «освобождения» со знаком «минус», в том числе «освобождения» в области публичного, государственного права.

Он, этот «минусовый» процесс, неизбежно должен иметь своим логическим продолжением и завершением полное, тотальное деградирование общественной жизни, быстрое усыхание блеклых принципов собственного превосходства (за-

пада) над «остальным» миром, вызывающего отторжения от него.

Прибегая временами к насилию над законами, данными от природы, люди, что называется, подрубают дерево, на ветвях которого очутились. Как мы видели, во многом от этого зависело качество идеалов, вызревавших в лоне естественного права.

Они получались оторванными от свободы, как и она от них, и, само собой, неотчётливыми выходили также понятия чистой любви, человеческого достоинства, чести, долга.

Укрощение «не того» интима с применением закона должно сводиться, очевидно, к тому, что в некоторых случаях сообщества, подчиняясь необходимости, прямо-таки обязаны вводить соответствующие регуляторы. Но даже самые строгие из них не могли бы обеспечить желаемого эффекта, на что указывает ситуация с тем же инцестом. Из массового распространения он вроде бы изъят, но окончательно не побеждён и будет ли побеждён когда-нибудь, никто не знает. По крайней мере, это пока «предмет», ярко подтверждающий необоримую силу свободы в интиме, чего не мог бы отрицать любой, даже не будучи правозащитником.

Строгости на будущее понадобятся, видимо, по отношению к проституции, педофилии и другим «уклонам» и извращениям, проблемы с которыми резко обострены в связи с провозглашением более широких прав и свобод – политических и гражданственных. Ясно, что, как и всегда рань-

ше, «подрезание» такого интима и на этот раз не может не сопровождаться ломкой неотторгаемых прав и ущемлением свободы человеческой личности.

С учётом развития демократий каждый шаг в этом направлении наверняка пришлось бы делать с изрядной долей смущения, стыда и осмотрительности, ожидая, что где-нибудь его могут использовать как повод к разогреванию каких угодно политических возмущений, требований, интриг.

Можно не ошибиться: неприятные и даже слишком горестные последствия такой острой реакции на введение мер насилия гарантированы – как для отдельных государств, так и для всего человеческого сообщества.

Именно поэтому не убывает необходимости в постоянных исследованиях проблем и темы любви в отношениях между людьми.

Добрые услуги в этом направлении смогли оказать вовсе не научная психология и венерология, быстрое развитие которых наблюдалось лишь в самые последние столетия, а – художественная литература, где издревле интим избирался как важнейшее средство постижения чувственности в человеке.

Не где-то в других сферах, а именно здесь, в искусстве слова, необъятная стихия любовных отношений всегда отображалась в её целостном понимании, когда имели её в виду и как нечто лучшее в индивидууме и в человечестве, так и в вариантах, во многом вызывавших сомнения, – в виде «не того» интима.

Попыток отличиться в освещении темы нельзя уложить в какие-то цифры. Как уже отмечалось выше, это было связано с неподдельным, общим для всех интересом к задачам репродукции человечества как вида.

Да, в работе над образами никто из литераторов не претендовал на открытия по части физиологии и других аспектов нашего бытия; но в совокупности художественное творчество шло всё же и в русле решения самых разных исследовательских задач. Нередко это могло обнаруживаться уже при выборе сочинителями героев и сюжеталий для отдельных своих произведений.

Пушкинская поэма «Анджело» – одно из них. В нём любовь, как чувство естественное и свободное, не подлежащее управлению государственным, то есть публичным правом, брошена именно под это строгое покрывало, вследствие чего ей отведена роль уже некоей разменной монеты при категориях морали и нравственности.

Властитель, наделённый одновременно и статусом судьи, установивший за прелюбодеяние исключительное наказание – смертную казнь, сам влюблён и превращается в соблазнителя, подпадая под нож своего же, будто бы справедливого предписания. Вокруг этого драматического обстоятельства в поэме уясняется «истинное» понимание любви и супружеского долга.

Какими им быть? Какое место в них должно быть отведено измене? Как воспринимать «любвеобилие» – со стороны

как мужчины, так и женщины? И какова здесь на самом деле роль закона, права государственного, публичного, а также и права естественного – в его двух ипостасях: как общего для всех и каждого и – корпоративного (если без него —не обходятся)?

Морализаторский и довольно острый этот «ход» когда-то разрабатывал и Шекспир – в комедии «Мера за меру», а ещё раньше такая же коллизия раскрывалась в одной из новелл малоизвестным итальянским сочинителем.

Не отрицая старательности и талантливости этих авторов, заметим, что ни у одного из них движение страстей не получало яркого и достаточно обоснованного выражения. Страстям хоть и находилось место, однако едва ли не сразу они тускнели и теряли значимость под влиянием странноватого поворота в истолковании пружин повествования.

Из-за чего сочинителям понадобилось заострять внимание читающей и театральной публики на соотношении любви и закона? Не вполне убедительный ответ на этот вопрос дают они сами, заканчивая повествования тем, что от лица новой, великодушной власти уличённый прелюбодей судья вдруг получает спасительное для него прощение. В таком happy end очевидна некая искусственная его заданность или даже надуманность.

Ведь проблема, как и её разрешение, понятна сама по себе; она, как увязанная с общей этикой, с действующим повсюду обычаем, не очень-то и нуждается в сопоставлениях.

Хотя есть интрига, читатель или театральный зритель уже «издалека» догадываются, что им преподносится как бы маловероятное, только в виде ребуса, «в потеху», окончание же напрашивается одно-единственное – тот самый happy end. Усилия литераторов, стало быть, затрачены едва ли не впустую.

Подступаясь к сюжету, сочинители явно пренебрегали всеобщим пониманием установившихся отношений между полами в людских сообществах – как системой или сферой особой чувственности и достоинства. Соответственно в стороне было оставлено главное. А оно состояло в том, что пытаться отрегулировать законом чувственное невозможно ни по каким основаниям.

Здесь – канон. Ошибка с его употреблением или с толкованием стоила доверия даже писателям первой руки!

Один из любопытнейших разделов исследования средствами художественной выразительности связан с освещением интима на фоне сословного различия участвующих в нём партнёров.

Им, этим разделом, охватывается самая, пожалуй, объёмная часть любовных коллизий, получивших отражение в мировой литературе. Такой расклад вышел вследствие того очень большого срока, в котором суждено было вызреть личной свободе в её особом значении, когда она хотя бы лишь декларативно начинала признаваться потребностью

всех и каждого, а не только богатых.

Образцом востребования справедливости в любовных привязанностях супругов можно рассматривать «Песнь оставленной жены» из эпохи древнекитайского царства Бэй. Лирическую эту драму, где слышны плач и стенания несчастной постаревшей женщины, украшают и усиливают подробности житейского быта и общественных отношений далёкого прошлого восточной окраины мира. Читателям предлагается полный текст этого волнующего сочинения.

1

Вновь нагнал восточный ветер облака.

Я с тобой была всем сердцем заодно.

Нет, не должен ты сердиться на меня,

И, по-моему, известно всем давно:

Репа спелая особенно сладка.

Я творила только добрые дела.

За собой не знаю никакого зла,

И с тобою вместе я бы умерла.

2

Я иду по самой горькой из дорог.

У меня в груди – обида и упрёк.

Проводить не соизволил ты меня,

И одна переступила я порог.

Говорят, что слишком горек молочай.
Как трава пастушья, он голодным впрок.
С молодой женой ты ласков, как родной.
Мною, старой, ты жестоко пренебрёг.

3
Цзин-река рекою Вэй замутнена,
Но, как только замедляется поток,
Возле берега прозрачная вода.
Господин мой! Как со мною ты жесток!
На мою запруду не пускай чужих!
Вершу бедную мою не повреди!
С молодой женой ты ласков, как родной.
Ждут меня одни печали впереди.

4
Речку маленькую вброд мы перейдём.
У большой реки всегда найдёшь паром,
И воспользоваться можно челноком.
Я не брезговала никаким трудом,
На коленях помогала беднякам,
И спасённый поминал меня добром,
Когда хворь косила слабых здесь и там
И когда несчастья множились кругом.

5

Ты меня лишил надежды и усад.
Что ни сделаю – в ответ сердитый взгляд.
Опорочил добродетель ты мою,
И нигде меня купить не захотят.
Неимущий, был ты мне когда-то рад.
Я с тобой страдала столько лет подряд!
А теперь, когда дела пошли на лад,
Для тебя я словно смертоносный яд.

6

Изобильные запасы у меня.
С ними лютая зима не так страшна.
С молодой женой ты ласков, как родной.
Я работница теперь, а не жена.
Ничего ты не принёс мне, кроме зла.
Разорил теперь ты жизнь мою дотла.
Вспомни, как совсем немного лет назад
Я одна твоей утехой была.
(Перевод В. Микушевича).

Поэтические творения подобного рода получают высокое признание в любом народе, у самых разных читателей. Их отличие в том, что в них угадывается и тут же уясняется отчётливая отстранённость от интима «нормального», «протокольного», лишённого реальных, вариативных признаков:

Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиления,
Без робкой нежности и тайного волнения.
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой,
А не исправленный стократною обидой,
Я новым идолам несу свои мольбы...

(А л е к с а н д р П у ш к и н. «Каков я прежде был, таков и ныне я...»)

Художественные образы, в которых такой отстранённости нет, выглядят ходульными и худосочными; там слишком заметны усилия авторов придерживаться некоего допустимого, по их понятиям, закрая в морали и нравственности.

Хотя обычно без такой «примерки» не обойтись, но необходима и осторожность. В особенности – когда творцы следуют какой-нибудь идеологии или предписанию в виде канона, где может уместиться определённый запрет. Каким должен быть истинный, «позаимствованный» из жизни художественный образ, если исходить из той свободы, в которой интиму «предписано» проявляться «от» природы, в пределах естественного права?

Убедительной представляется трактовка на этот счёт, например, у Гомера – в песни «Обольщение Зевса» из «Или-

ады», где «хозяин» Олимпа и громовержец, покровитель защитников Трои, неожиданно подпадает под воздействие необъяснимого в новизне и энергетике сексуального магнетизма, излучаемого его лукавой супругой Герой, благоволившей, наоборот, агрессорам.

С целью отвлечь его от военного конфликта у города-крепости и тем облегчить положение аргивян перед лицом наседавших на них троянцев она, покоряя негой и женственностью, склоняет мужа к покою и сну, что означало также разделить с нею ложе, причём прямо на «рабочем месте» всевластного владыки – на Гаргаре, вершине горы Иды, которую он не привык прикрывать завесами туч, так как обычно делами, за какие могли бы его осуждать соглядатаи, он там не занимался.

Поражённый обаянием супруги, Зевс не только принимает её позыв, но и по-своему широко и обстоятельно изливает и обосновывает перед нею свои трепетные любовные чувства.

Как и пристало всевластному богу-иерарху, утвердившемуся в необычайных для него дозволенностях, не исключая, разумеется, и интима в его самом широком значении и «применении», он не расположен напускать на себя хоть какую-нибудь скромность и выкладывает перед супругой всё, что только могло ему, как очень приятное, вспомниться в данный момент всепоглощающего экстатического восторга.

Вот он, тот изумительный фрагмент из поэтической эпо-

пеи, переведённый хотя и грузным стародавним слогом, но и в таком виде сохраняющий ценность яркого, почти документального свидетельства:

Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся.
Гера, такая любовь никогда, ни к богине, ни к смертной
В грудь не вливалась мне и душою моею не владела!
Так не любил я, пленясь младой Иксиона супругой,
Родшею мне Парифоя, советами равного богу;
Ни Данаей прельстясь, белоногой Акрисия дочерью,
Родшей сына Персея, славнейшего в сонме героев;
Ни владея младой знаменитого Феникса дочерью,
Родшей Криту Миноса и славу мужей Радаманта;
Ни прекраснейшей смертной пленясь, Алкменою в Фивах,

Сына родившей героя, великого духом Геракла;
Даже Семелой, родившею радость людей Диониса;
Так не любил я, пленясь лепокудрой царицей Деметрой,
Самою Летою славной, ни даже тобою, о Гера!
Ныне пылаю тобою, желанья сладкого полный!
(Перевод Н. Гнедича).

И это вовсе не законченный перечень случаев бурного проявления сексуальности у Зевса. Не забытыми для истории остались его увлечения Дионой, родившей ему Афродите, богиню любви и красоты, Ио – дочерью речного бога

Инаха и другими женщинами.

Обязан происхождению от Зевса и полученному от него иммунитету на сохранение почти полнейшей неуязвимости тела (кроме удара или ранения в пятку) сын царя Пелея, прославленный в веках герой Ахиллес, мать которого, богиня Фетида, предводительница над морскими русалками, не избежала участи зачать от своего верховного покровителя.

Примечательно, что при столь повышенной мужниной любвеобильности и его благоверной как бы не резон становиться в обидную позу и тем пренебрегать самую же ею возведённой глыбою предстоящей сексуальной страсти. По крайней мере, слышанное ею признание она, как то заметно по дальнейшему тексту «Песни», легко пропускает мимо ушей и никакой бурной сцены супругу не устраивает. – Здесь, конечно, имеется в виду не укоризна ревнивицам типа Медеи.

Богиня нисходит к неумеренности половых связей и отношений, но лишь «вообще», – поскольку они продиктованы естественными влечениями, пусть даже и минутными. Хотя в реальной жизни каждый обязан их в себе «укорачивать» усилием рассудка и воли, но, разумеется, как персона очеловеченная, то есть как обычная женщина, Гера чувства ревности вовсе не лишена.

Об этом сообщается в частности в трагедии Эсхила «Прометей прикованный»: случайную соперницу, удостоенную вождя внимания Зевса, Гера, возмещая на ней оби-

ду и унижение, обратила в корову, неотступно преследуя её жалящим оводом...

Гомер, излагая побочный сюжет, явно не был намерен показывать героиню вне «опасного» чувства. Такое было бы непозволительно гению. Умолчание в данном случае – ход не принципиальный, а только вынужденный: щекотливую тему любовной страсти автор оставлял, поспешая продолжить повествование об основных событиях у стен оборонявшейся Трои.

Со стороны женщин-богинь бурлящие половые увлечения, смыкаемые в специфичный, «греховный» образ жизни, также вовсе не редкость.

Пример дан уже в литературном памятнике древней Месопотамии – сказании о молодом царе Гильгамеше. Богине Иштар, возжелавшей иметь Гильгамеша своим мужем, он, смертный, в обоснование отказа принять такое лестное предложение укоряет её целым длинным перечнем вызывающих прошлых её проделок на почве интима, – когда каждого из появлявшихся у неё мужей она поочерёдно, одного за другим, вскоре от себя изгоняла, ударяясь в распутство с новым избранником, причём среди таковых бывали даже козопас и подпасок.

Мало и этого: не чуждались боги и кровосмесительных связей – как случайных, вольных, так и в виде брака, длительного брачного союза.

Те же Гера и Зевс не являлись тут исключением; они бы-

ли братом и сестрой, рождёнными от Крона и Реи. В свою очередь супружескую пару составили упомянутая Афродита и рождённый от Зевса и Геры хромой бог Гефест, её брат, подвизавшийся на кузнечном поприще, в искусстве и ремёслах.

Если такую концептуальность перенести на людей, на смертных, то, вроде бы вообще нельзя было бы говорить о какой-то целесообразной модели устройства семьи. Однако семья-то, как таковая, да ещё и одинаковая по структуре с нынешней, признаваемой и принятой большей частью населения земли, ни Гомером, ни сочинителем из исторического Междуречья не отрицалась! Что у них отсылки к богам – какая разница! Ведь они имели в виду отношения, хорошо им известные – человеческие, едва ли не в точной с них копии.

Да и прямых аналогий примерам «ненормативного» сексуального поведения богов древние также не гнушались. Речь-то шла о коренном содержании их жизни, об удовлетворении людьми их потребности, возникающей у каждого взрослого едва ли не ежедневно, а то и не по одному разу в сутки.

Творцам художественной литературы при её зарождении просто невозможно было отграничиться от этой неизменно актуальной темы. В ней совершенно естественно умещался «перебор» с интимом, например, у такой трагической личности, как Приам – у царя Трои.

Повествуя о защищавших Трои витязях и их клеветках,

Гомер с отменной пунктуальностью одного за другим называет из их среды храбрых сыновей этого почтенного старца, рождённых не только в главной цитадели страны, где с ним проживала его законная жена Гекуба, а и прибывавших в составе союзных дружин из самых разных мест, в ряде случаев весьма отдалённых.

Разумеется, матерями их были другие женщины. Приам, что опять же весьма любопытно, полностью признавал «сторонних» сыновей своими.

Трудно не сбиться со счёта, объединяя в условную когорту этих побочных его отпрысков, многие из которых отличились в боевых искусствах в ходе сражений и погибли как герои. И мы верим рассказанному, не правда ли? – даже несмотря на то, что оно – из очень давнего и достаточно скрытого прошлого.

Разве это не наглядные образцы тех невероятно свободных и невероятно запутанных сексуальных отправлений, какие извечно распространены в людских сообществах – вопреки целому арсеналу средств и намерений по их искоренению, как правило, попросту лукавых или, если сколько-нибудь и эффективных, то лишь благодаря внедрению их принуждением, силой?

Когда великие индусы Вальмики в его «Рамаяне» или Калидаса в «Облаке-вестнике», блистая совершеннейшею огранкою каждой строки своих стихотворных текстов, выражают приверженность семье только из пары супругов, муж-

чины и женщины, и повествуют о самых тончайших нюансах любви обречённых на долгое одиночество мужей к разлучённым с ними жёнам, – любви и привязанности, поколебать которые будто бы не дано никому и ни при каких невзгодах или случайных соблазнах, – то это, конечно, и очень эмоционально, и очень красиво, и даже воспринимается как некая желательная, изначально предписанная норма, – как правда; однако устоять такому изложению перед свидетельствами, оставленными Гомером и его коллегой из Месопотамии, пожалуй, невозможно. Поскольку персонажи их повествований хотя и несут на себе печать грубой, почти дикой бытовой натуральности, но, по всем статьям, они всё же – правдивее.

Доводов, чтобы их оспорить, не наберётся никаких. Отыщись они, пришлось бы понятие интима в его реальном, неподкрашенном виде целиком затушевать, заменив тем самым живого человека бесчувственным роботом, обученным лишь исполнять команды.

Хотя нельзя не считаться и с богатейшей мировой традицией формирования модели моногамной семьи, где брак предусмотрен одновременно только с одним партнёром другого пола и в глазах сообществ предпочтение отдаётся союзам этого типа, длящимся, как правило, много дольше обычных.

Моногамные ячейки нередко не распадаются до конца жизни супругов, и тут, несомненно, берёт уже верх тот интим, какой принято не относить к разряду ненормативного,

«не того».

Соединяясь на принципах взаимной уживчивости каждого супруга и на их желаниях разделять общие материальные и духовные интересы, такие пары являются как бы эталоном супружеской верности.

В литературе запечатлены сотни примеров, когда она, эта верность, выражалась ярко, страстно и поучительно, особенно поначалу, при возникновении связи.

Однако даже в таких «удачных» или образцовых семьях писатели всегда находили примеры измен, скрытых или публичных, так что воспевание чистой и возвышенной любви, если и выглядело «нормой», то лишь в пределах мастерского экспрессивного изложения фабул и равнения на некие требования и пожелания, исходящие по большей части от молвы.

Говорить о полнейшей непорочности моногамных ячеек, о какой-то естественной, «вечной» природной привязанности партнёров, наподобие той, какая распространена в отдельных видах животного мира, скажем, у лебедей, приходится, видимо, скорее, из соображений пропаганды полезности института семьи, но – не более.

Научной подоплёки здесь пока не выявлено, да нельзя сбрасывать со счетов и статистики, всё более обнажающей привычный стиль человеческой жизни – с «отклонениями» в интиме.

Наш Пушкин, хотя в его творчестве иногда и звучали

ноты великой чувственной любви как достояния общечеловеческого, в принципиальном плане не был оригинален, рассказывая о «не том» интиме главным образом в среде господствовавших сословий былой, крепостнической России, где дворяне, подверженные воздействию ущербного феодального «кодекса чести», имели, можно сказать, своё понимание феномена, оставляя вне хотя бы какого интереса его «наличие» в сословии подневольном.

Чего искали любившие и отвечавшие на любовь вольные дворяне в тех своеобразных исторических условиях?

«В любви считаясь инвалидом», как позволил себе автор отозваться о главном герое известного его романа в стихах, Онегин ещё в ранней молодости, когда назревала его встреча с Татьяной по поводу её пылкого письма к нему, представлял собою существо более чем постное и жалкое:

В красавиц он уж не влюблялся,

А волочился как-нибудь;

Откажут – мигом утешался;

Изменят – рад был отдохнуть.

Он их искал без упоенья,

А оставлял без сожаленья,

Чуть помня их любовь и злость.

(А л е к с а н д р П у ш к и н, «Евгений Онегин», глава четвёртая, X).

Если воспринимать его, такого персонажа, в «обрамлении» всеобщей морали и нравственности, то это, собственно, заурядный и недалёкий простак волокита.

Но поэт повествует о нём не только из желания зафиксировать хорошо ему знакомое и типическое.

Онегин неотделим от своей среды, от класса дворянства, в целом не чуждого автору. И потому вовсе не удивительно, что в глазах и во мнении каждого представителя дворянской среды, то есть – таких же, как он, сочинитель, выставленный образ не то что не совсем плох, а как бы даже – привлекателен или, по крайней мере, заслуживает внимания. Чем?

Ну хотя бы тем, насколько понятны ему, Евгению, сословные правила поведения, когда ему удаётся легко возбудить чувство мести в Ленском, в его приятеле, неожиданно просто по прихоти взявшись притворно ухаживать за сестрой Татьяны Ольгой, с которой Ленский уже связывал свои надежды на будущее, а та – принимала его выбор.

Корпоративный обычай требовал в этом случае соответствующего, жёсткого реагирования, и оно могло проявиться лишь в одном: в требовании кровавой дуэли. Оно так и проявилось, лишний раз напомнив читателям о действительности пресловутого постулата дворянской чести. Как говорится, знайте наших!

Вот последние строки из письма пострадавшей и уязвлён-

ной «бедной» Тани:

Кончаю! Страшно перечесть...

Стыдом и страхом замираю...

Но мне порукой ваша честь

И гордость и прямая честь.

(А л е к с а н д р П у ш к и н, «Евгений Онегин», глава третья, XXXI).

И она же о нём годы спустя, когда решалась уже больше с ним не видеться и приходила к мысли, что по-другому быть не должно и не будет:

Я знаю, в вашем сердце есть

И гордость и прямая честь.

(А л е к с а н д р П у ш к и н, «Евгений Онегин», глава восьмая, XLVII).

Ещё сравнительно молодому и материально хорошо обеспеченному дворянину, как потенциальному жениху, то есть фигуре, которая не могла не интересовать девушек на выданье, их родителей и родственников, его поведение в интиме, каким бы оно ни было сомнительным или даже гадким, – в зачёт не ставилось!

Необуздываемый размах прелюбодеяния и волокитства, – в порядке вещей, и он был совместим даже с поняти-

ем сословной чести!

Сам Пушкин, будучи помещиком, не отказывал себе в приобщении к такой запредельной феодальной «норме».

В письме княгине В. Ф. Вяземской в апреле 1830 года, когда ему было уже за тридцать и у него, известного чередой пылких обожаний привлекательных молодых особ из дворянского сословия, просто, кажется, не могло уже не быть соответствующего «опыта» обхождения с ними, он, расположенный похвалиться им, писал:

Моя женитьба на Натали [Наталье Гончаровой. – А. И.] (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена.

Тут, понятно, ни в коем случае невозможны были «отклонения» в сторону подневольных. Их, своих крепостных, дворянин сплошь и рядом выдавал замуж или женил насильно, препятствуя их личным пожеланиям и выбору, тем самым грубейшим образом лишая их неотторгаемых прав.

Но – замеченный в блюде с крепостными, барский отпрыск или тем паче сам барин должны были знать, что такое увлечение могло, вопреки мнению Лариной, поубавить их господской чести. Как уже говорилось, она и состояла-то во многом в обособленности, в отстранении от «остальных».

На свой лад нормировался ими и выбор ими спутниц жизни для себя. Действовал шаблон: неважно кто, лишь бы – из «своих».

За долгие годы странствований и одиночества Онегин, так и не сумев определиться со своей женьтибой, оказывается у ног замужней Татьяны. Как претендующий завоевать её сердце, он в этом акте уже никому не интересен. Даже ей, когда-то потерявшей его. Будто забывая, что он по-прежнему в титуле дворянина и не лишался его, он, не устыдившись, позволяет себе оправдываться перед своей давней жертвой наподобие загулявшего беспечного шалолая:

Свою постылую свободу

Я потерять не захотел.

(А л е к с а н д р П у ш к и н, «Евгений Онегин», глава восьмая, XXXII).

Вот так! Получай, милая!

А какой же поясняющий и не подлежащий оспариванию аргумент лично от себя выдвигает она сама, лишая его всякой надежды? Тут уж и ей приходится отдать должное. Он, аргумент, – полностью в сословной традиции, хотя ещё и с душком обиды за некое насилие над её любовью:

...я другому отдана;

Я буду век ему верна.

(А л е к с а н д р П у ш к и н, «Евгений Онегин», глава восьмая, XLVII).

В хрестоматиях этим строкам до сих пор придаётся возвышенный, сакральный смысл. Вот, мол, идеал русской женщины. Пример устойчивого супружества, кротости, понимания ценности семьи, неприхотливости, благорасположения, душевной уравновешенности, бескорыстия.

Трактовки более чем нелепые!

Позволено ли не отдавать отчёта в том, что, даже став женой князя, то есть удачно устроившись по части вещевого достатка и общественного положения, Татьяна, не любя супруга, до крайности и глубоко несчастна?

Мы не всё знаем, как проходили её девические годы, когда ей нужно было укрощать свою бунтующую молодую плоть. Здесь Пушкин старательно отодвигает от неё всяческие подозрения и лишь то утверждает совершенно, кажется, верно, что для неё были все жребии равны: – по причине оставшегося в ней чувства к Онегину.

Жребии, однако, понимались тут далеко не одинаковыми: для Татьяны, провинциалки, отвергавшей предложения всех тогдашних женихов округа, имели значение только те из них, которые поступали от молодых местных родовитых дворян, то есть преимущественно от помещичьих сынков, а не от кого-нибудь из «простых», скажем, управляющих именьями, бравшихся в наём учителей-иностранцев, представителей личной или чужой прислуги и уж тем более – из крепостных, что исключалось вообще, в принципе.

Уходя в замкнутый сословный интерес, героиня романа так бы, пожалуй, и продолжала невеститься «для своих» околоточных, не случись ей быть в Москве, где она пригласилась важному полнотелому генералу.

Что в таком случае обозначало утверждение: «отдана»?

Трудно представить, что будучи свободной по социальной принадлежности, то есть обладая господскими правами, она вручена чуждому и нелюбимому кем-то силком, будто обычная крепостная крестьянка. Нет. Речь могла идти только о её женском безволии, подчинении обстоятельствам.

Если точнее – она решила не испытывать судьбу и, поддавшись на слёзные уговоры своей матери, целиком следовала нормам сословного, корпоративного естественного права.

Того ущербного маяка дворянской чести, в ориентации на который она если и отличалась от беспутствовавшего Онегина, то только тем, что у неё, как женщины, возможности выбора в своём круге спутника жизни свободно и по любви оставались предельно малы и не шли ни в какое сравнение с тем, как они складывались для мужчин.

Насколько собственный выбор был у Тани замкнут в её сословных представлениях и расчётах, можно судить по тому широко освещённому в художественной словесности состоянию изнуряющего одиночества, в каком оказывалась едва ли не каждая молодая незамужняя дворянка в российской провинции, кажется, не видевшая смысла в ином решении своей судьбы, кроме заполнения супруга непременно из «своих»,

из среды, скреплённой сословной круговой порукой.

Само собой, такие обстоятельства служили хорошей опорой для утверждения и даже развития «не того» интима в его дворянском обозначении.

К нашим дням и к нашим современникам легко применима, в частности, та «неудобная» для слуха, но реалистичная и беспристрастная сентенция, какую выразил Лев Толстой в его «Воскресении».

Распространяясь о Екатерине Масловой, необоснованно осуждённой «штатной» проститутке, романист пишет:

...весь мир представлялся ей собранием обуреваемых похотью людей, со всех сторон стороживших её и... старающихся овладеть ею.

(Л е в Т о л с т о й. «Воскресение», часть первая, XLIV. – Фрагмент текста романа приводится с сокращениями).

Никак нельзя было назвать беспочвенным обращение автора к таким «трепетным» восприятиям образа героини. За десять лет занятий своим «ремеслом» она пропустила через себя сотни клиентов-мужчин из самых разных слоёв общества своей страны, а то, возможно, и – других стран.

Пусть они часто не вызывали у неё никаких иных чувств, кроме гадливости и омерзения, но она вошла в свою роль до такой степени, что та уже как бы и не огорчала её и даже

правилась ей. Чем? Оказывается – возможностью не только получать приличный материальный доходец и не быть стеснённой статусом супруги и, соответственно тому, – обзаведением и воспитанием собственных детей или, хуже того, – неопределённым положением женщины незамужней и не востребованной мужчинами, – но и – безо всяких сложностей и без помех удовлетворяться в прелюбодеяниях, этим утешаясь и не досадуя на свою долю.

Великий писатель говорил о тысячах и тысячах таких женщин своего времени и своего отечества; почти сплошь они, хотя и с оговорками на разного рода неблагоприятные житейские обстоятельства и трудности, но отнюдь не насильно, а совершенно сознательно, по доброй воле избирали для себя дело, связанное с отдачей собственного тела в платное пользование кому угодно; причём здесь имелась в виду та исключительно публика, которая обитала в борделях или, как тогда их называли, домах терпимости, учреждениях, не запрещённых государственной властью и состоявших у этой власти на строгом учёте в виде ячеек законной трудовой профессиональной занятости.

Притронувшись к этой малоприятной теме, автор уже, разумеется, не мог не перейти к замечаниям о случаях допущавшегося и едва ли не массового разврата в среде тогдашнего дворянства, мещанства и простого люда – как со стороны мужей, так и жён, родственников, знакомых.

Например, о людях, добровольно следовавших по этапу за

арестантами и помогавших им сочувствием или материально, в том же романе сказано, что они почти все были влюблены в кого-то из находившихся рядом и что никого из них даже не удивляло исповедание ими так называемой свободной любви – половых отношений вне хоть каких-либо приличий, норм и ограничений.

Сам Нехлюдов, главный герой произведения, следуя за этапом, только-только прервал свои смутные предбрачные отношения с Мисси – княжной Марией Корчагиной, жениться на которой не имел особого желания ввиду наступавшего своего постарения и непривычности видеть себя в роли «образцового» мужа, а, кроме того, – за ним продолжало «тащиться» и ещё не было прервано общение по «программе» ненормативного интима с женой предводителя дворянства того уезда, где находились основные его, нехлюдовские, имения, тоже, кстати, Марией, то есть, – тайно прелюбодействовал.

Имея в виду эти своеобразные обстоятельства и приходя к намерению жениться на осуждённой, он, в состоянии взволнованности и стыда – «чистки души», как о том говорится в романе, – откровенничает:

Скажу правду Мисси, что я распутник и... только напрасно тревожил её...

(Л е в Т о л с т о й. «Воскресение», часть первая, XXVIII. – Предложение из текста приводится с сокращениями).

Его «воскресение», о котором сообщается по ходу повествования и в особенности на последних страницах романа, вряд ли было «всамделишным», а если оно что-то и могло значить, то не более как писательскую иллюзию, «выведенную» из материалов о несправедливостях в устройстве общественной жизни в России и искусственно перенесённую в сознание литературного персонажа.

Куда ему, доброхоту Масловой, было деваться по его возвращении из многомесячного следования за нею с этапом, как не в ту же историческую среду, где суть сексуальных отклонений оставалась явно небеспорочной и только продолжалась её неостановимая порча, и ему, потомственному помещику, сполна впитавшему в себя нормативы прав и обязанностей, установленных на принципах сословной чести, просто не подобало находиться в стороне от ущербного обычая и тем более от собственных потребностей, диктовавшихся физиологией?

Даже его полный разрыв с дворянско-чиновничьим окружением, с которым связывал его привычный для него образ жизни, выход из этой среды, скажем, «к народу», что было в те поры некоей протестной модой, также не привели бы ни к чему положительному. Действие естественного закона продолжалось бы в той же мере испорченности, какую половым отношениям постоянно придавали обстоятельства возрастающей человеческой жажды к удовольствиям и условия

«неустроенной» жизни в отдельных слоях сообществ.

Надо, кстати, заметить, что роман Толстого «Воскресение», благодаря тому, что его содержание до крайности беллетризовано, то есть в нём едва ли не стилем газетного листа броско и оконкреченно повествуется о наиболее злободневных противоречиях и негативных сторонах общественной жизни в царской России, по-настоящему широко, выпукло и без околичностей обрисована ситуация с круговой порукой в пределах так называемого «света», в том числе и особенно – при «дворе», где сосредотачивалась центральная, царская власть.

Обладая титулом князя, Нехлюдов имел практически беспрепятственный доступ в те пределы. Там он был многими знаем, а со многими у него сложились добрые или даже приятельские отношения. Без задержек ему обеспечивались достойные аудиенции у важных персон и сановников, на него сыпались приглашения этих знатных людей поучаствовать с ними в разного рода ужинах, обедах, чаепитиях и других подобных мероприятиях, что входило в канон общения согласно корпоративной традиции. И все его обращения и запросы, направлявшиеся на облегчение участи Масловой и других осуждённых или их сопутников по этапу, были так или иначе и опять же без каких-то заметных задержек рассмотрены, о чём он узнавал из предоставлявшихся ему устных или письменных ответов и уведомлений.

Как понимал всё это писатель? Конечно, ему было хорошо известно, что для человека обычного, простого, не принадлежавшего к среде высшего сословия, такое обхождение заведомо исключалось. Потому и брался «осветлевший» чувствами и умом Нехлюдов, герой произведения, «призванный» автором к поиску истины и справедливости, поспособствовать горемыкам из нижних общественных слоёв. Однако ни у него, князя, ни у сочинителя нет никаких представлений о той разновидности круговой поруки, когда в ней выражается особенное средство организации внутренней жизни правящего сословия – феодальное естественное право.

Насколько был бы роман правдивее, будь он снабжён чётким авторским видением проявляемости этого права! А так – читатель получал лишь обстоятельное изложение эпизодов, ладно сомкнувшихся в занимательную историю. Здесь, что очевидно, и тема свободной любви, «не того», разнузданного интима, раскрывалась лишь как сопутствующая, приставная, далеко не самая важная.

При всех предпринятых автором «разоблачениях» она, эта тема, не высвечена сколько-нибудь по-новому, что говорило о полном отсутствии у писателя представлений и о естественном праве индивидуума.

В таком ключе о ней повествовали многие литераторы толстовского времени и даже задолго до него, да пока и сейчас ни в художественной литературе, ни в зрелищных видах искусств воздействие элементов естественного права и

зависимость от него творцами произведений оставляются неучтенными или учтёнными недостаточно, с долей некоего игрового смущения за «некорректный» подход в освещении коллизий, чем сильно сужается панорама изображения окружающей социальной жизни и всего бытия человека.

История, однако, указывает на то, что наше уклонение от проблем в интиме попросту закрывает дорогу к его настоящему глубинному постижению. Особенно в том его виде, когда никакие идеальные схемы не оказываются «подходящими» для его искусственного осветления. В частности, об этом можно прочесть в Новом Завете.

Евангелист Иоанн рассказывает, как однажды ярые противники христиан, книжники и фарисеи, привели к Иисусу Христу женщину, взятую в прелюбодеянии. Негодуя на неё за этот порок, они сказали ему: эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: ты что скажешь? В ответ он произнёс: кто из вас без греха, первый брось на неё камень.

Услышав то и будучи каждый обличаем своей совестью, спросившие стали молча расходиться, один за другим, начиная от старших до последних...

Иисус же, обратившись к задержанной, сказал: женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, господи. На что он изрёк: и я не осуждаю; иди и впредь не греши.

(«Новый завет», «От Иоанна святое благовествование», 8-2-11. – Текст приводится частью в косвенном изложении).

С прямым и откровенным пояснением сути дела и с признанием Христом, что даже его, мессию, как и всех, должна касаться только что утверждённая им истина, в этой притче выпадают из логики лишь заключающие слова. Будет ли грешить женщина в дальнейшем? Возможно, нет. А, возможно, и будет. Тогда, если признавать, что буквально каждый из живущих – не без греха, – претензий к ней опять никто предъявить не вправе и не сможет.

В результате и прелюбодеяние, как некое привычное зло, должно остаться неискоренимым.

Тут уместно ещё раз обратиться к образу Екатерины Масловой. Толстой был, пожалуй, первым из литераторов, подметившим и просто, без обиняков сообщившим о насущной потребности иметь полового партнёра для женщины – том наиважнейшем обстоятельстве, которым подталкивалось её вхождение в роль проститутки.

Хотя писатель, рассуждая о проблеме, использует термин «прелюбодеяние», но это лишь гневливое восприятие противонравственного, как считается, поведения в обществе. Природа женщины, как и мужчины, не может быть отрешена от интима в самых разных его ипостасях. Прежде всего в такой, где любовное увлечение не удерживается на одном и единственном партнёре, а периодически или даже постоянно

«перескакивает», устремляясь – к иным. И запретить такую заданность физиологии невозможно.

В ней, в этой заданности, люди, между прочим, вынуждались разбираться уже в незапамятные времена, когда по велениям жрецов практиковалась проституция, называвшаяся священной.

Её отличие от проституции в нынешнем виде состояло в том, что из-за долговременной, после войн и губительных эпидемий нехватки мужчин возникала ситуация с огромным численным перевесом свободных, не обременённых общественными устоями женщин. В результате под угрозой оказывалось восполнение потомства. А следом и существование самой родовой общности как таковой.

Чтобы до этого не доходило, свободным женщинам с целью зачатия вменялось в обязанность отдаваться мужчинам первыми, иногда вовсе незнакомым или даже первым встречным, как это случалось в портовых поселениях с прибытием туда корабельных команд или при маршевом прохождении по жилым секторам армейских подразделений, неважно – чужих или своих.

Также в порядке вещей было находить себе мужчину из числа пленников, рабов и проч.

Отголоски такого обычая заметны в забавном рассказе из Торы, когда жена важного египетского сановника, у которого в рабстве находился еврей Иосиф, воспылав страстью к

этому подневольному красавцу, на все лады понуждала его, чтобы он лёг с нею и спал с нею, а, не добившись желаемого, оговорила его перед своим мужем – как якобы домогавшегося её.

(«Тора», «Бытие», 39-7-18. – Изложение косвенное).

Традицией были открыты пути и к благодарениям тех мужчин, кого соблазняли, и это были не только слова искусительниц, но и преподносимые с их стороны партнёрам вещественные блага, нередко внушительной ценности, – нынешняя проституция как бы наоборот.

Хотя всё это давно изменилось, явление проституции по-прежнему сводится к неотъемлемой особенности физиологии тех, кто предлагает интимные услуги.

Торжествует их выбор, исключаяющий остановку сексуального «внимания» только на одном половом партнёре и интимную связь обязательно долговременную. Во всяком случае, рамки явления, как бы предназначенного к осуждению и неприятию, не сужаются, на что указывает практика официального действия борделей в ряде стран уже и в условиях нынешней, современной цивилизации.

Устремляясь к полной и бескрайней свободе в этой «отрасли», принявшие указанную модель, вопреки всему, что должно быть дорого человечеству, показывают лишь собственные бравурные амбиции на исключение перед собой хоть каких-то ограничений, другими словами, увязают в том

же «освобождении» «до конца», когда можно прийти только к абсурду.

В условиях ещё не изученных и даже пока не выясняемых негативных особенностей общей демократии от такого решения вопроса если где-то стыдливо и отворачиваются, то во многом из соображений чисто политических или сугубо ментальных, когда ошибочно уповают на некий особый путь исторического существования и развития своих стран, особость моральных и нравственных ценностей у их народов и проч.

То, что бордельный бизнес на официальной основе приветствуется не всюду, возмещается его нелегальным распространением, и в таком виде он, конечно, не блещет умеренным размахом, а, наоборот, что называется, выходит из берегов.

Тому яркое подтверждение – далеко не единичные факты раскрытия масштабных сутенёрских сообществ и образований. Процветает бизнес не только на организационных, системных началах, но и краткосрочный – на чью-то разовую или непродолжительную потребность.

Именно такое развитие событий диктуется продолжающимся раскрепощением в половой сфере. Цепляясь за свои права на исключительную свободу человеческой личности, люди в самое новейшее время уже, возможно, перешли всякие грани в приобретении опыта в таких чёрных извращениях как обмен супругами для освежения эротических воспри-

ятий; демонстративное публичное представление натурального секса на театральных подмостках, в съёмочных сюжетах и в простой обыденности; употребление крепчайших возбудительных средств. Становится привычным и неосуждаемым наглядный уличный петтинг и даже совокупления молодых влюбляющихся, в том числе – в возрасте, когда они только приобщаются к поре отрочества.

Остановиться в этом стремительном и нарастающем «процессе» пока не дано, поскольку он постоянно провоцируется со стороны правительств, изо всех сил демонстрирующих свою приверженность тем самым принципам «освобождения» «до конца».

Вполне закономерно, что в платных или условно бесплатных сексуальных услугах погрязает несчётное число участников разгульных корпоративных «мероприятий», увеселений, устраиваемых в отелях, загородных коттеджах, на дачах, в частных банях, на специально сдаваемых городских и сельских квартирах.

Теневая выручка при этом учитываться не может, но настоящая её мера сопоставима, пожалуй, с бюджетами едва ли не на самые крупные государственные преобразовательные проекты.

Если говорить о России, то теперешний нелегальный секс-бизнес есть в ней лишь показатель запутанности её ханжеско-«рыночной» юриспруденции в части интима: переняв многочисленные нелепые традиции уклада своего бывше-

го, царского, времени и отринув многие опять же нелепые традиции советизма, она, сбитая с толку неудачными перестройками, предпочла оставить себе традицию нелегального секс-бизнеса по-советски.

В точности по той злополучной схеме, согласно которой неофиты укоряли приверженцев коммунистического режима, будто бы те считали, что в Советском Союзе секса нет!

На отсутствие иного положения вещей в начале XX века указывал известный российский писатель Шмелёв. Рассказ официанта Скороходова, героя его дореволюционной повести, можно рассматривать как прямую инструкцию по ведению нелегального предпринимательства на почве «не того» интима»:

...закусили хорошо, но им это пустяк, потому что могут три раза обедать. И как пришли в хорошее состояние духа, сейчас и меня:

– А как бы нам, Аксен Симоныч, зефиров... французской марки!..

...доверенный-то, знаток, прямо приказал:

– Позови метрдотеля, у него справку возьмём!

И это он верно, потому что у Игната Елисеича нашего даже запись телефонов есть, и вообще как справочная контора. Барышни сами просят, и даже он от них пользуется в разных отношениях. Но ведь и ресторану не в убыток.

...

...смеялась девочка-то, портнишечка-то, смеялась... как коньяком её повеселили... И потом, потом туда... У нас таковой проход есть... плюшем закрытый... Чистый, ковровый и неслышный...

В номера проход этот ведёт, в особые секретные номера с разрешения начальства. И само начальство ходит этим проходом. Тысячи ходят... образованные и старцы с сединами и портфелями, и разных водят и с того, и с этого хода. На свиданья... ..что за этими проходами творится! Жёны из благородных семейств являются под секретом для подработки средств и свои карточки фотографические под высокую цену в альбом отдают. И альбомы эти с большим секретом в руки даются только людям особенным и капитальным. ... И уж с другого конца выходят гости с портфелями, и лица сурьёзные, как по делам... А девицы и дамы через другие проходы. И все это знают и притворяются, чтобы было честно и благородно!

...

... Антрекот? – пожалуйста. В проходы? – пожалуйста, по лесенке вниз, направо. В нулик-с вам? Налево, за уголок-с.

...уж как пущено теперь у нас! Заново всё и под мрамор с золотом. И обращено внимание на музыку. ... И кабины заново, очень роскошно. Ковры освежили и портьеры. Освещение по салонам в тон для разных вкусов. И проходы тоже...

Увеличивается склонность к этому занятию.

(И в а н Ш м е л ё в. «Человек из ресторана», V, XI, XXII. – Фрагменты текста приводятся с сокращениями).

Поскольку на каждом шагу человек не отделяет необходимое от своей свободы и своего права на неё, то, как единица в социуме, он не волен резко отличаться от других. В том числе в праве на интим, праве естественном, приобретаемом от рождения и навсегда. В любовных отношениях и в их раскрепощении он – равен всем. Отсюда и то самое право «греха»; кажется, именно его называют «первородным»...

14. «НОВАЯ» ЭТИКА

Вникая в пояснения, касавшиеся роли и значимости этического, какие излагались в предыдущих разделах настоящих записок, активные читатели не могли, наверное, не обратить внимания на те очевидные «слабые места» или – «несглаженные углы», которые были оставлены не вполне освещёнными и опрозраченными автором при его работе над этой непростой темой.

Да, действительно, такую работу приходилось откладывать «на потом», пока речь шла об этике в её общих «параметрах» – как системе естественного всечеловеческого права, – какой она складывалась и сложилась в ходе исторического процесса.

О воздействиях на неё, часто совершенно неуместных,

когда она использовалась силами отдельных, иных компетенций, кроме компетенции всечеловеческой, мы говорили только в тех случаях, где было необходимо основательнее разобраться в «ценностях» и амбициях неписаного корпоративного естественного права, а также – права государственного, публичного – при его затруднениях с установлением норм и формулировок, специфичных исключительно для него.

Теперь нам предстоит вернуться к оставленному ранее, имея в виду, что проблемы взаимодействий с этическим для настоящего момента «освобождения» вовсе не являются одноразовыми или несущественными, как может кому-то казаться.

Они, эти проблемы, успели приобрести уже поистине пронзительную долговременную актуальность и выражаются отношением к этическому вовсе не вынужденным, а часто прямо-таки бесцеремонным или даже оголтелым.

В целом этот грустный процесс укладывается в понятие так называемой «новой» этики.

Её вовсе не отвлечённая востребованность, или, если точнее: необходимость заменить ею часть, а то и всю необъятную глыбу этических представлений, умщённых в неписаном общечеловеческом естественном праве, давала о себе знать и вызревала, как мы уже имели возможность об этом узнать, издревле – в связи с пожеланиями отдельных или многих людей подправить укреплённые в их сознании и в

подсознании идеалы, тем самым приспособив их к задачам текущего, реального бытия.

К настоящему времени нет числа любителям постучать себя в грудь, как якобы имеющим свой, индивидуальный или коллективистский набор представлений о новом этическом, будто бы пригодных для усовершенствования окружающей нас общественной жизни или государственного правления.

«Концепции» и «рычаги» «новой» этики легко налагаются такими энтузиастами на что угодно – на культуру, экономику, политику, разделы наук, на личность и разные формы деятельности объединений. Жаль, не хватает к этому лишь примеров, когда бы свежее можно было ощутить наяву, а, удостоверившись в нём, одобрить и принять его в пользование.

Рьяными проводниками и апологетами столь ходового духовно-идеологического материала являются и представители властных структур, и им оппозирующие, и воинственные защитники традиционной либеральной демократии, в лоне которой стало привычным не замечать присутствия абсурдного – в виде, скажем, фашизма, старого или нового.

Конечно, ни о каком улучшении идеалов при этом речи заводить нельзя. Мы о такой нулевой эффективности благих «поисков» на данном направлении уже рассказывали; здесь же просто повторим, что идеалы, созданные в людской среде, хотя и могут умыкаться и быть извращёнными, как то случилось с идеалом чести, но выбросить их из употребления,

всеобщего употребления, никому не дано. Какие бы тут претензии и кем бы ни выдвигались.

Объяснение этого кроется в самой природе этического, как сфере однородного чувственного – личного или массового. Будучи замкнуто в себе, оно таким остаётся в сознании и в подсознании и требует лишь ориентации мыслей на свою значимость, не раскрываясь и не разделяясь на фрагментарные доли – то есть постоянно пребывая в своей цельности. Таким оно воспринимается всеми от начала человеческой истории до наших дней.

Это означает, что ни у кого из идеологических экстремистов или прочих иных радикалов, претендующих быть главными в этическом, в какую бы степень ни возводили они их личную или корпоративную спесь, надменность или презрение к «остальным», кроме себя, эти потуги дать ничего не могут. Поскольку этическое – неделимо. Ни по расовым примеркам, ни по национальным, ни по каким-то ещё.

Провозглашаемое где-то нравственное или моральное верховенство над кем-то, а также – отличие может быть только временной плоской затеей.

Натяжка здесь очевидна в том смысле, что отбросить отвергаемые «бунтарями идеалы и принципы этического они не в силах и вынуждены пользоваться ими наравне со всеми, а новые поколения, приходя им на смену, уже, как правило, в состоянии обходиться без причуд, разыгрываемых их взбалмошными предками.

Даже при изрядной изношенности этического, его потускнении, что является бесспорным фактом, кажется, уже для всех, его цельность неколебима. Здесь тот порог его восприятия и познания, переступить который было заветным желанием многих исследователей, ставивших целью изобрести некие рекомендации или приёмы, с помощью которых этическое можно было бы «приручить», управлять им. Нет. Можно сколько угодно изучать этот необычный предмет самой передовой наукой и, вплоть до его умыкания или замещения им чего-то, манипулировать им, – он останется недостижимым для управления.

Как раз этого обстоятельства не хотят брать в толк и «в рассуждение» когорты приверженцев «новой» этики.

Уповая на безграничную свободу своих действий и намерений, они упорно, каждый в своей ступе, толкут устоявшиеся и не зависящие ни от кого конкретно общечеловеческие ценности. Кругозор, освоенный ими в использовании иллюзорной свободы слова, не позволяет им ни осознать свою беспомощность и свои ошибки, ни прекратить сомнительные манипуляции.

Это не могло не привести к ситуации, когда этическим, вовсе не новым, а исключительно традиционным, словно приправую при изготовлении пищевых блюд, уснащается едва ли не каждое проявление амбиций на пространствах управления и делового оборота.

Стоит вспомнить хотя бы советское время, его «перелом-

ный» этап, от которого начинали отсчитывать срок подхода страны Советов к очередной и самой желанной для её элиты общественной формации – к коммунизму. В ответ на этот «яркий» «исторический вызов» был сочинён и предложен людям, населению агитационный документ – «Моральный кодекс строителя коммунизма».

СМИ, которые в СССР были сплошь государственными, исходили тухлым бесовским умилением, рассказывая о великой значимости его текста.

Документ был, конечно, неоригинален в том отношении, что советские идеологи, можно сказать, до краёв наполнили его обозначениями и формулировками, взятыми из арсеналов общечеловеческой этики. Изложенные письменно, они были явно не к месту, ввиду чего положения кодекса сразу приобретали абстрактный, невыполнимый характер. Это стало очевидным едва ли не с самого начала тогдашней спецпропагандистской кампании.

Кодекс ушёл в историю вместе с пустыми расчётами правительства на светлое будущее страны.

Другой пример столь же ретивого и неуместного заимствования этических общечеловеческих ценностей дают «Десять заповедей для российского предпринимателя», сочинённые в одной из религиозных конфессий в конце XX века. Претензия на создание некоего отдельного свода моральных норм и в этот раз осталась без движения, никому не принесла пользы.

В «миру» об указанном документе сейчас, возможно, кто-нибудь пока и наслышан, «примерять» же его заповеди на себя, об этом никто из среды российских предпринимателей да и людей иной занятости не проронил ни единого слова.

Собственно, такова настоящая цена заимствованиям этического, действиям на восполнение за счёт него тех ниш или проблем, какие могут возникать и возникают постоянно перед разработчиками законодательных или иных специальных или сопряжённых с их содержанием текстов. Бывают ли при этом усвоенными уроки от неудач и «промашек»? Отнюдь!

Один из образцов, показывающих прямо-таки необоримое вождение властных структур в отношении этического, – «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих».

Он, сказано в его п.2,

...является основой для разработки соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления кодексов этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.

Поражают воображение уже сами масштабы такой работы, задаваемые в документе. Сколько в России государствен-

ных и муниципальных органов? И сколько в этих органах трудится служащих? Это же вся официальная управленческая орава огромной страны, которую в населении именуют не иначе как чиновничьей и не так уж редко – с издёвкой! Многие миллионы людей!

«Во славу» их и должны сочиняться соответствующие рангам органов и их подотчётным территориям и жителям кодексы – этики и служебного поведения.

Думаете, это явление лишь российское или оно связано исключительно с государственным и муниципальным управлением?

Уже в п.1 указанного типового кодекса даны ссылки на те источники, положения которых в нём использованы. Это – не только Российская конституция и некоторые внутригосударственные наши законы и другие нормативные правовые акты, но и – зарубежные. Среди них, в частности: «Международный кодекс поведения государственных должностных лиц», «Модельный кодекс поведения для государственных служащих», «Модельный закон «Об основах муниципальной службы».

Каждый из них разрабатывался и утверждался международными организациями достаточно высоких или даже высших статусов.

«Провисать» над миром как «самим по себе», никем не востребованными им не приходится. На их положениях во многих, если не во всех государствах современного мира со-

зданы целые кодексообразные системы, где в избытке применено не записанное ни на каких скрижалях этическое естественное.

В том же п.1 типового документа раскрывается особенность ряда перечисленных отечественных источников – как содержащих «ограничения, запреты и обязанности» для государственных и муниципальных служащих. Сухие служебные истины российской действительности – их-то и постарались умягчить и облагородить этической «закваской».

Размах пояснений, содержащихся в объёмистом начальном пункте документа, обязывает нас упомянуть и о заключающих его строчках. Там утверждается, что типовой кодекс «основан на *общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства* (? – курсив мой. – **А. И.**) ». Правда, о чём речь по существу, в тексте не сообщается.

Это, – не в осуждение кого-либо, – отличный ход, поскольку этическому свойственно раскрываться не обязательно всегда и не раскрываться практически никогда: оно не так уж редко бывает осознаваемо и всеми, буквально всеми, понимается – «по умолчанию».

Есть резон остановиться на отдельных положениях этого мудрёного писания, взятого нами для рассмотрения, имея его в виду в целом.

Это вполне приличный и приемлемый инструктаж для служащих – едва ли не на каждое их действие в процессе ис-

полнения ими их служебных обязанностей.

Картина тускнеет только от присутствия в нём элементов «закваски». Таких, например, когда государственным и муниципальным служащим вменяется исполнять должностные обязанности «добросовестно» (п.11, а), «соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения» (п.11, и), «быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами» (п.27) и т. д.

Являясь выражением общечеловеческого естественного права и как не подлежащее записи, этическое восстаёт здесь против своего употребления в той сфере, где власть и компетенция его несменяемого учредителя – населения всей земли – сводится буквально к нулю.

Надо ли говорить, что именно такое насильственное обращение с этическим сказывается не лучшим образом на его качестве. Уберегаясь от ненужных воздействий, оно скукоживается, размывается, теряет свои краски, тускнеет.

В таком виде, как это нетрудно постичь, оно не может работать в полную свою силу, приобретает черты непоправимой изношенности, становится «лишним». Гораздые манипулировать им опошляют его и отнимают у его носителей, то есть – у всех нас.

Как раз отсюда вырастают основания для неудовлетворённости им. Которую многие готовы пестовать и обострять. Зреют и вынашиваются намерения освежить его, поэкспери-

ментировать с ним дальше – с целью «получения», а то уж и утверждения «новой» этики.

Представленный нами типовой документ любопытен не только ввиду того, что он напрямую указывает на насилие над этическим в его, так сказать, самом широком употреблении или использовании. Есть ещё и другие нюансы его несовершенной проработки. Вот два схожие по их ущерблённости пункта из разных его разделов:

5. Каждый государственный (муниципальный) служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Типового кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от государственного (муниципального) служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Типового кодекса.

29. Нарушение государственным (муниципальным) служащим положений Типового кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.

Здесь суть нашего скепсиса в том, что каждый служащий руководствуется этическим кодексом, разработанным и утверждённым только для того органа или муниципалитета,

где он, служащий, замещает ту или иную штатную должность и исполняет некие существенные обязанности. С ним, с этим конкретным текстом, он знакомится под личную свою роспись.

Что за странный интерес у него должен быть к кодексу типовому? Из каких соображений ему следует принимать «все необходимые меры» для соблюдения истин этого документа и нести ответственность за несоблюдение «общих» его положений?

Вопросы – на засыпку к тем, кто был занят сочинением типового проекта и кто утверждал его. Разве столь ничтожно значение кодексов этики и служебного поведения, составляемых в отдельных организациях или в муниципалитетах, что на их служащих понадобилось «навешивать» ещё и бумагу типовой значимости?

Считаем, что подобную канцелярскую ухватку, желание повластвовать (в данном случае над чиновничеством) нельзя оставить в виде простого упоминания.

Это – показатель того сумрачного невежества, при котором нормативное этическое, как достояние общечеловеческое, не различается и игнорируется инстанцией, восседающей над подчинённой людскою массой или средой. Над тою массой или средой, мощное недоверие к которой она, эта инстанция, прикрывает, обильно разукрашивая инструкцию блёстками изобретённой ею служебной морали и нравственности, то есть не иначе как той самой «новой» этики, – сразу

её и опустошая...

Касательно же каждого гражданина РФ, его права на «именное» благородное ожидание и т. д. (опять см.: п.5), то как он, гражданин, вообще может расценивать отношение служащих к себе по типовому кодексу, о котором он, скорее всего, попросту ничего не знает? Как ничего не знает и даже, как представляется, не обязан знать о кодексе этики и служебного поведения какого-то одного государственного органа или муниципалитета или более того: о многочисленных подобных документах, пылящихся на ответственных полках в разных городах и поселениях определённо не только в своей, но и в других странах.

Как тут ни ставить вопросы и как ни варьировать соответствующие им интонации, ни к каким вразумительным оправданиям допускаемой бюрократической казуистики они вести не в состоянии.

Наше её понимание обречено словно в песке увязать из-за тех несообразностей, какие возникают в условиях пренебрежительных и по сути безграмотных отношений неких ответственных людей к этике, как предмету всеобщей, подчеркнём это, а – не чьей-то частной принадлежности, к её незыблемому содержанию и значимости.

Её берут и используют как обычный текстовый или словарный ресурс – в этом-то и беда!

При таком обороте рассмотренный нами «Типовой кодекс этики и служебного поведения» обрекается на опрощение и

не может быть достаточно полезным. Неплохие, можно сказать, наставления, содержащиеся в нём, без какой-либо отчётливой надобности размещены в лучах естественно-правовой сферы и перенасыщаются ими, приобретая вид ценности, постоянно ускользающей из общественного сознания.

Следовать ей похвально лишь в том смысле, что похвально бывает следовать и идеалу, когда за этим старанием идеал не достаётся кому-то конкретно и не берётся в чьи-то частные руки, а остаётся лишь ориентиром движения к нему – ориентиром для всех. Он, идеал, всегда неосязаем.

То же обнаруживается в любой этической норме.

Прямую опорой в чём-то она ни для кого быть не может. Она лишь ориентирует, растворяя себя в обобщении. В этом и её великая реальность и великое таинство.

Примеры безграмотных манипуляций с этическим, к большому сожалению, обнаруживаются повсюду и на каждом шагу. Как, скажем, его понимают в самых простых значениях? Да кому как по душе. Даже дотошные учёные, впадая в вольность, могут без смущения говорить о нём как о «морально-этических ценностях», «морально-нравственных основах» и проч., совершенно легко уместая в одном ряду обозначения с разной смысловой нагрузкой.

Над разработками разного рода кодексов морали, этики и поведения, а по сути – над элементарными инструкциями, призванными распределить обязанности рабочих людей на их рабочих местах, постоянно склоняют головы управлен-

цы и администраторы на предприятиях промышленности, в сельском хозяйстве, в академиях, высших и средних учебных заведениях, в конфессиональных учреждениях, в общественных и партийных организациях, на морских тепло- и атомоходах, даже в небольших передвижных экспедициях, изыскивающих сырьевые залежи...

Налицо неосознанное свободное развёртывание понятий, претензии на то, чтобы свести особенность их содержания к неким практическим индивидуальным или коллективным интересам или занятиям, забывая или вовсе не зная, что имеют дело с «величиною», выпестованной в самой широкой степени абстрагирования.

На все лады изощряются в его уточнениях и прилаживании к обыденностям высшие государственные чиновники, специалисты и политологи, воспитатели и наставники, радеющие о чистоте наших с вами помыслов и поступков. Безусловно, их усилия тратятся зря.

Зато в достатке результатов со знаком «минус», когда насилие над этическим, каким оно устоялось «от природы», есть его разрушение.

Путаные, суррогатные представления о нём ошибочно используются будто бы в благопристойных и приемлемых целях; ими часто вымеряются общественные и надобщественные явления и процессы, управляемые силами далеко не уравновешенными, радикальными, экстремистскими и даже – сатанинскими.

Нормы этики легко выбрасываются ими из привычного для всех употребления и так же легко замещаются иными, надуманными и небесспорными, вслед за чем диктуется уже иной подход к ценностям мировой и национальных культур, к настоящему и будущему народов и государств, в целом к теперешней человеческой цивилизации на земле.

До лояльного обсуждения проблем с этическим, настоящим и поддельным, дело при этом не доходит. В стороне остаются печатные средства массовой информации, радиостанции, телепрограммы, сети интернета, исследовательские центры, издательства. Причина та, что всё ещё нет тех представителей точных знаний, чьи суждения можно было бы считать вразумительными или верными – в отношении как традиционной, так и «новой» этики.

Трудно, пожалуй, даже представить, что в частности в России или в США кто-то «из независимых» вдруг предметно заговорил бы непосредственно о кодексах этики и поведения для служащих неких государственных или муниципальных органов, о том, насколько такие документы становятся выхолощенными при изобилии в них терминов, обозначающих этическое.

Целое море подобных текстов пребывает не удостоенными ничьего внимания, не говоря уж – об их углублённом комментировании. Столь же печальна участь оповещений, касающихся решения проблем с этическим. А ведь речь тут должна бы заходить и о «новой» этике!

Оповещения перед вами вываливают, нисколько не заботясь о дальнейшем.

Вот образец такой, будем говорить, игры. Преподаватель всемирной истории из Еврейского университета в Иерусалиме Харари пишет:

Если человечество не сможет сформулировать и принять единые для всего мира этические нормы, наступит эра доктора Франкенштейна.

(Ю в а л ь Н о й Х а р а р и, «21 урок для XXI века». «Синдбад», Москва, 2021 г.; стр. 158. – Перевод с англ. Ю. Гольдберга).

Надо полагать, не вполне достоверны сведения у автора книги по части этики, действующей в человеческой среде от начала времён, когда она зародилась, и не переставшей проявляться как неразрывное целое до настоящего момента.

Ведь именно она отрицается подвижником от всеобщей истории, и в виду такого удручающего обстоятельства им названы (только названы, но – не раскрыты хотя бы в малости) некие весьма нужные и единые для всего мира новые этические нормы – из опасений, что в противном случае землянам уготовано стать жертвами жутких проделок монстра, создание которого связано с именем одного из главных героев романа Мэри Шелли (Англия) – доктора Виктора Франкенштейна.

Руку на отсечение, Харари знать не знает, о каких единых для всего мира будущих этических нормах он говорит. Это штамп, который просился в строку как выражающий хилую концептуальность его творческих принципов, позаимствованных при усвоении нелепой «конструкции» свободы слова и «лучшей» демократии. Пытаясь объяснить в этом вопросе и, очевидно, желая быть во всём правым, он утверждает:

По зрелом размышлении я отказался от самоцензуры в пользу свободного самовыражения.

...

Если вы согласитесь, что это нужная книга, значит, вы цените свободу мысли и свободу слова.

(Т а м ж е, стр. 16).

Всерьёз воспринимать перспективу с формулированием и принятием новых и единых для всех землян этических норм, будто бы ввиду отсутствия или – полностью неработающих нынешних, конечно, невозможно в принципе.

Даже тот, кто полагает, будто он живёт в условиях какой-то своей, «новой» этики, вынужден постоянно пользоваться старой или традиционной, такой, как она сложилась у человечества. Всё остальное – от лукавого.

Тем, кто вслед за Харари взялся бы действовать в обозна-

ченном им направлении, следовало бы не сбрасывать со счетов неизбежного рокового исхода эксперимента. А именно – создания непременно и другой людской (точнее: квазилюдской) общности, для которой могли бы годиться те самые новые нормы этики и поведения, возможно, – бесовские или драконовские. Говоря иначе, возникла бы ситуация, равная той, которую Харари соизволил пугать ныне живущих.

Человечество в его качестве и составе ни при каких условиях не согласится быть замещённым кем-то неизвестным или на себя совершенно не похожим. Соответственно ему нет никакого резона расставаться с действовавшей всегда и действующей сегодня в нём этикой, взращённой и укреплённой им для себя на основаниях его собственного исторического опыта. Этикой, напомним, – как законом! Да и кому, собственно, было б по силам отменить естественное? С ним возможны манипуляции подмены, о чём мы достаточно поговорили, только – где и когда они были удачными?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О свободе, существо которой занимало нас во всех разделах данного нашего независимого исследования, мнений сейчас так много, что было бы невозможным их перечислить или расставить в определённый ряд. Они характерны тем, что трактуют указанный основополагающий термин как ценность исключительно социальную, предназначенную к

«установлению» и «применению» в условиях общественной жизни на принципах «лучшей», либеральной демократии.

Такое обоснование становится настолько привычным, что термин *свобода* с лёгкостью употребляют уже как вообще ни с чем не связанный и не соотносимый. Просто имеют в виду хорошее для зрения и слуха и очень ходовое слово, в котором не принято замечать хотя бы какого недостатка, а тем более – лжи.

Позволяют себе держаться в такой «манере» даже в «верхах» истеблишмента. Вот пример: Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в интервью австрийской газете *Kronen Zeitung*, говоря о сложной поре для ЕС в связи с наложением санкций на Россию, утверждал:

...мы находимся перед большими вызовами... Но мы должны быть готовы *заплатить цену за свободу* (курсив мой. – **А. И.**)

(Из сообщения ТАСС от 28.08.2022 г. – Цитируется с сокращениями).

Поскольку же возможно каждому варьировать содержание термина на свой лад, то не исключается коверкание через него и смысла иных ценностей, как считается, не менее важных.

По этой «колее» прошла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пояснившая на регулярном брифинге цель

помощи США вооружениями Киевскому режиму. Имея в виду украинцев, она заявила:

...они борются за свою демократию (курсив мой. – А. И.) И мы намерены делать всё возможное, чтобы они были в сильном положении... чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы.

(Из сообщения ТАСС от 06.06.2022 г. – Цитируется с сокращениями).

Подобное, как мы уже знаем, происходит из-за отсутствия дефиниции. Лишённая её, – пояснения в правовых документах – что она такое, – свобода перестаёт быть регулирующим инструментом в том человеческом житье-бытье, где праву отводится первостепенная или главенствующая роль.

Дефиниция (по отношению к *свободе*) нужна как воздух или вода для живущих. Не дожидаясь, когда её изобретут в законодательном органе какой-либо страны или в дискуссиях общего порядка, мы решаемся представить для ознакомления читателям свой вариант. Он касается свободы *в её состоянии*, на что мы уже обращали внимание выше, и не только той, с которой вольно обращаются в социумах, а – повсюду в этом бескрайнем и сложном мире.

Вот его содержание:

Свобода есть одно из таких обязательных состояний, ко-

торами обусловлены формы всего, что может возникать из наших представлений и закрепляться в нашем сознании или в подсознании, – материального, духовного или чувственно-го. А также – быть в наличии вне нашего сознания или подсознания.

Ни один предмет, явление, аффект и проч. не может иметь какой-либо действительности или определённости вне состояний свободы; в каждом конкретном случае в них дают себя знать проявления индивидуализации (меры или степени свободы); и только через такие проявления возможно «открытие» для нас представляемого на формальной, а не отвлечённой основе.

Тут, стало быть, коренится и глубинное выражение реального, – той фактической реальности, которая имеет возможность быть и находиться в бесконечном ряде «выделившихся», конкретных, индивидуальных форм или их сочетаний. Что, в свою очередь, требует не упускать из виду, кроме состояний свободы, и ограничений для них, – своего рода ту «среду», в соотношении с которой только и должны возникать такие обязательные состояния.

Сможет ли эта формула быть полезной кому-либо?

В качестве хотя бы второстепенного пособия её, наверное, могли бы использовать в первую очередь правотворцы – при сочинении ими новых законов и нормативных правовых актов. А зависеть это будет, как можно предполагать, от

их неудовлетворённости тем, что дефинициями не снабжены ведь пока и другие наиважнейшие нормы в существующем публичном праве. Без них, как и свобода в целом, остаются свобода слова, свобода мысли, свобода совести...

Этот, будем говорить, завал ещё только в ожидании желающих и способных разгрести его. Мы видели, как много есть причин, препятствующих проведению нужной и очень большой работы. Сдвинется ли с места устоявшаяся пагубная бездеятельность тех, кто старается всяческими способами показать своё хилое понимание свобод и в соответствии с этим лелеет в себе призрачные надежды и намерения, не говоря уж о совершаемых поступках, очень часто не выверенных и неосмотрительных?

Как раз при таком бездействии целыми потоками идут рассуждения о несовершенстве и даже гибели нашей теперешней цивилизации. Предостережения вполне резонные. Почва уже утоптанная, твёрдая. На ней многое размещено из надуманного и даже очень опасного, то есть – видны далеко не блестящие результаты.

С другой стороны, какие бы здесь усилия и кем бы ни предпринимались, плоды их не могут восполнить недостающего. Публичные, государственные нормы о свободах, сотворённые из умыкаемых общих для человеческого сообщества естественноправовых положений, могут получаться только недозрелыми, размытыми и дезинформирующими, какие они и есть сегодня.

Так прочно сработаны эти положения в их неизменной в тысячелетиях функциональности, что, даже будучи незаписанными, они сохраняют значимость и неиссякаемую энергию сами по себе; всяческие попытки приспособить их к государственному праву путём их записи и шумного режимного (корпоративного), а также межгосударственного декларирования обречены, о чём приходится распространяться не без глубочайшего сожаления, убеждаясь, насколько пустой оказывается эта работа.

Особенность нынешнего «освоения» свобод народами и государствами в том, что они, народы и государства, все, скопом погрязли в приобретении негативного опыта пусть и неумышленных умыканий и несут за это ответственность. Нет принципиального различия в достижениях по части «освобождения» на столь неустойчивом фундаменте – прошлого, текущего или предстоящего или – где бы то ни было.

Свободы приняты к использованию не по знанию о них, а по наитию, через уверование, когда каждая из них, будучи глухой, но как будто неоспоримой догмой, такую всё ещё не воспринимается никем из сторон, участвующих в современных грозных противоречиях и противостояниях, – чреватых непредсказуемыми последствиями.

И всё это из-за отсутствия уже не однажды названных нами дефиниций.

Обходясь без них, человечество по сути привыкает жить по фальшивым ориентирам и быстрыми неровными шагами

продвигается к своему неясному будущему, скорее всего, – к фатальному.

Эти ориентиры кроются при постоянном и, как правило, необдуманном, вольном и безграмотном законотворчестве. Ни до какой выверки с реалиями общественного духовного развития здесь не доходят.

О том же, что служит причиной заблуждений, никто, даже те, кто заняты сотворением законов, до настоящей поры, кажется, не соизволят взять в толк. Это становится возможным при укрепившемся в веках отношении к естественному праву как вещи, в глазах официальной юриспруденции то ли несерьёзной, то ли вообще ненужной, – удостоенной лишь ханжеского пренебрежения.

Размывание смысла свобод, а значит одновременно и прав, как публичных, так и естественных, сопровождается небывалым в истории всплеском политического словоблудия и вранья, практикуемых целыми союзами государств, имеющими претензии быть главными защитниками обеспредмеченных свобод и выпячивающих свои особые роли в управлении народами и ресурсами на земле.

К яростной демонстрации таких вызывающих претензий сегодня прилагают невероятные усилия США и их многочисленные союзники в западной Европе и на других континентах.

Используя дутые формулы свободы слова и других разрекламированных пустых свобод, любой мало-мальски ответ-

ственный чиновник из фаланги прозападных межгосударственных образований мнит себя вправе выражать собственные суждения о чём угодно вслух и открыто без каких-либо сдерживателей, тем опрокидывая не только нормы естественной цензуры с её непреложными, обязательными умолчаниями, но и суть уставной деятельности организаций, которые он представляет, часто уже и саму логику.

Именно в такую плоскость постоянно переводят вопросы суверенности государственных интересов, разрешения межгосударственных конфликтов, право народов на самоопределение, на защиту перед чужой воинственностью и агрессией. В результате исковерканы принципиальные положения по урегулированию дел в этих и других сферах, закреплённые в действующих внутренних и международных правовых актах.

У сторонников «лучшей» демократии, «настоенной» с использованием «не той» «закваски», не убывает потребности иметь врагов – с лишением их самостоятельности и своей культуры, места и роли в истории. Тут нет остановки даже перед такими вопиющими фактами как признание демократической ценностью и защита неонацизма на Украине, шумовое враждебное улюлюканье в адрес России, взявшейся выбить зубы этому дьявольскому режиму.

Вот в какую сторону суждено устремляться свободам, если пользоваться ими по неким вольным прихотям!

Нельзя исключать перспективы, когда прецедент с фаши-

защитой жизнеустройства на Украине получит развитие и в его омуты будут опрокинуты другие страны прозападной или иной «демократии», такие, например, как Польша, Англия, Финляндия, те же США. Собственно, этот процесс уже продолжительное время наблюдается – в Латвии, Литве, Эстонии.

Если опять вернуться к дефинициям, то их неналичие больно ударило и по сторонникам иного позиционирования, – противостоящим силам смуты и тьмы. Ведь свободы, не будучи осознаваемы в своих природных значениях и как не укрощенные правом, оказывают одинаковое пагубное воздействие всюду, где они бывают провозглашены и приняты.

В частности в России, при её ориентировании не иначе как на «общепризнанные» ложные свободы и, стало быть, также на системное неумышленное умыкание действительных этических ценностей в пользу государства, это воздействие ярко выражено в её желании не замечать извращённого понимания свобод и прав теми, от кого она не так уж давно переняла и в значительной мере успела усвоить принципы прозападной демократии.

Как сверхдержаву, долго уступавшую в экономическом развитии странам «свободного» мира, её и немалую часть её населения этот другой мир увлёл смутными прогнозами и обещаниями, построенными на сверхсвободе, проще говоря, – на песке.

Подлаживаясь под липовые образцы, страна понесла существенные потери в развитии передовых технологий, в организации просвещения и народного образования, из-за убыли научных кадров; осязаемое негативное воздействие государство и общество испытали в связи с долларовой экспансией, когда теряющей цену американской валюте отдавалось предпочтение в финансовых расчётах.

Понадобились радикальные меры по переводу деловой и общественной жизни на другие рельсы и направления, более учитывающие внутренние запросы и потребности, но и сегодня в огромной стране ещё видны следы былого её уложения под западные корявые стандарты. По известным причинам нет и принципиального отторжения и компетентного осуждения базовых принципов и ценностей, насажденных на прагматических прозападных традициях.

Разве ни о чём не говорят хотя бы названия здешних учреждений, выставленные повсюду в афишах над порогами офисов? Многие из них в большинстве остаются в неизменном виде после ухода из России брендов по санкционным соображениям. То есть – как и до введения рестрикций они приведены латиницей в словах или предложениями на английском, немецком, французском или иных европейских языках и содержат сведения о поставлявшихся или пока ещё поставляемых ритейлерами товарах и услугах. А если приводятся на русском, то и того пуще: евродвери, европлитка, еврокуб...

Широчайшую популярность приобрело слово фейк (от английского fake), по словарю означающее «подделку», «фальшивку» или «плутовство». Его с придыханием и с чувством какого-то невероятного удовлетворения от освоенного заимствования часто произносят журналисты, политологи, парламентарии, предприниматели, военные и полицейские, продавцы и покупатели, преподаватели, студенты, даже маленькие дети. Словом, кому не лень. Забывая, что в русском языке есть не менее точные и глубокие обозначения того же: неправда, ложь, фальшивка, фальшь, утка, враньё.

Что называется, озападнились, объевропеились. Сказать прямее: укореняется заданное и никого не красящее раболепие. Хотя время уже никак не оправдывает столь заниженной оценки самих себя.

Ведь господство над миром, на что претендуют США и их сателлиты, уже проходит, искрошивается. И этому найдены объяснения. Из «единой» общности людей в виде племени или народа по мере их расселения на земле сформировались отдельные нации и государства со своими языками, на что, как известно из библии, взъярился бог, по велению которого произошло мгновенное смешение самых разных языков, существенно усложнившее общение.

Так драматично проходила конкретизация в процессе развития человечества. Хотя наблюдались этапы возвращения к прежнему, к глобализму, как вроде бы неплохой ценности, куда умещалась общемировая этика, это чем далее, тем ста-

новилось невозможнее.

Апелляции к верховным этическим ценностям сплошь и рядом превращались в обманное прикрытие истинных намерений неопитов покончить с ними, заменив их суррогатами.

Совместить глобализацию, разобщённость и разноразвитость стран и государств сейчас далеко не просто. В ножницах между страной, претендующей на гегемонию, её политическим режимом, с одной стороны, и союзниками, с другой, оказывается всё худшее из естественного корпоративного права: ложь, агрессия, мстительность, перепорченная круговая порука, дурное влияние на другие народы и страны и т. д.

Путь к мировому господству, пусть к этому стремился бы даже правовой субъект в виде, скажем, «золотого миллиарда», закрыт, может быть, навсегда.

В этой связи есть необходимость обратить внимание ещё на одну сторону процессного развития мировых сил. Как ориентированные на «освобождение» «до конца» и тонущие в нечётких нормативах свобод и прав, они вполне, как мы уже замечали, удовлетворяются безразличием к положениям об абсолютном материальном и абсолютном духовном, равно как и к понятию абсолютного вообще. Эти положения в значительной части выброшены из пределов положительно-го знания.

Приобретением новых знаний на этом поле предпочли не утруждаться по уже хорошо известному мыслительному ка-

нону: любые исследования указанных «величин» упираются в невозможность уложить в нашем сознании их «вызревание» до степени абсолютности. Там, в этом «месте» что-либо конкретное должно исчерпать себя и исчезнуть, «превратиться» в ничто.

Однако в том же «месте» возможны ситуации, когда конкретное, изменяясь и сбрасывая «оболочку» одной формы, «встраивается» в иную, новую для него форму или модель. Вспомните, мы говорили о превращениях и утверждали, что в сути своей, в их длительности или в других свойствах и параметрах они принципиально непознаваемы.

Внимание к ним не должно игнорироваться в связи с тем, что они не могут оставаться вне состояний свободы, непрерывных для всего известного или даже не известного нами. Процессы превращений, кстати, были предметом научного любопытства уже издревле. Что искали в них мыслители?

Речь тут не могла не заходить о некоем пространственно-временном «отрезке» или – «разделе», где что-то конкретное, материальное прежде всего, будучи действенным (как существующее и находящееся в движении) и, конечно, не остановленным в его свободной устремлённости к «следующей» форме, уже не только входит в прямое или непосредственное соприкосновение с областью абсолютного, но и успевает там «понаходиться», при этом уже враз и «под завязку» набираясь и нового сущего.

Признак загадочного и непознаваемого здесь налицо в

том немаловажном смысле, что динамика процесса превращений, смены одной формы другою пока что и в научных прикидках и в самых обычных представлениях имеет не «растянутый», постепенный, а резко дискретный или «скачковый», «обвальный» характер.

Философы, решая здесь проблему, только к тому и смогли подойти, что объяснились о двух сторонах «неуловимости» «раздела». Одни, как Платон, считали «событие» внезапным, другие, как Аристотель, – «текущим» во времени (когда есть множество или череда слагаемых в одно мелких промежутков). То есть имелись в виду состояния (процессы) по сроку или кратчайшие, или предельно краткие. Об их возможной «растянутости» или иных «усложнениях» никто не говорил.

А вдруг тут именно в них дело?

Если да, то очень многое, что даётся нам в наших восприятиях окружающего, следовало бы рассматривать и понимать как-то иначе.

Ведь если конкретное сущее, освобождаясь от своей формы, прекращается в самом себе, чтобы стать другим и, значит, уже – в другой форме, то в какой-то, пусть и кратчайший «миг», оно, вероятно, всё, целиком «исчезало», и его вообще – «не было».

Такой болезненно-непостижимый оборот, где зарождение нового обуславливается гибелью старого, означал бы временное полнейшее устранение части, а то, может, и всего

предметного или того, что нам, по крайней мере, дано в ощущениях или может предполагаться. Ведь с вещественным, как физической материей, согласно уравнениям Эйнштейна, разом должны исчезнуть время-пространство и другие сопряжённые с ними свойства. Тут не иначе как рушится мир, наступает «конец света», – ситуация, в которой вряд ли бы кто желал очутиться.

Нетрудно представить, в чём должно состоять превращение по такому драматическому сценарию для любой «вещи», скажем, воды в пар или мысли в слово. «Разделение», при котором воде и мысли суждено потерять себя, то есть перестать существовать, должно вести к их преобразованию в отвлечённую, запредельную субстанцию, в абсолют, причём тут оказывается ненужным даже абстрагирование – как мыслительное действие, присущее исключительно мозгу человека.

Если же так, то нельзя исключать и «установления» в момент «раздела» действительного, чистого вакуума. А с другой стороны, раз там нет условий для существования вещественного или духовного, то – нет и свободы, – как обязательного состояния для них.

В своём месте, уясняя термин *материя*, мы соглашались понимать его как самую полную отвлечённость, где в соотношении с чем-то материальным, существующим реально, в действительности, резонно усматривать не его настоящее содержание, которое вроде как можно видеть в обычном слове «материя», а – лишь его название. Конкретного в *материи*

нет ничего. Стало быть, в «разделе», как то́ и должно следовать из канонов формальной логики, наступает время уже настоящей запредельной субстанции.

Дело лишь за тем, может ли состояние, в котором она предположительно оказывается, длиться дольше некоего неустановленного пока мгновения. То есть – быть «растянутым» и тогда – «протекать» с какой угодно скоростью.

К такой особенности «раздела» не может не возникать интереса, любительского или даже научного, поскольку взятый во множественности, он указывал бы на самосотворение нескончаемых по количеству, структурным и объёмным параметрам образований физического мира, в том числе, разумеется, и мегамиров – наряду с нашей вселенной или в её замену.

Наблюдения за космосом дают немало поводов рассматривать отдельные или связанные, «групповые» явления как возможные превращения с «растянутым» циклом их «разделов».

Что, например, стоит за «поведением» непроницаемых полостей пространства, способных словно в никуда заглатывать целые звёздные скопления, – так называемые «чёрные дыры»? Не в том ли здесь «соль», что космос указывает нам на необычайно гигантский по масштабности обвальный переход некоего критического состояния одного материального, физического в другое, когда «властвует» та самая материя – в её непостижимой для нашего ума субстанциально-

сти?

Пусть это не укладывается в расхожие представления, но если новейшей науке сподручнее объяснять «чёрные дыры» как физические тела со своими массами, а их «прожорливость» и нераскрываемость – проявлением сверхмощной «утробной» гравитации, то ведь здесь пока лишь тракторки, в их основании одни косвенные данные. Ничего «осязаемого» узнать ещё не удалось.

То же можно сказать о «тёмной энергии».

Её воздействие по разным предположениям испытывают на себе или, наоборот, генерируют приблизительно две трети объёма вселенной.

Утверждается, что факт «освобождения» колоссального количества «тёмной энергии» фиксировался с помощью комплекса орбитального телескопа «Хаббл» при наблюдении за процессом «рождения» массы новой звезды, вызванного возмущениями состояний физической среды по месту этого действия в очень дальних от нас недрах мирового пространства.

Однако и эта, будем говорить, субстанция – одна из самых неуловимых и постоянно ускользающих от нашего знания.

Также не менее загадочны и «несообразности» в структурных состояниях вещественного. Как установили учёные Принстонского университета, лишь примерно четыре процента вещества во вселенной образовано из атомов; уже «опознанной» можно, вероятно, считать ещё какую-то его

часть в виде, например, короткоживущего молекулярного конденсата (бозе-эйнштейновского); а что собою представляет остальное, самой наукой обозначенное как «тёмная материя», – пока неясно, и его предстоит ещё только узнать и удостоверить.

При такой закрытости природы вроде бы и не до категории превращений. Но, что поделать, в числе прочих мировых тайн этот ресурс весьма любопытен и взывает к непрерывной глубокой заинтересованности. Прежде всего потому, что в нём выражается опыт нашего манипулирования своим сознанием, ещё, вероятно, не вполне достаточный для уяснения взаимосвязей между конкретным и абсолютным.

«Размах» отвлечённости, а, значит, и свободы «придаётся» нашему сознанию и подсознанию, скорее всего, только в той «величине» и в той функциональной возможности, каковы они есть как «установленные» с учётом качества исключительно известной нам земной реальности – никак не больше.

Но именно через желание преодоления столь мощной ограниченности наших восприятий нам дано устремляться в сторону познания пока ещё единственной знакомой нам, злополучной «своей» (из нашего мироздания) «точки» «разделения» – осознаваемой только в виде «нулевой величины» в пределах сущего, – как достоверное непостижимое.

И вовсе не исключено, что познание здесь навсегда обречено сопровождаться нашей неудовлетворённостью, по-

сколькx загадочные состояния уже и новых «точек» могут при любых научных приобретениях оставаться неразгаданными – наяву, – даже при их блестящем теоретическом обосновании и распознавании. К чему, то есть – к обоснованию в теории, видимо, нет преград уже даже сегодня, – если учитывать новейшие методы счислений...

В таких обстоятельствах нам не останется ничего другого как рассматривать каждое «новое» (необычное) превращение, в том числе связанное с предположительным «началом» вселенной («большой взрыв»?), исключительно лишь по расчётному, а, стало быть, всего лишь побочному результату. Который, впрочем, становится всегда желанным приобретением как для практики, так и науки, в особенности – фундаментальной.

Что же касается науки в её возможных амбициях покорить непостижимое, чтобы заявлять о своём торжестве, то ей во многом придётся, наверное, довольствоваться лишь уклонениями в слепую уверованность, – из-за чего обрекались бы на неэффективность даже самые могучие и популярные теории...

Свобода, как видим, и в этих условных «координатах» или обстоятельствах остаётся «верной себе», проявляясь как личность всё в той же особенности, – только в теснейшей «связке» со своими ограничениями...

К о н е ц